

К. Маустовский



К. Маустовский
Избранные
произведения
в двух
томах



Москва
Художественная литература.
1977

К. Маустовский

Избранные
произведения
Том
первый

Листающие
облака
роман
Черное море
повесть

Москва
Художественная литература.
1977

Оформление художников
А ОЗЕРЕВСКОЙ, А ЯКОВЛЕВА

© Состав, оформление. Издательство
«Художественная литература», 1977 г

70302-369
П $\frac{\quad}{028(01)-77}$ без объявл.

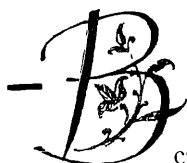


Влистающие
облака
роман

Блистающие, или светящиеся, облака наблюдаются очень редко. Их часто принимают за ненормально яркие зори. Они слагаются из мельчайших частиц вулканической пыли, носящейся в воздухе после сильных катастрофических извержений.

Учебник метеорологии

ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ НОЧЬЮ



— **В**ставайте! — Капитан потряс Батурина за плечо. — Скоро Пушкино!

Поезд гремел среди леса. Пар шипел в кустах, как мыльная пена.

Стояла ледяная и горькая осень. По ночам ветер шумно тряс над дощатыми крышами гроздьями стеклянных звезд. Огородные грядки были посыпаны крупной солью мороза. Пахло гарью и старым вином. А в полдень над горизонтом розовым мрамором блистали облака.

Капитан скрутил чудовищную папиросу из рыжего табака, пристально посмотрел на работницу в красном платочке, дремавшую в углу, и спросил ее деревянным голосом:

- Вы рожали?
- Как?
- Детей, говорю, рожали?
- Рожала.
- С болью?
- Да, с болью.
- Напрасно.

Батурин от изумления проснулся, даже привскочил. Свеча отчаянно мигала, умирая в жестяном фонаре. За окном мчались назад, ревя гудками, лязгая десятками колес, обезумевшая ночь,

ветер, кусты и леса. Мосты звенели коротко и страшно. Путьевые будки налетали с глухим гулом и проносились, затихая, к Москве.

— Вот это шпарит! — Капитан расставил покрепче ноги. — А с болью вы рожали, выходит, зря. От дикости. В Австралии не так рожают.

— Я знаю, что яйца пекут по-караимски, — пробормотал насмешливо Берг, — но чтобы рожали по-австралийски — что-то не слышал.

— Вы многого не слышали, к сожалению. За эту тему с вас рубль.

— Ну рубль, — вяло согласился Берг. — Рассказывайте!

Капитан был неистощим. Рассказы сыпались из него, как пшено из лопнувшего мешка. Сначала Берг записывал их, потом бросил, изнемогая от их обилия, не в силах угнаться за веселым капитанским напором.

— Очень просто. Женщине впрыскивают в кровь особый состав, и она рождает во сне. Поняли? Мышцы сокращаются, ребенок выскакивает, все идет гладко. Ни один мускул не сдает. Этот способ практикуется только в Австралии, и то в виде опыта — в тюрьмах над арестантками.

Узнал я об этом в Брисбенской тюрьме. Меня засадили за забастовку моряков, — мы пустили на дно в Брисбене корыто со штрейкбрехерским грузом. В тюрьме я им показал! Надзиратель принес ведро кипятку, чтобы я вымыл пол в камере. Я спрашиваю:

— Будьте добры, скажите, что написано над воротами тюрьмы?

Он удивился.

— Брисбенская тюрьма его величества короля Англии.

— Так пускай король сам моет полы в своей тюрьме, я ему не обязан.

За это меня загнали в карцер. Я схватил дубовую табуретку и с восьми вечера до часу ночи лупил в дверь изо всех сил. А парень я, видите, здоровый. Тюрьмы там гулкие, с чугунными лестницами, — чувствуете, что поднялось. Тарарам, гром, крики. Но терпеливые, черти. Молчали. Только в час, когда я сделал передышку, пришел начальник тюрьмы.

— Как дела? — спросил он ласково.

— Благодарю вас, сэр.

— Вы намерены еще продолжать?

— Вот отдохну малость и начну снова.

Он пожал плечами и ушел. Я колотил с двух часов ночи до десяти утра. В десять утра меня вернули в мою камеру, — пол был начисто вымыт.

— Это не арестант, а дьявол, — говорили сторожа. — Из-за его джаз-банда арестантка номер восемнадцать родила на месяц раньше срока.

— Ребенок жив? — спросил я.

— Жив.

Я написал ей поздравление на клочке конверта и передал в лазарет.

«Простите, миледи,— писал я,— что из-за меня вам пришлось поторопиться».

Она была дочь мелкого фермера и сидела за убийство мужа. Тогда вот я и узнал об этом способе,— она родила во сне здоровую девочку. Я видел ее в саду при лазарете. Меня тоже потащили в лазарет: я симулировал падучую. Я испортил им много крови.

— Вот! — Капитан вытащил из кармана синюю толстенькую книжку.— Вот описание этого способа. Книга издана в Сиднее. Я перевожу ее на русский, Семашко издаст, и я заработаю на этом деле не меньше ста «червей».

Капитан начал развивать изумительные перспективы,— новый способ рожать приведет к неслыханному изобилию, женщины будут рожать каждый год, республика завоюет весь мир.

— Матери поставят вам памятник на вашей родине в Мариуполе,— сказал Берг.— Вашим именем будут называть детей. Вы будете богом женского плодородия, и бронзовые пеленки,— Берг вдохновился,— бронзовые пеленки будут обвивать пьедестал вашего памятника лавровым венком. В вашу честь Прокофьев напишет марш грудных детей,— торжественный марш под аккомпанемент сосок. Рыбий жир, чудесный рыбий жир будет переименован в жир капитана Кравченко.

Работница засмеялась. В черноте блеснули туманные огни джутовой фабрики. Проревел гудок.

— Ну, выметайтесь,— предложил капитан.— Приехали.

Дача стояла на краю леса, на отлете. Капитан каждый раз, когда подходил к ней, останавливался и спрашивал:

— Чувствуете — воздух?

Пахло колодезной водой и глухой осенью. Батурин растирал между пальцами желтые листья, и от пальцев шел запах горечи. Свежесть ветра, дождя и похолодевших рек пропитывала опадающую, почти невесомую листву. Осень умирала. Смерть ее была похожа на чуткий сон,— зима изредка уже порошила по золотым деревьям и мокрой траве реденьким и осторожным снегом.

Осенняя свежесть продувала всю дачу, особенно капитанскую комнату, похожую на ящик от сигар.

Капитан любил плакаты пароходных компаний (Рояль — Мейль — Канада, Мессажери Маритим, Совторгфлота, Ллойд Триестино и многих других) и заклеил ими дощатые стены. Плакаты гипнотизировали белок. Распушив хвосты, они сидели на березе против капитанского окна и, вытаращив булавочные глаза, цепенели перед черными тушами кораблей и белыми маяками на канареечных берегах. Крапал дождь, и виденье

экзотических стран застлало беличьи глазки синей пленкой слез и восторга.

По вечерам капитан возился над бесшумным примусом своей конструкции. Все у него было необыкновенное — и примус, и механический пробочник, отламывавший горлышки бутылок, и самодельный радиоприемник из коробки от папирос, и груды очень толстых книг, казавшихся старинными. Выбор книг говорил об устойчивых склонностях их громоздкого и простоватого хозяина, — там были лощии, мореходная астрономия, «Азбука коммунизма», Джек Лондон по-английски, много географических карт и Библия (убежденный безбожник, он читал Библию исключительно с целью уличить во лжи поповскую клику).

На книгах спала австралийская кошка Миссури с зелеными глазами. Он привез ее из Австралии как «подарок друзей». Миссури была худа и деликатна, не в пример вороватым и ленивым российским кошкам.

На стенах висело штук пять часов — капитан был любитель точных механизмов: барометров, секундомеров, хронометров и пишущих машинок. В отсутствие хозяина часы наполняли пустую дачу живым, очень тонким стуком, и сумрак сосновых комнат казался теплее и уютнее.

История капитанских плаваний, сиденья по тюрьмам и религиозных диспутов с патерами была так сложна, что даже он сам не мог привести ее в порядок.

Перед приездом в Москву капитан был начальником Мариупольского порта. Там он с обычной прямолинейностью вывел кого-то на чистую воду, установил суровые корабельные порядки, перегнул палку и был устранен за недостаток дипломатического такта. С тех пор он отказывался от сухопутных постов и ожидал назначения на пароход. Он знал, что капитанов в Союзе в двадцать раз больше, чем пароходов, и потому не торопился, — только раз в неделю он ходил справляться в управление морского транспорта. В остальное время он писал статьи о своем прошлом (Батурич пристраивал их в морской газете), чинил точные механизмы и переводил книгу о безболезненных родах.

В этот вечер все трое — Берг, капитан и Батурич — собрались в капитанской комнате: капитан пропывал гонорар за статью об углублении Мариупольского порта. В статью он ухитрился ввернуть анекдот о дельфине-лоцмане. Этот престарелый дельфин вводил пароходы в порт Глазго и получал от портового начальства ежедневный паек — полпуда свежей рыбы.

— Как же он вводил? — заинтересовались в редакции.

— Флыл перед носом, — лаконически ответил капитан.

На бесшумном примусе сварили наловленных накануне Батуриным раков. Весь день раки дрались в ведре, злобно шелкали клешнями и хлопали хвостами. Миссури стояла на книгах, глаза ее метали зеленые брызги, она шипела, и хвост ее, похожий

на круглую щетку, странно дрожал. Сейчас раки лежали успокоенные — оранжевые и пурпурные, чуть подернутые старой бронзой — на синем блюде. Водка была прозрачна, как лед, рюмки потели, и звон их соперничал со звоном точнейших часов, спешивших к далекому утру.

Ледяная ночь шумела листвой по крыше. Было слышно, как за две версты неслись поезда, изрыгая ржавое пламя. Звезды падали за стеклами окон, гонимые ветром. Уют наливался теплом, — из медного чайника со свистом вылетал пар. Миссурй ходила около стульев и нежно мяукала, вся в ярком круге лампы-молнии, боясь ступить в тень под столом.

Батурин, выпив, любил говорить печально и значительно.

— Слышно, как уходит время, — сказал он, закуривая. Табачный дым обтекал сверкающее ламповое стекло, и он долго следил за ним. — Вот это тишина!

Берг тишины боялся. Боялся мертвых ночей и одиночества. Он был молчалив, спокоен. «Тихий еврейский мальчик», — думал о нем Батурин.

У Берга часто болело сердце. По ночам оно мотором гудело между ребер, и Берг затихал, не засыпая, прислушивался к предсмертной обморочной тоске. Из упрямства, из мысли, что писатель должен пройти через все, он заставлял себя спать в полуразрушенном мезонине на сене. Ветер насвистывал в щели и ворошил сено, шагал по гулкой железной крыше, тупо стучал еловыми лапами в оконную раму. Но Берг терпел.

Утром этого дня он, как всегда, встал рано и пошел на Серебрянку купаться. В иссиня-черной воде струились по дну, как волосы, мертвые травы. Едкая роса капала с осин. Над ельником в тумане, как бы в дыму пожара, выползало косматое клюквенное солнце.

Берг быстро разделся, погладил голубоватую вялую кожу. Солнечное тепло не могло пробить мощную толщу сырости. Ледяной ветерок подымался от насквозь промокшей земли. Берг бросился в воду, вскрикнул и тотчас же выскочил. Он быстро и плохо вытерся и оделся. Сырые ноги зябли в рваных ботинках. В теле не было обычной бодрой теплоты, и быстрая боль внезапно дернула сердце. Берг согнулся и застонал. Если бы можно было пожаловаться — стало бы легче, но жаловаться некому и нельзя.

Кулак, стиснувший сердце, разжимался медленно: сперва Берг мог вздохнуть в четверть дыхания, потом в полдыхания, потом он осторожно выпрямился, вздохнул всей грудью и, боясь споткнуться о корни, пошел к даче.

«Надо кончать повесть, — подумал он. — Как бы не скovyрнуться раньше времени.»

Писал он на подоконнике, сидя боком на продавленном плетеном стуле. Щепной пес Цезарь, завидя Берга в окне, долго и обиженно лаял, а Берг смотрел на него и грыз карандаш.

— Берг работает,— говорил, просыпаясь, капитан и стучал в стенку Батурина.— Вставайте. Семь часов. Цезарь завыл.

Никогда Берг не писал так легко, как в этой комнате, засыпанной желтой листвой и сеном, под лай мохнатого пса. Солнце подымалось над Серебрянкой, небо накрывало леса хрустальным колпаком, и тишина рождалась в перелесках. Только сердце в такт бегу карандаша билось легко и быстро.

Сейчас Берг вспомнил об этом и улыбнулся.

— Вы чего? — сказал капитан и вдруг спросил: — Вы женщин любили?

Берг смешался и покраснел.

— Два раза...

— Ну?

— Что — ну?

— Рассказывайте. Ваша очередь.

Берг помедлил, повертел пустую рюмку. Неожиданно он понял, что вот сейчас расскажет самое главное, о чем даже думать позволял себе редко и неохотно. Он взглянул на Батурина, — поймет ли? Батурин был печален, лицо его покрылось нервной бледностью, в углах губ лежала горечь. Он внимательно посмотрел на Берга, усмехнулся.

— Ну, что же?

Берг вспыхнул.

— Ладно, вам же хуже,— невнятно сказал он.— Да, конечно любил. Двух. Одна была женщиной из книги — Настенька из «Идиота». Из-за нее я первый раз в жизни украл у отца два рубля на театр. К нам приехала труппа из Киева. Они ставили «Идиота». Настеньку играла Полевицкая. Я проплакал на галерее спектакль, потом спрятался в уборной, чтобы не уходить из театра, из уборной перебрался под лестницу. «Идиот» шел два дня подряд. Я просидел всю ночь и весь следующий день, — меня никто не заметил. На репетиции я слышал ее голос; потом капельдинер нашел меня и хотел вышвырнуть. Он обозвал меня «пархатым жиденком», я дал ему последний рубль, чтобы он не выгонял меня. Смешно.

Так я начал страдать из-за женщины и из-за литературы. Капельдинер толкнул меня в шею: сиди за вешалкой, байстрюк! Я просидел до спектакля и дрожал от страха, что меня накроет другой капельдинер, выгонит, и я больше не увижу Настеньку.

После спектакля я пошел к бабушке Мане,— домой я идти боялся. Я стонал при мысли, что в жизни никакой Настеньки нет и не было. Зачем так выдумывать,— я никак не мог понять! Зачем так мучить людей!

Берг задумался. Миссури вскочила к нему на колени, запела и начала тереться, закрывая от наслаждения глаза и прижимая ухо.

— В антракте выпьем,— предложил капитан.

Тонко посыпался звон рюмок. За стенами начался дождь, он рассеянно постукивал по желобу.

— Я пошел к бабушке Мане, занял три рубля и бежал в Одессу. Отец заперол бы меня. В Одессе меня подобрал поэт Бялик. У него была своя типография. Я работал у него мальчиком. Вот вам одна история.

Он помолчал.

— Первая была не настоящая женщина. Конечно, лучше бы ограничиться только ею. Вторая была настоящая, русская девушка, дочь профессора. Это было под Петербургом, на даче, на Неве. Я ходил за ней, как тень, как собачонка. Она говорила мне: «Милый вы, милый Берг, куда вы годитесь!» Я жалко улыбался в ответ, старался быть незаметнее. Я забыл сказать, что я гостил у профессора, отца девушки.

По ночам было светло,— я читал Пушкина, не зажигая лампы. Горы зелени тяжело висели над водой, вода была черная и чистая — такой воды я нигде не видел.

Как-то мы катались на лодке, у греб. Она откинула со лба мои волосы, пригладила и сказала:

— Устал, мальчик мой милый?

Мы тихо пристали, вышли. Белые ночи раздражают, путают людей, я тогда как-то забыл об этом.

Проходили мимо купальни. На лодке сидел рыболов, я видел красный уголек его папиросы. Она вдруг сказала:

— Я пойду выкупаюсь, Берг. Подождите меня здесь.

— Я тоже буду купаться.

— Вы? — она искренне удивилась. — Вам ночью нельзя.

— Почему?

— Глупый вы мальчик. Да потому, что вы — цыпленок, еврей!

— Ладно,— ответил я, и у меня похолодело все — мозги, руки, даже живот. — Ладно, идите купайтесь.

Она ушла в купальню. Я быстро разделся и бросился в воду. От обиды я глотал слезы вместе с невской водой, быстро ослаб, меня понесло к середине реки. Я закричал,— мне показалось, что не река несет меня, а море, вспухшее море, и я не вижу берегов. «Все равно,— подумал я. — Пусть!»

Очнулся я на бонах спасательной станции. Меня растирал матрос. Над кущами садов уже розовела заря. Она стояла на коленях рядом с матросом, в купальном костюме, бледная, черные волосы прилипали к ее щекам.

— Берг, я же вам говорила! — крикнула она, когда я открыл глаза. — Вот видите, Берг!

Я сел. Матрос принес мне платье. Она побежала одеваться в купальню. Матрос сказал мне:

— С вашей комплекцией вы плавать опасайтесь. Грудь у вас узковата.

Я поблагодарил его, оделся и пошел пешком к Петербургу. Я слышал, как она звала меня:

— Берг, Берг, куда вы? Берг, сумасшедший!

Она бежала за мной. Я остановился.

— Что с вами, Берг, милый? — спросила она с большой, настоящей тревогой. — Куда вы?

— Оставьте меня, — ответил я глухо. — Я вас ненавижу!

Я отвернулся и пошел через сады к мостам. Она молчала. Я не оглядывался. Вот вам второй случай.

— Вы ненавидите ее и теперь? — спросил Батурин.

— Да, ненавижу

Батурин усмехнулся. Берг взял папиросу, руки у него дрожали, и он неловко положил ее обратно. Батурин вспомнил, как Берг закаляет себя, его купанья на рассветах, его обдуманное упорство, и вслух подумал:

— Да, это хорошо. Это правильный вывод.

Капитан определил просто:

— Антисемитка!

Дождь звенел в желобе. Казалось, он звенит годы; столетья, так равномерен был этот привычный ночной звук. Оцепененье дождя и мурлыканье Миссури внезапно были нарушены ударом ветра. Он хлестнул по стене гибкими ветками берез, швырнул ворох листьев, капли торопливо застучали в стекла, и в лесу раскатился выстрел из дробовика. Залаял Цезарь. В печной трубе заворочалось мохнатое существо, которым пугают детей, и тяжело вздохнуло. Капитан прикрутил лампу.

— Кто-то мотается около дома, — сказал он, всматриваясь в окно.

Цезарь гремел цепью и хрипел от бешенства. Невидимые шаги трудно чавкали по грязи, потом в окно громко застучала мокрая рука.

— Эй, кто на дворе? — крикнул капитан и подошел к окну. Он нагнулся и рассматривал серое лицо за стеклом.

Человек в мягкой шляпе что-то неслышно говорил, губы его двигались. Ветки хлестали его по спине. Капитан открыл окно, — ворвался ветер, широкий гул леса. Лампа мигнула и потухла. Человек за окном спросил тонким мальчишеским голосом:

— Здесь живет Берг?

Берг бросился отворять. Незнакомец вошел, снял пальто и оказался худым, с легкой сединой в волосах. Его желтые ботинки размокли, на них налипли лимонные листья. Он несколько раз извинился.

— Я больше трех часов искал вашу дачу! Спросить некого, пришел наугад, на огонь.

— Выпейте водки, согрейтесь, — приказал капитан.

— Я не пью.

— А вы так, смеху ради.

Незнакомец с внимательным изумлением взглянул на капитана и выпил.

Это был известный инженер Симбирцев, специалист по дви-

гателям внутреннего сгорания. Берг несколько раз рассказывал о нем капитану. С инженером Берг познакомился в столовой «Дома Герцена», где собирались по вечерам бездомные поэты и праздные люди — любители чарльстона и фокстрота. Инженер был склонен к литературе, любил стихи, писал их изредка и печатал под псевдонимом.

Склонность к стихам Симбирцев тщательно скрывал от товарищей: о стихах он говорил только с немногими поэтами.

В разговоре с капитаном Берг назвал инженера «лириком». Капитан возмутился, — в его мозгу не укладывались два таких враждебных занятия, как моторы и поэзия. Берг же говорил, что, наоборот, в машинах и чертежах больше поэзии, чем в стихах Пастернака. Однажды он назвал океанские пароходы «архитектурными поэмами». Капитан фыркнул и обругал Берга.

— Такая поэма как вопресть в порт, так на версту завоюет всю воду нефтью. Эх вы, слюнтяй!

Поэтому к инженеру капитан отнесся недоброжелательно, — как может построить даже дрянной мотор человек, склонный к лирике?! Форменная чепуха!

Серые глаза и костюм цвета светлой стали, седеющие виски и неторопливый взгляд оценщика — таким инженер показался Батурину.

Инженер огляделся.

— Далеко забрались. Даже не верится, что в тридцати верстах Москва. Я к вам по делу. — Он обернулся к капитану, потом взглянул на Батурина и Берга.

— Поговорим, — согласился капитан, накачивая примус. Его занимало, какие могут быть к нему дела у этого сухого европейского человека и к тому же — лирика.

Лирику капитан не любил. Под словом «лирика» он понимал ухаживание за кисейными барышнями, проникновенные речи адвокатов на суде, охи и ахи, восхищение природой, обмороки, и не соответствующие мужчине разговоры, например о болонках.

При слове «лирика» ему вспоминался недавний неприятный случай в поезде. Напротив него сидела красивая дама в котиковом манто. Ехала она в Тайнинку. Было поздно, дама очень боялась и искала в вагоне попутчика. Капитан сказал ей:

— Тайнинка — место известное. Там вам голову оторвут и в глаза бросят.

Дама обиделась: «Какой грубиян!» — «Лирическая дама», — подумал капитан. С тех пор каждый раз при слове «лирика» он вспоминал эту даму и придумывал ей имена: Лирика Густавовна, Лирика Панкратьевна, Лирика Ивановна. Эти имена назойливо лезли в голову, капитан злился и в конце концов возненавидел даму с дурацким именем и заодно всех лирических поэтов. Об этом он сказал Батурину.

— Ну, а Пушкин?

Капитан рассердился.

— Что вы берете меня на бас! Какой же Пушкин лирик!

Батурин махнул рукой и прекратил с капитаном разговоры о литературе.

— Алексей Николаевич,— спросил Берг Симбирцева,— как поэма?

— Работаю,— неохотно ответил Симбирцев.

«Работает,— ядовито подумал капитан.— Он работает!»

Капитан начал бешено накачивать примус, мысленно приговаривая при каждом свисте насоса: работай, работай, работай! Бесшумный примус не выдержал и загудел. Капитан озадаченно посмотрел на него, плюнул и сел к столу. Раздражение его прошло.

— Поговорим,— повторил он, закуривая.

Батурин и Берг понимали, что дело важное, иначе Симбирцев не приехал бы вечером к ним, зимникам, за тридцать верст от Москвы.

— Дело простое.— Симбирцев медленно помешал чай.— От Берга я знаю, что вы без работы,— он говорил, обращаясь к одному капитану.— И вы и вот... товарищ,— он посмотрел на Батурина.— Да, вы пишете очерки в газете, но это случайная работа Берг вообще человек свободный, живет на двадцать рублей в месяц.

— Хорошенькая свобода,— пробормотал Берг.

Симбирцев помолчал, потом, спросил неожиданно:

— Вы слышали о летчике Нелидове?

— Тот, что разбился в Чердынских лесах?

— Тот самый. Я хочу предложить вам одно дело, но оно требует большого предисловия. Пожалуй, проговорим до расвета.— Он виновато улыбнулся.

— Ну что ж,— капитан повеселел. Любопытство его было неистощимо.— Ваяйте. Мы и без вас просидели бы до утра вот за этим...

Он хотел щелкнуть пальцем по бутылке водки, но раздумал и щелкнул по красному панцирю гигантского рака.

Симбирцев начал говорить. Его ломающийся голос окреп.

Он нервно проводил рукой по волосам. Рассказ его разворачивался скачками; в провалах, словесных пропастях Батурин угадывал прекрасные подробности, отброшенные торопливой рукой. Синий дым табака рождал мысли о Гофмане. Дым скользил по плакатам, ветер шумел в снастях этих бумажных кораблей.

Только однажды капитан прервал рассказ инженера восклицанием:

— Да, это человек!

Возглас этот сразу расширил рамки рассказа. Батурин вздрогнул, и гордость, почти до теплых слез, до дрожи, заволновалась в нем.

— Да, вот это человек,— прошептал он вслед за капитаном.

Он был ошеломлен, как от удара ослепительного метеора в их скромную Серебрянку.

Иная жизнь накатила ритмическим прибоем. На минуту Батуриин потерял нить рассказа. Ему почудилось, что капитан распахнул окно, и за ним был не черный лес и пахло не мокрой псиной от Цезаревой будки, а стояла затопленная ливнем чужая страна. Серебряный дым подымался к чистому и драгоценному небу. О. Генри мылся вместо Берга у колодца, капли стекали с его коричневых пальцев. Солнце пылало в воде.

В прихотливом нагромождении опасностей, встреч и трудных часов ночной работы открылись контуры необычайной истории — близкой нашему веку и вместе с тем далекой, как голос во сне.

Газетная заметка об этой истории не вызвала бы и тени того волнения, какое появилось на щетинистом лице капитана.

Батуриин был тоже взволнован. В этом волнении он провел всю мягкую, полную зеленоватых закатов зиму, стоявшую на дворе в том году. Он понял, что история эта неизбежно зацепит его своим острым крылом и к прошлому возврата не будет.

— Не будет! — кричал он про себя и смеялся.

Искушенный читатель прочтет эту историю и пожмет плечами, — стоило ли так волноваться. Он скажет слова, способные погасить солнце: «Что же здесь особенного?» — и романтики стиснут зубы и отойдут в сторону.

ДНЕВНИК ЛЕТЧИКА



от рассказ Симбирцева.

— Значит, вы слышали о летчике Нелидове? Этой весной он разбился в Чердынских лесах во время агитполета по северу. Его нашли в тайге на четвертый день после падения. Он заблудился в тумане и отклонился далеко на север. Похоронили его в Чердыни.

Он помолчал.

— Нелидов — мой друг. Это была светлая и смелая голова. Он любил литературу не меньше своего летного дела. В кабинке его самолета нашли книгу О. Генри с пометками и записями на полях. Некоторые из них я вам прочту. Но дело не в записях. Нелидов оставил дневник. Он не решался брать его в полеты. «Разобьешься — сгорит», — говорил он и оставлял его у сестры — киноартистки.

Суть дела, ради которого я приехал, именно в этом дневнике. Дневник я видел еще при жизни Нелидова, мельком просматривал и кое-что даже выписал. С большой натяжкой этот научный и литературный труд можно назвать дневником. Это нечто совершенно новое в литературе, да и вообще в истории культурного человечества.

Капитан кашлянул.

— Как бы вам объяснить. Возьмем хотя бы план. Начинается дневник с исследования о сопротивлении воздуха при полете. Много выкладок, цифр, но все это неожиданно и очень кстати пересыпано мыслями из дневника Леонардо да Винчи, своими личными записями, теми чувствами, какие возникали у Нелидова при работе над этим специальным летным вопросом.

Он, конечно, исходил из положения Леонардо, простого и гениального, как закон тяготения. «Птица,— говорит да Винчи,— при полете опирается на воздух, делая его более густым там, где она летит». Нелидов дал ряд изумительных наблюдений над полетом птиц,— особенно много он пишет о журавлином полете. Здесь же Нелидов вставил короткий очерк о птицах в литературе — от иудейских голубей Майкова до голубей поэта Багрицкого, до чудесных его стихов о птицелове Диделе. Поначалу это кажется хаотичным, но через пять — десять страниц уже улавливаешь в обманчивом беспорядке записей облик человека, никогда не оглядывающегося назад.

От этой темы Нелидов переходит к проекту авиамотора. Он был летчиком группы «четыре тысячи пятьсот метров». Летчиков по выдержке и здоровью сердцу делят на несколько групп. Первая группа — тысяча пятьсот метров. В нее входят летчики, которым выше тысячи пятисот метров летать не разрешают. Группы, постепенно повышаясь, доходят до четырех тысяч пятисот метров, до группы «высотных летчиков», куда был причислен Нелидов.

Наилучшими он считал полеты «под потолок» — пока держит мотор. Естественно, что его занимал вопрос о высотных моторах. В этой области ему удалось сделать большое открытие.

«Разве у нас моторы? — говаривал он. — Это несгораемые кассы».

Обычно мотор в тысячу сил весит две тысячи кило, — Нелидов сконструировал тысячесильный мотор весом в пятьсот кило. Это значит, что самолет с его мотором может взять вчетверо больше горючего и вчетверо удлинить полет.

На высоте мотор страдает, как и человек, горной болезнью: он задыхается, и пульс его быстро падает. Мотору нужен заряд кислорода. И вот Нелидов придумал особый тип конденсатора, сгущающего разреженный воздух тех страшных высот, куда он подымался, и нагнетающего его в цилиндры для взрыва. Нагнетание производит турбинка, действующая от напора воздуха.

Все эти проекты и чертежи есть в дневнике. Вы понимаете, какая это ценность для нашего воздушного флота.

Высоты меняют людей. После высотных полетов Нелидов терял раздражавшую неврастеников жизнерадостность. Он сильно бледнел и смотрел на все окружающее так, будто видел его сквозь стекло,— прозрачно смотрел. Я бы назвал это состояние оцепенением высот. Я спросил его, что он чувствует вверху. Он дал мне дневник и отчеркнул ногтем страницу: «Прочти вот это».

Он писал:

«На высоте — сознание, память, мысли — все обостряется. На высоте я один. Я ощущаю в себе центростремительную силу.

Высотные полеты делают людей индивидуалистами. Только на высоте четырех километров можно понять, что такое вот эта моя голова, дать ей настоящую цену. Любовь и ненависть, пережитые внизу, обжигают сердце.

На высоте я всегда кричу, стараюсь перекричать мотор. Я кричу одну только строчку чьих-то стихов — «Земля, как мать, нежна к забытым божествам», — и от возбужденья у меня холодеют руки.

Почему все это происходит — не знаю.

Был с ним один случай. Результаты его получились неожиданные. Во время полета он встретил дождь. Дождь шел полосой. Нелидов повернул аппарат и стал гонять как безумный вдоль водяной стены. Мотор грозно и недовольно ревел — ему не нравилась эта забава. Дождь стоял до самой земли совершенно бесшумный (на высоте дождь не шумит). Внизу лежали озера.

Нелидов летел на гидро. Он сел на одно из озер. Синий и золотой горизонт закачался в глазах. На берегу стояла деревня, в ней жили кустари — бывшие богомазы. Нелидов прожил там два дня, чинил мотор. Кустари подарили ему на прощанье ящичек. На нем была изображена лаковыми красками лубочная пестрая страна.

Нелидов вернулся в Москву, взял отпуск и уехал в эту деревню. Он исходил пешком весь кустарный район и написал монографию о кустарных промыслах — лаковых изделиях, кружевах, выделке замши и набойке. Он привез коллекцию набоек и подарил кустарному музею. Мотив петушка на тканях приводил его в восторг.

Работа о кустарных промыслах вписана в дневник. Он пишет с большим знанием дела. Он проследил до мельчайших подробностей способы работы, выведал секреты прочных и ярких красок и изучил происхождение кустарного орнамента.

После этого Нелидов совершил два агитполета по северу. Между полетами был перерыв, и за время перерыва он ухитрился написать две прекрасные работы: о поэте Мее и о «ско-

лачивании фразы». Последняя работа особенно интересна. Она состоит только из примеров, объяснения к ним скупы и отрывочны. Нелидов берет ряд рыхлых неуклюжих фраз из книг некоторых писателей и «чистит» их, выбрасывает лишние слова, пригоняет и свинчивает с такой же тщательностью, как собирает мотор.

Он обдумывает каждое слово, и в результате фраза у него крепка, свежа, понятна. Освобожденная от столетней накипи, она получает первозданную ясность. Русский язык насыщается мерностью латинской речи, птичьим плачем китайской, полутонами французской. Нелидов раскрывает все великолепие языка. Язык становится его новой страстью.

О Мее Нелидов написал очерк, вернее, биографию этого почти выброшенного из памяти поэта. Мей кажется, в передаче Нелидова, гофманским персонажем. Нелидов прекрасно понимал недостатки Мейя, но говорил, что ему можно все простить за эти вот строки:

Феб утомленный закинул свой щит златокованный за море,
И разливалась на мраморе
Вешним румянцем заря..

Меем Нелидов заинтересовался во время первого агитполета по северу.

Было это в Усолье, где Нелидов застрял из-за дождей. Самолет поставили на выгоне, накрыли брезентом, привязали к кольям и приставили для охраны бородатого милиционера. При виде Нелидова милиционер хрип и мигал красными глазами.

Городок поливали дожди. Каждую ночь Нелидов вставал, натягивал задубевший дождевик и шел проверять охрану. Охрана уныло бодрствовала.

Нелидову отвели комнату в почтово-телеграфной конторе — одном из лучших зданий города. В комнате пахло сургучом, штемпельной краской и водкой. Начальник конторы, — одинокий горбун и пьяница, сосед Нелидова по комнате, — при первой же встрече, когда Нелидов выскочил из кабинки и, оглушенный, жал руки представителям власти, потянул его за рукав и крикнул:

— Вы на земле одно ухо всегда завязывайте! Оно тогда в воздухе лучше слышать будет.

Нелидов взглянул с изумлением.

— Я это дело понимаю! — снова крикнул горбун. — В воздухе надо иметь слух острый, чтобы в моторе каждую пылинку было слышать.

«А ведь верно, — подумал Нелидов и улыбнулся горбуну. — Пожалуй, попробую».

В честь Нелидова был устроен банкет в бывшей пивной. Вдоль стены протянули кумачовый плакат: «Привет первому воздушному гостю». Керосиновые лампы пылали на столах с водкой и закусками.

Нелидов чувствовал себя неловко,— очень он был тонок и молод среди грубоватых и небритых людей. Когда он вошел, свежий, в ловком френче, с орденом Красного Знамени, когда его мягкий пробор склонился перед председателем уисполкома, тискавшим его руку, кто-то из усольских дам ахнул. Кругом зашипели. «Гражданка Мизинина»,— сказал предостерегающе председатель и покраснел.

За столом Нелидов говорил мало. Ему все вспоминалась Ходынка, мокрая трава, серый «бенц», привезший его на аэродром, огни предутренней Москвы. Он, потупясь, слушал речь председателя.

— Спасибо, не забыли,— говорил тот, однообразно помахивая рукой.— Дорогой наш воздушный гость пусть не взыщет,— сторона наша зырянская, лесная — одни волки да сосны. Настоящих советских людей мы почитай что не видели. Советская власть делает все для трудящихся, Советская власть в лепешку расширяется — и вот результаты, товарищи! С нами, в волчьей нашей глуши, сидит советский летчик, кавалер пролетарских орденов. Не то важно, что прислали к нам самолет, а то, что показали нам нового человека — каков он должен быть. Пример берите, товарищи, чтобы каждый был с таким багажом в голове; рабочий, а культура на нем такая, что с кожей ее не сдерешь.

Нелидов покраснел и встал. Напряженный взгляд чьих-то глаз остановился на нем, и стакан в сухой руке летчика дрогнул. Глядя только на эти глаза, на побледневшее девичье лицо, он начал говорить ответную речь.

Он говорил тихо. Говорил об авиации, о том, что он счастлив покрывать сотни верст над сплошными лесами, чтобы доставить затерянным в глуши людям возможность радоваться вместе с ним человеческому гению, упорству, смелости.

Он сел. Тогда встала девушка с взволнованным лицом. В свете ламп ее волосы были совсем золотые. Она потупилась и очень тихо, но упрямо сказала:

— Возьмите меня в Москву,— я не боюсь. Я учиться хочу. Не могу я здесь оставаться.

— Наташа, сядь,— строго сказал председатель и, извиняясь, шепнул Нелидову: — Дочка моя. Все плачет — в Москву, в университет. Как вы прилетели — совсем спятила.

— Что же. На обрадном пути залечу, возьму.

Наташа взглянула на Нелидова так, что он даже подумал: «Не язычники ли они, эти усольцы. Смотрят как на божка, даже страшно».

Банкет стал шумнее. Говорили о медведях, волках, ольхе, сплаве и охоте. В разгар банкета горбун-почтарь потребовал тишины и пьяно запел:

Графы и графини!
Счастье вам во всем
Мне же лишь в графине,
И притом — в большом

На него зашипели: «С ума спятил — петь про графов и графинь!» Почтарь сконфуженно умолк, спрятался. Когда возвращались с банкета, горбун, придерживая Нелидова за локоть, сказал:

— Поэта Мея читали? У меня есть книжка, я вам принесу. Был он нищий, несчастный человек, пьяница. Зимой замерзал, топил печи шкафом красного дерева, честное слово. Выйти было не в чем. А между тем великие богатства словесные носил в голове, великолепии языка неслыханное. Однажды на закате, так сказать, жизни подобрал его граф Кушелев, привез к себе на раут. Женщины-красавицы пристали к Мею, чтобы прочел экспромт. Он налил стакан водки, хватил, сказал вот то самое, что я пел, — «Графы и графини, счастье вам во всем», заплакал и ушел. Так и кончил белой горячкой, хотя и был немец.

Нелидов в Усолье плохо спал, — мешала полярная тьма, храп за стеной и тараканы. Самолет прочно завяз в глине. Приходилось ждать. Страдая от бессонницы, Нелидов начал читать Мея, в результате — работа об этом эклектике, действительно пышном и несчастном.

На обратном пути Нелидов залетел в Усолье, взял Наташу и доставил ее в Москву. Она и сейчас в Москве, — хорошая девушка, вузовка. Вскоре после этого Нелидов погиб.

— А дневник где? — строго спросил капитан.

— Дневник оставался у его сестры. Она уехала на юг, — Симбирцев насмешливо улыбнулся, — искать пропавшего мужа. Уже полгода о ней ничего не известно. Ее муж долго вертелся в Москве (он кинооператор, по происхождению американец), потом за неделю-две перед гибелью Нелидова он бросил жену и скрылся. Она уехала на юг вслед за ним, дневник увезла с собой. Так рассказывает Наташа. Нелидова — женщина взбалмошная, от нее можно ждать самых нелепых поступков. Возможно, что она найдет мужа и уедет с ним за границу, но дневник во что бы то ни стало надо отобрать. — Симбирцев будто жирной чертой подчеркнул это слово. — Он слишком ценен для того, чтобы мы могли выпустить его из своих рук.

— Кто это мы? — спросил Берг.

— Воздушный флот и русская литература.

Капитан засвистел: сильно сказано!

— Нелидову надо найти и дневник отобрать. Для этого нужны смелые, ни с чем не связанные люди, немного авантюристы.

— Я протестую, — капитан скрипнул стулом.

— Не важно. Обидеться вы успеете всегда. Я говорю о деле, а не о ваших чувствах. Проект мотора в пятьсот кило не валяется на улице, и ценность его для государства громадна. Государство, в лице одной из своих организаций, дает на поиски немного денег. Я в этом участвовать не могу, я болен. Это для вас. — Симбирцев кивнул на капитана.

— Второе — для Берга и товарища (Батурина, — подсказал Берг)... Батурина, — повторил Симбирцев. — Дневник этот — событие в литературе наших дней.

— Ясно!

Капитан поднялся исполинской тенью на стене и хлопнул по столу тяжелой лапой. Упали рюмки. Миссури проснулась и презрительно посмотрела на красное от волнения капитанское лицо.

— Ясно! Довольно лирики, и давайте говорить о деле. Мы согласны.

Батурин встал, налил водки. К окнам прильнул синий туманный рассвет. Батурин выпил рюмку, вздрогнул и спросил:

— Поехали, капитан?

— Поехали! Будьте спокойны, — этот американский шаркун вспомнит у меня папу и маму.

«СТОИ, Я ПОТЕРЯЛ СВОЮ ТРУБКУ!»



Берг условился с Симбирцевым встретиться во Дворце труда, в столовой. В сводчатой комнате было темно. За окнами с угрюмого неба падал редкий снег. Сухие цветы на столиках наивно выглядывали из розовой бумаги.

Берг сел боком к столу и начал писать. Он написал несколько строчек, погрыз карандаш и задумался. В голове гудела пустота, работать не хотелось. Все, что было написано, казалось напыщенным и жалким, как цветы в розовой бумаге: «Бывают дни, как с перепою, — насквозь мутные, вонючие, мучительные. Внезапно вылезает бахрома на рукавах, отстает подметка, течет из носа, замечаешь на лице серую щетину, пальцы пахнут табачищем. В такие дни страшнее всего встретиться с любимой женщиной, со школьным товарищем и с большим зеркалом. Неужели этот в зеркале, в мокром, обвисшем и пахнущем псиной пальто, — это я, Берг, — это у меня нос покраснел от холода и руки вылезают из кургузых рукавов?»

Берг изорвал исписанный листок. «Ненавижу зиму, — подумал он. — Пропашее время!»

Настроение было окончательно испорчено. Берг вышел в темный, как труба, коридор и пошел бродить по всем этажам.

На чугунных лестницах сквозило. За стеклянными дверьми

пылились тысячи дел и сидели стриженные машинистки, главбухи и секретари. Пахло пылью, нездоровым дыханием, ализаринowymi чернилами.

Берг поглядел с пятого этажа в окно. Серый снег шел теперь густо, как в театре, застилая Замоскворечье. На реке бабы полоскали в проруби белье, галопом мчались порожние ломовики, накручивая над головой вожжи. Прошел запотевший, забрызганный грязью трамвай А. Из трамвая вышел инженер с женщиной в короткой шубке; она быстро перебежала улицу.

Берг, прыгая через три ступеньки, помчался в столовую. Симбирцев был уже там. С ним сидела высокая девушка в свещающихся изумительных чулках.

— Вот Наташа,— сказал Симбирцев Бергу.— Тащите стул, будем пить кофе.

Берг пошел за стулом. Ему казалось, что Наташа смотрит на его рваные калоши,— он покраснел, толкнул соседний столик, расплескал чашку кофе. Человек во френче посмотрел на него белыми злыми глазами. Берг пробормотал что-то невнятное, на что френч брезгливо ответил:

— Надо же ходить аккуратней.

«Удрать бы»,— подумал Берг, но удирать было поздно. Кофе он пить не мог,— несколько раз подносил кружку ко рту, но рука дико вздрагивала, и пить, не рискуя облить себя, было невозможно. Единственное, что можно было сделать, не выдавая себя,— это закурить. Берг воровато закурил.

— Вы что же не пьете? — спросила Наташа.

— Я горячий не пью.

Бергу показалось, что все заметили, как у него дрожат руки, и смотрят на него с презрительным недоумением.

— Наташа,— сказал Симбирцев,— расскажет многое, что вам необходимо знать, прежде чем начать поиски. Было бы хорошо собраться всем вместе.

— Да, конечно,— пробормотал Берг.

Наташа вынула из сумочки коробку папирос. Берг, стараясь изобразить рассеянность, хотел потушить папиросу в пепельнице, но опоздал.

— Будьте добры,— сказала она. Берг похолодел: так и есть! Она просит прикурить. Он изогнул руку, уперся локтем в столик и в сторону, вбок протянул папиросу. Папироса дергалась. Наташа крепко взяла его за руку и спокойно прикурила.

— Вы больны,— сказала она.— У вас психастения. Вам надо серьезно лечиться.

Инженер щурился на дым, щелки его глаз смеялись.

— Она медичка.— Он показал папиросой на Наташу.— Вылечит, будьте спокойны. Ну, так где же мы встретимся?

— Можно у нас,— робко предложил Берг.— В воскресенье. Там хорошо, снегу уже навалило.

— А лыжи у вас есть? — спросила Наташа.

— Есть. У Нелидова... то есть у Батурина, есть две пары.

— Ну вот, прекрасно.— Симбирцев встал.— В воскресенье с одиннадцатичасовым я приеду с Наташей, поговорим, потом пошляемся по лесу. Заметано. А сейчас я пошел.

Берг тоже встал, начал застегивать пальто. «Удери,— подумал он.— Как глупо все вышло!»

— Вы куда?

Он сделал отчаянную попытку догадаться, куда пойдет Наташа, чтобы назвать как раз противоположный район.

— Мне на Пресню, к приятелю.

— Значит, нам вместе. Мне к Арбатским воротам. Идемте!

Берг пошел как на казнь. «О чем бы заговорить?» — думал он и мычал.

— Да... что я хотел сказать... да... вот это самое...

— Вы уедете, и у вас все пройдет.— Наташа тронула его за локоть.— Вам надо переменить обстановку.

Берг рассердился.

— Ничего у меня нет. То есть я совершенно здоров. Просто холод собачий, я никак не могу согреться. В поезде зябнешь, в Москве зябнешь,— кому нужен этот холод, не понимаю. Самое нелепое время — зима!

— А я люблю зиму. Вы южанин, вам, конечно, трудно.

— Я еврей!

Наташа засмеялась. На глазах ее даже появились слезинки. Смеялась она легко, будто что-то бегучее и звонкое лилось из горла. Она взяла Берга за рукав.

— Ну так что ж, что еврей? Вы сказали это так, будто выругали меня. Ужасно смешно и... мило. Ну, а теперь расскажите мне про вашего страшного капитана. Капитана я боюсь,— она искоса взглянула на Берга.— Говорят, он ненавидит женщин и одной рукой двигает комод. Он не будет рычать на меня?

— Пусть попробует,— пробормотал Берг хвастливо, тотчас же подумал: «Как пошло, боже, как пошло! — и ущипнул себя через карман пальто за ногу.— Идиот!»

Наташа шла быстро. Берг глядел украдкой в ее зеленоватые глаза, и зависть к инженеру засосала под ложечкой. Зависть к инженеру и ко всем хорошо выбритым, уверенным мужчинам, которые так весело и непринужденно обращаются с насмешливыми женщинами.

«Шаркуны!» — подумал он о них словами капитана.

На Арбатской площади они расстались. Берг вздохнул, размял плечи и закурил «Червонец». Он чувствовал себя как грузчик, сбросивший пятипудовый мешок, сдвинул кепку и, нахвистывая, пошел по Пречистенскому бульвару к храму Христа.

Снег казался ему душистым и даже теплым. В домах шла уютная зимняя жизнь: кипятили кофе, смеялись дети, жаром тянуло от батарей отопления, и сухой янтарь солнца брызгал в глаза женщин. Ущипленное место на ноге сильно болело.

До воскресенья Берг прожил в снежном дыму, в глубокой созерцательности. Он починил старый пиджак, достал уют и разгладил брюки, выстирал рубашку. Капитан помогал ему советами.

На дачу Берг возвращался раньше всех, еще засветло. До приезда капитана он лежал у него на продавленном диване. Миссури спала рядом, от шкурки ее тянуло теплом. За окнами морской водой зеленели глухие закаты. С верхушек сосен сыпался снег. Воздух похрустывал, как лед, и дым уходил столбами к небу.

«Антициклон,— думал Берг.— Тишина!»

Потом в синем окне очень далеко и низко, над самой рамой, зажигали звезду, и Берг засыпал.

Отъезд задерживался из-за денег. По словам капитана, «гадили главбухи» — народ неромантичный и сомневающийся.

Раздраженные приказы ускорить выдачу денег главбухи принимали как каприз ребенка и, поправляя очки, шли к начальству объясняться и разводиться руками. Но чающим денег они внушали, что, пока не сведен баланс, денег дать нельзя и настаивать на выдаче просто глупо.

Капитан и Симбирцев злились, Берг и Батурин ждали терпеливо — они предпочитали выехать позже, к весне.

Берга будил капитан.

— Опять не дали, сволочи, денег! — гремел он, стаскивая пальто. — Всем главбухам — камень на шею и в реку. Сидят на подушечках от геморроя и кудахчут, как квочки.

Геморрой был высшей степенью падения в глазах капитана. О людях, не заслуживающих внимания, он говорил: «У него же геморрой, разве вы не видите!»

Воскресенье пришло в тишине и оранжевом солнце. Берг умывался и пел, — вода пахла сосной и снегом.

Прочь, тоска, уймись, кручинушка,
Аль тебя и водкой не зальешь! —

пел Берг, плескался и фыркал. Батурин в своем обычном виде — с засунутой в угол рта папиросой и прищуренным глазом — возился с лыжами, мазал их дегтем и натирал тряпкой до сверхъестественного блеска.

Капитан прибирал комнату, половицы стонали под его ботинками. Он бранился с Миссури по-английски. С ней он говорил всегда по-английски, чтобы не забывала языка. Миссури, растопырив пятерню, яростно вылизывала лапу, вывернув ее и держа перед собой, как зеркало, и искоса поглядывала на капитана.

— Я тебе посмотрю, — бормотал капитан. — Продажная тварь! Где сосиски?

Миссури зевнула. Капитан крикнул через стену Батурину: — Слопала сосиски! Черт ее знает, чем теперь лирика угощать. Сбегайте в кооператив, притащите какой-нибудь штуковины.

Батурин пошел. День прозрачно дымился. Шапки снега на заборах казались страшно знакомыми, — где-то он читал об этом, в старом романе — не то Измайлова, не то Боборыкина.

Когда он вернулся, солнце вкось ударило в глаза через золотистые волосы. У окна сидела Наташа в свитере. Инженер ходил по комнате, насвистывая фокстрот, Берг накрывал на стол, а капитан, улыбаясь, показывая единственный передний зуб, возился с кофейником. Запах кофе был удивительно крепок: казалось, зима и дощатые стены пахнут кофе. Окна запотели, и солнечный свет стал апельсиновым.

За кофе капитан строго и по заранее намеченному плану допросил Наташу: куда уехала Нелидова, как она одевается, каков ее муж (фамилия его оказалась Пиррисон), были ли у них знакомые на юге, а если были, то где, и в конце потребовал точных примет Пиррисона.

Куда уехала Нелидова — Наташа не знала. Вернее всего, на Кавказское побережье — в Новороссийск, Туапсе, Батум. Но, может быть, она в Ростове-на-Дону. Уехала она с Курского вокзала, ее никто не провожал, билет у нее был до Ростова.

Пиррисон — бывший киноартист. Он больше насвистывал, чем говорил (Наташа с упреком взглянула на Симбирцева), был как-то неприятно весел, жил давно заведенными рефлексами.

— Не человек, а сплошная привычка. Румяный, в круглых очках. Весил шесть пудов.

— Субчик неважный, — определил капитан.

Знакомые на юге были, кажется, у Пиррисона, в Тифлисе. Приметы Нелидовой Наташа не стала перечислять, а вынула из сумочки фотографию и передала капитану.

Капитан разглядывал долго, глаза его нахмурились, как в штормовую погоду. Разглядыванье карточки он закончил словами:

— Да... с ней будет много возни...

Он передал карточку Батурину. Батурин взглянул, медленно поднял голову и растерянно улыбнулся.

— Что за черт! Эту женщину я сегодня видел во сне. Сны я запоминаю редко.

— Начинается чертовщина!

Капитан ни разу в жизни не видел ни одного сна и был уверен, что они снятся только женоподобным мужчинам и старухам.

— Удивляюсь, почему вы до сих пор не купили себе Мартына Задеку?

Берг, к которому вернулось самообладание, сделал скучаю-

щее лицо. «Молчаливый этот Батурин, а между тем полон сантиментов».

Но Батурин сон не рассказал. Враждебность к этому сну напугала его, он покраснел и перевел разговор на другую тему.

В сны он, конечно, не верил. Но власть их над ним была поразительна. Бывало так: много раз он встречался с человеком и не видел в нем ничего любопытного, не приглядывался. Потом во сне этот человек сталкивался с ним в средневековом городе или в голубом, вымытом дождями парке, и Батурин как бы очищал его от скорлупы обыденной жизни.

Невольно, почти не сознавая этого, Батурин начал и в жизни стремиться к тому, что он видел во сне. Это занятие приобрело характер азартной игры. Сны толкали его на неожиданные поступки: в действиях Батурина не было даже намека на план, на связность.

Все это быстро старило. В конце концов даже азартная эта игра с действительностью потеряла острый свой вкус. Много времени спустя Батурин понял — почему. Сны были отзвуками всего виденного, — они не давали и не могли дать новых ощущений. Батурин вращался в беспорядочном и узком кругу прошлого, преломленного сквозь стекляшки этих снов. Прошлое тяготило его. Дни обрастали серым мхом, беззвучностью, бесплодностью.

Батурин дошел до абсурдов. Однажды ему приснилось, что он ночью заблудился в лесу. Вечером этого дня Батурин ушел в лес и провел в нем ночь, забравшись в глухую чащу. Был сентябрь; в лесу, черном от осени, сладко пахла и чавкала под ногами мшистая земля. Казалось, что десятки гигантских кошек крадутся сзади. Батурин боялся курить. Утром синий и тягучий рассвет никак не мог разогнать туман, и земля показалась Батурину очень неприглядной.

Сны определяли все его привязанности, влюбленность, самую жизнь, несколько смутную, пеструю, когда грани отдельных событий переплетаются так прочно, вживаются друг в друга так крепко, что ядро события отыскивается с трудом.

Он переменял несколько профессий. В каждой была своя острота, разбавленная в конце концов скукой. Сейчас Батурин случайно был журналистом. Раньше он был вожатым трамвая, матросом на грязном грузовом пароходе на Днестре, прапорщиком во время германской войны, дрался с Петлюрой и Махно, заготовлял табак в Абхазии.

Жизнь шла скачками, в постоянной торопливости, в сознании, что главное еще не пришло. Всегда Батурин чувствовал себя так, будто готовился к лучшему. Одиночество приучило к молчаливости. Все перегорало внутри. Никому он о себе не рассказывал.

Батурин пробовал писать, но ничего не вышло — не было

ни сюжета, ни четкой фразы. Больше двух страниц он написать не мог,—казалось слащаво, сентиментально. Писать он бросил.

Ему было уже за тридцать лет. Он был одинок, как Берг и капитан,—это их сблизило. Встретились они в Москве в редакции. Капитан и Берг жили у приятелей и каждую ночь ночевали на новом месте. Батурин притащил их к себе в Пушкино.

Больше всего тяготило Батурина то, что он чувствовал себя вне общей жизни. Ни одно из ее миллионных колесиков не зацепляло его. Он жил в отчуждении, разговоры с людьми были случайны. Берг это заметил.

— Вы случайный человек,—сказал он ему как-то.—С таким же успехом вы могли бы жить в средние века или в ледниковый период.

— Или совсем не родиться,—добавил Батурин.

— Пожалуй... Что вам от того, что вы живете в двадцатом веке, да еще в Советской России? Ничего. Ни радости, ни печали. Генеральша, которую разорили большевики, и та живее и современнее вас: она хоть ненавидит. А вы что? Вы — старик!

Разговор этот больно задел Батурина,—он понимал, что Берг прав.

— Что же делать? —спросил он и натянуто улыбнулся.

Берг пожал плечами и ничего не ответил.

В этом пожатии плеч Батурин прочел большое продуманное осуждение таких людей, как он,—оторванных от своего века, выхолащенных, бесстрастных.

«Не то, не то»,—мучительно думал он. Тоска его по самой простой, доступной всем жизнерадостности стала невыносимой. Он приходил к капитану, доставал водку, пил, и это успокаивало.

Поиски, на которые он согласился, пугали; он предчувствовал обилие скучной возни, но вместе с тем чудились в них прекрасные неожиданности, встречи.

«А вдруг найдется выход? —думал он, усмехаясь.—Чем черт не шутит».

Размышления его прервал возглас Наташи:

— Ну что ж, пойдём мы на лыжах? Я свои привезла.

Пошли втроем: Наташа, Берг и Батурин. Капитан остался с Симбирцевым,—они заспорили о лирике. Спор принял затяжной и бурный характер. Им было не до прогулки.

В лесу на снег ложился розовый свет. Батурин ударил палкой по сосне —она зазвенела. С верхушки сорвалась и тяжело полетела черная птица.

— Расскажите подробнее о Нелидовой.

— А вы расскажете сон?

— Расскажу.

— Ну ладно. Я расскажу, как Нелидова встретилась с

Пиррисоном. Они встретились в Савойских Альпах зимой двадцать первого года.

— Где? — спросил Берг. Он плохо управлялся с лыжами и отставал.

— В Савойских Альпах в двадцать первом году; Нелидова была киноартисткой во Франции, слышите? — прокричала Наташа. — Их труппу отправили в горы; снимали фильм «Белая смерть». В труппе работал Пиррисон, — он играл охотников, апашей и полицейских. Снимали пирушку с танцами в горном кабачке. В съемке участвовали тамошние жители, дровосеки, а главным был угольщик, дедушка Павел. За веселый нрав его назначили чем-то вроде режиссера при дровосеках. В кабачке затопили камин, зажгли юпитера, хотя дровосеки были против этого, — по их мнению, можно было снимать при свете ламп, да и от снега было совсем светло.

Налезло много народу, выпили для храбрости подогретого вина. Молодой сын кабатчика засвистел на окарине, дровосеки начали хлопать в ладоши, пошла пляска, и операторы пустились накручивать ленту. К стене были прислонены охотничьи ружья. Нелидова рассказывала, что до сих пор помнит запах в кабачке, — пахло смолой от стен, винным паром и духами.

Артисты опьянели от причудливой этой экскурсии в горы и танцевали почище матерых дровосеков. Дровосеки были добродушные, тяжелые люди. Они страшно хлопали друг друга по спине и на пари били одной дробинкой белку.

В разгар пляски дедушка Павел поднял руки и закричал: — Стой, я потерял свою трубку!

Танцы прекратились. Артисты бросились искать трубку. Операторы перестали накручивать ленту.

— Крутите, идиоты! — заорал режиссер и схватился за голову. — Прозевали чудесный момент! Крутите, ослы!

Во время поисков рука Нелидовой встретилась под дощатым столом с рукой Пиррисона. Пиррисон пожал ее пальцы. Юпитер зашипел и ударил им в глаза.

— Целуйтесь! — закричал режиссер, набрасывая на одно плечо упавшую подтяжку. — Целуйтесь, вам говорят! Так, прекрасно. Нашли трубку? Продолжайте танцы. Больше шуму, больше шуму, тогда будет веселей!

Он любил подбирать фразы как бы из детских песенок. Метался и кричал он по дурной привычке — шуму и веселья было и так достаточно

Нелидова поняла, что Пиррисон поцеловал ее не для фильма. Снег, горы, гостиница, где камин топили еловыми щепками, — все это вскружило ей голову. Дальше все пошло, как обычно. В двадцать третьем году они с Пиррисоном приехали в Россию.

Вышли к Серебрянке. На берегу шатрами стояли ели, чувствовался север. К вечеру зазеленело небо. Остановились, до-

стали папиросы. У Наташи на бровях таяли снежинки, она смахнула их перчаткой. Прикуривая у Берга (рука его теперь почти не дрожала), она подняла глаза. Берг отшатнулся. Тьма зрачков, ресницы, мокрые от снега, как от слез, глядели на него «крупным планом».

— Да, правда, вы совсем здоровы,— сказала медленно Наташа.

— Вот психастеник.— Берг показал на Батурина.

Батурин промолчал, оттолкнулся палками и быстро скатился с горы. Наташа скатилась за ним и упала. Когда Батурин помогал ей подняться, она спросила:

— Расскажите сон? Расскажите? Я страшно любопытная.

— Эх, пропадаем, отец! — Берг восторженно ринулся с горы. Он свалился, потерял лыжи. Лыжи умчались вперед, подпрыгивая и обгоняя друг друга, явно издеваясь над ним. «Сволочи»,— подумал Берг и побежал, проваливаясь и падая, вдогонку.

Обратно шли медленно. В синем, как бы фарфоровом небе перебегали снежные звезды, скрипели лыжи.

— Ну, как ваш сон?

— Глупый сон, но раз вы настаиваете, я расскажу.

Снилось ему вот что: сотни железнодорожных путей, отполированных поездами, кажется в Москве, но Москва — исполинская, дымная и сложная, как Лондон. Вагон электрической железной дороги — узкая, стремительная торпеда, отделанная красным деревом и серой замшей. Качающий ход вагона, почти полет, гром в туннелях, перестрелка в ущельях пакгаузов, нарастающий, как катастрофа, вопль колес. Разрыв снаряда — встречный поезд, и снова глухое гуденье полотна.

Рядом сидела женщина — теперь он знает, это она, Нелидова; его поразила печальная матовость ее лица. Когда вагон проносился на скрещении в каком-нибудь сантиметре от перерезавших его путь таких же вихревых, стеклянных, поездов, она взглядывала на Батурина и смеялась. Около бетонной стены она высунула руку и коснулась ногтем струящегося в окне бетона, потом показала Батурина ноготь, — он был отполирован, и из-под него сочилась кровь.

Поля ударили солнечным ветром. Зеленый свет каскадом пролетал по потолку вагона. Женщина подняла глаза на Батурина; зелень лесов, их тьма чернели и кружились в ее зрачках. Тогда он услышал ее голос, — она положила руку ему на плечо и спросила:

— Зачем вы поехали этим поездом?

Трудно сказать, что он услышал голос. Гром бандажей, скреплений и рельсов достиг космической силы. Скорее, он догадался по движению ее губ, сухих и очень ярких.

— Я жду крушенья.

— Почему?

— От скуки.

Мост прокричал сплошной звенящей нотой,— вода блеснула, свистнула, ушла, и с шумом ливня помчался лес.

— Когда вам захочется, чтобы вас простили,— сказала она, не глядя на Батурина,— найдите меня. Я прощу вам даже то, чему нет прощенья.

— Что?

— Скуку. Погоню за смертью. Даже вот этот палец ваш,— она взяла Батурина за мизинец,— не заслуживает смерти.

В конце вагона была небольшая эстрада. За ней — узкая дверь. Из двери вышел китаец в европейском костюме. Кожа сухая, не кожа — лайковая перчатка, и глаза под цвет спитого чая. Он присел на корточки, вынул из ящичка змею и запел песню, похожую на визг щенка.

Он похлопывал змею и пел, не подымая глаз. Морщины тысячелетней горечи лежали около его тонкого рта. Он открыл рот, и змея заползла ему в горло. Он пел, слюна текла на подбородок, и глаза вылезали из орбит. Он пел все тише, это был уже плач — он звал змею. Когда она высунула голову, желтое лицо его посинело. Он схватил змеиную голову и изо всех сил начал тащить наружу.

— Довольно! — крикнул Батурина.

Китаец выплюнул змею, она спряталась в ящичек. Китаец сидел и плакал.

Пришла невысказанная раньше человеческая жалость, внезапная, как ужас. Батурина бросился к китайцу, поднял его голову. Слезы текли по морщинам, зубы стучали. Тысячелетнее, нет, гораздо более древнее горе тяжело душило сердце. Нищета, смерть детей, войны, этот страшный своей ненужностью оплывший труд.

Батурина поднял китайца, усадил. Китаец гладил руками его рукава, прятал голову, на серых его брюках чернели пятна слез.

Подошла женщина и, не глядя на Батурина, повторила: — Когда вам нужно будет, чтобы вас простили,— найдите меня.

Батурина взглянул на нее,— он ждал печальных глаз, стиснутых губ,— и вздрогнул. Она смеялась, подняла к глазам ладони, быстро провела ими, и на щеку Батурина брызнула теплая влага.

— Это роса, уже вечер! — крикнула она и бросилась к окну.

Ветер рвал ее платье, ее слезы, ее смех. Поезд гудел, замедляя ход на гигантской насыпи по мощному и плавному закруглению,— впереди была всякая безмолвная река. Батурина соскочил. Под ногой хрустели ракушки, солнце, как красный шмель, летело на вечерние сырые травы. Батурина хотел нарвать их, но поезд тронулся. Он вскочил на подножку, сорвался,

красный фонарь последнего вагона пронесся у его головы. Прогремела квадратная труба моста. Батурин бросился бежать. У него было сознание последней, непоправимой катастрофы. Он добежал до моста.

— Куда пошел этот поезд? — крикнул он красноармейцу на мосту.

— К чертовой матери, — ответил красноармеец. — Ты кто такой? Пойдем в комендатуру.

Батурин понял, что пропал, и проснулся. Уснул он в вагоне. Поезд стоял в Мытищах, и кондуктора волокли к коменданту пьяного пассажира с гармошкой. Гармонист кричал: «К чертовой матери! Не можете доказать!»

Он прижимал гармошку к груди, и она издавала звук, похожий на визг щенка.

...Наташа заглянула в лицо Батурину.

— Она похожа на Нелидову, эта женщина.

А Берг сказал:

— Было хорошо для вас, если бы вы почаще видели такие сны.

Батурин вспыхнул, резко спросил:

— Берг, зачем это?

— Затем, что по существу вы хороший парень. Вот зачем.

Он медленно пошел вперед, прокладывая по снегу свежий след. Шуршали лыжи, и воздух резал легкие тончайшими осколками стекла.

СОЛОВЕЙЧИК И ЗИНКА



Деньги выдали только в марте.

Капитан тотчас же уехал на Кавказское побережье. За ним следом уехал в Одессу Берг. Батурин уехал позже всех в Ростов. Перед отъездом он отвез Миссури вместе со всем имуществом капитана к Наташе.

Последние вечера на даче были угрюмы. С крыш текло, стук капель не давал уснуть. Цезарь с тоски по капитану и Бергу выл по ночам и гремел цепью.

Приехал хозяин дачи, бывший офицер, заика. Днем он стрелял галок, а ночью страшно ворочался на кровати и говорил басом: «Покорнейше благодарю». Во сне он заикался сильнее, чем днем, и это бесило Батурина.

Перед отъездом Батури́н пошел с Наташей в Камерный театр на «Адриенну Лекуврёр». Играла Коонен. После дачной тьмы и воя псов театр сверкал, как драгоценная коробка. Бледная кожа на лице впитывала яркий свет.

Батури́н чувствовал легкость, оторванность от постоянного места,— связь с Москвой была нарушена. Мысль о поисках поглощала все.

«Неужели так много зависит от личной судьбы?» — думал он удивленно. Это опровергало его теорию о подчиненности человека эпохе. До тех пор он был убежден, что усталость его — отголосок настроений многих, переживших войны, эпидемии, революции. Но вот, в сущности, такой пустяк — поездка на юг, поиски «пропавшей грамоты», мысли о женщине, совершенно неизвестной, о том, что найденный дневник войдет в историю человеческой культуры,— все это вызывало совсем новое ощущение причудливости переживаемой эпохи, ее неповторимости, ее скрытых возможностей. Ощущение это было смутно, но, главное, Батури́н поверил в него и внутренне окреп. Появилась способность действовать (до тех пор всякая деятельность казалась ему утомительной бегом). Батури́н понял, что самые действия вызывают особый строй мыслей, наталкивают на великое множество новых настроений и образов.

«Кажется,— думал он пока еще робко,— этот закал необходим для писателя».

Батури́н открыл, как это часто бывает с одиночками, что глубоко выношенные мысли, казалось целиком принадлежавшие только ему, были широко распространенными, почти общепринятыми. Первое время это его обижало. Потом он понял, что замкнутость сыграла с ним скверную шутку, и начал с интересом приглядываться к людям.

Перемена эта произошла с ним за последнюю зиму. Однажды на вопрос Наташи, доволен ли он своей ролью искателя «пропавшей грамоты», он ответил:

— Как вам объяснить? Эта история меня отогревает. Я сделал много горьких открытий, направленных против самого себя.

Батури́н часто бывал у Наташи в Гагаринском переулке, на седьмом этаже. Было тихо в высоте над Москвой, и казалось странным, что сюда доходят электричество, вода, тепло в чугунные батареи.

Зима мягко и сыро лежала на крышах. С высоты Москва была зрелищем почерневших крестов, галок и кривых антенн. Над всем этим простиралось небо, невидное снизу,— очень простое и неширокое.

Батури́н застрял в Москве из-за капитана. Капитан заехал по пути в Ростов и должен был оттуда прислать инструкции. Наконец они пришли.

Капитан писал:

«Выезжайте в Ростов. Думаю, след вы здесь найдете. Советую связаться со спекулянтами и скупщиками контрабанды. Уверен, что Пиррисон занялся контрабандой, соответствующей достоинству Соединенных Штатов, то есть спекуляцией золотом и драгоценностями. Держите постоянную связь. На Берга надежды мало,— он неизбежно събьется с пути в погоне за материалом для новой повести. Пусть его!»

В апреле Батурин уехал. Провожала его одна Наташа,— инженер плевал кровью (весна была жидкая, навозная).

До Воронежа земля туманилась от моросящего дождя. Он плескал по лужам на пустых станциях. Батурин первый раз проезжал по этой части России. Ее неизмеримое уныние даже понравилось ему. Вот куда бы уйти отдохнуть, бродяжить настоящему, а не по театральным крымским шоссе.

Под Ростовом была сырая, но теплая весна. Станицы зеленели в степи, закаты в полнеба горели на лакированных стенках вагонов. Батурин висел в окне вместе с четырехлетним мальчиком Юрой. Они сдружились и разговаривали, сталкиваясь головами.

— Река пошла спать? — спрашивал мальчик.

— Пошла.

— Как же она спит без одеяла,— ей холодно?

Батурин говорил, что река укрывается туманом: под ним очень тепло. Юра долго и печально смотрел на реку, длинные его ресницы были неподвижны,— он думал.

— И птичка спит,— говорил он чуть слышно.

Батурин ощущал теплый запах его соломенных, подстриженных в кружок волос.

— Чем ты пахнешь? — спросил Батурин.

Юра долго думал, потом ответил:

— Воробышком.

В Ростове шел дождь. Он мягко, по-южному, шумел по горбатым мостовым, просеивал многочисленные и тусклые огни. На западе догорал сизый закат.

«Как донская вода»,— подумал о нем Батурин.

На бесполом ростовском вокзале Батурин слегка потерялся. Куда идти? Теперь одиночество уже явно тяготило его. Он сел в зале первого класса и заказал чай. Около него долго вертелся, приглядывался пожилой еврей в промокшем пальто.

Когда еврей останавливался, вода капала с пальто на пол, он затирал лужицы калошей и с опаской поглядывал на официантов. Он боялся останавливаться и бродил между столиков. Его походка и жалобный вид, выработанный годами как средство самозащиты, намекали на профессию, не пользующуюся уважением у вокзальных властей.

Батурин следил за ним. Наконец еврей подошел.

— Молодой человек,— сказал он тоном хитрого прозорливца,— вы не имеете, где остановиться?

Батурин кивнул головой.

— Какие пустяки. Я вам покажу приличную комнату. С вас возьмут рубль в сутки. Вы будете иметь удобства и хорошее обращение, а мне вы дадите полтинник.

— Лучше в гостинице.

Еврей попятился, замахал руками.

— Вам? — спросил он с ужасом.— Вам в гостиницу? Боже мой! Такой приличный молодой человек. Вас там оберут до последнего и выбросят на улицу. Вы же не знаете, что такое Ростов! Я — Соловейчик, спросите про меня каждого извозчика. Разве я посоветую вам плохо?

Батурин боялся гостиниц с их застарелым запахом писсуаров, уборщицами, свирепо швыряющими ведра, матрасами, засаленными от трипперных мазей, и рукомойниками с желтой водой. Каждый постоялец оставлял свои запахи, пороки и неряшливость,— это было невыносимо до тошноты. Предшественник по номеру почему-то представлялся Батурину приказчиком с гнилыми зубами, в розовых кальсонах, рыгающим со сна селедкой и липкой запеканкой,— человеком назойливым, бранчливым, приносящим в номер проституток.

Батурин согласился, нанял извозчика. Соловейчик почтительно сел рядом, боясь замочить Батурина своим пальто. Из-под поднятого верха пролетки ничего не было видно, кроме струй дождя в белом кругу фонарей и черного булыжника. Лошадь лениво цокала подковами. Соловейчик вздохнул и прошептал:

— О-хо-хо, все мы пропадем!

Привез он Батурина в переулок около Таганрогского проспекта, провел по лестнице на деревянную террасу, где две женщины мыли, охая, пол. В лужах на дворе отражался свет ламп и пламя бушующих примусов. Из дверей сочился сладкий чад лука и постного масла; кашлял и заходиллся ребенок.

«Подходящее место»,— подумал Батурин.

— Добэ,— робко сказал Соловейчик одной из женщин.— Вот я привел вам постояльца. Молодой человек из Москвы, прямо жених.

Добэ поднялась, вытерла руки о ситцевую нижнюю юбку и в упор посмотрела на Батурина. Сизое лицо ее выражало обидное равнодушие и к Батурину, и к Соловейчику, и к комнате, которую от нее требовали.

— От вечная мне морока,— сказала она басом.— За рубль я не имею ни минуты покоя,— как вам нравится такая жизнь! Теперь я решила сдавать не меньше как за полтора рубля.— Соловейчик попятился, замахал руками, и в ту же минуту Добэ пронзительно закричала:

— Что вы махаете? Что? У меня дочка невеста, кто пойдет за нищую? Вы ей дадите приданое, несчастный еврей? Вы с

вашиими рублевыми постояльцами, за которыми надо прибираться на три рубля. Полтора рубля, или уезжайте в другое место.

— Вы не в духе, мадам Мовес.— Соловейчик сокрушенно покачал головой.— Нельзя кричать на человека, будто вас обокрали. Что это за мода! Вы рискуете не заработать и рубль. Кому нужна такая хозяйка, я вас спрашиваю? Кому? Мне? Да нехай она скажется. Или вот этому хорошему человеку?

— Ради приданого я дам полтора,— согласился Батурин.

— Рива! — крикнула Добэ.— Покажи мне комнату.

В комнате, похожей на шкаф, высокой и узкой, стучали ходики и ворочали поломанные стрелки. Было сыро и пахло керосином.

Ночью стонала во сне за стеной Добэ, ветер перетряхивал на крыше листы жести, и лишь к утру — розоватому и серому, как пепел,— вывездило и ветер утих. Батурин почти всю ночь не спал. Яд поисков, только что начатых, уже отравил его. Он изощрялся в догадках, сотни смелых, но одинаково беспомощных планов спутывались в голове и уничтожали друг друга.

К утру он задремал. Разбудил его унылый бас, бубнивший под окнами:

— Уголля надо?! Вот уголля надо?!

Батурин долго не мог догадаться, что продавал этот унылый бас; потом понял и обрадовался — уголь.

Пришло серенькое ремесленное утро. Женщины шлепали детей, мужчины мылись во дворе под краном. Синий угар самоваров струился под крышу, дух квашеной капусты выползал из комнат. Гудели яростные примусы, трещали и брызгали салом раскаленные сковороды, и шум — суетливый, однообразный шум жизни — возвестил о начале еще одного безрадостного и длинного дня. Дом кричал, плакал, ссорился, смеялся и шипел, как чудовищный Ноев ковчег. Кошки мылись на подоконниках, и запах помоек, крыс и зелени расплывался извилистыми течениями, навещая то одну, то другую комнату. Над всем этим шумом стоял пронзительный, короткий, как лозунг, крик мамаш:

— Вот погоди, я тебе задам!

Утром пришел Соловейчик — узнать, не надо ли чего Батурину. Батурин рассказал ему вымышленную историю о пропавшей сестре. У него, мол, месячный отпуск, и он приехал искать пропавшую свою сестру. Она должна быть в Ростове. Она сбежала с американцем Пиррисоном, ее надо найти и вернуть домой, американец — прохвост: надругается над девушкой и бросит.

Соловейчик слушал недоверчиво. Он сложил руки на животе и вертел большими пальцами, вздыхал, сдвигал на затылок рваную фетровую шляпу. Галстук торчал сзади кисточкой над бумажным его воротничком.

— А она не ваша невеста? — подозрительно спросил он.—

Теперь, знаете, такое время, что мать сына искать не будет, не то что брат сестру. Разве теперь имеются такие братья!

Батурин деланно смутился, помял хлеб на столе.

— Да, верно. Она моя невеста.

— А может, она ваша жена?

— Нет.

— Какая разница между женой и невестой! — заметил вскользя Соловейчик.

Он допрашивал Батурина вежливо и долго, щипал бородку и наконец улыбнулся с неожиданной добротой.

— Ой, молодой человек, Соловейчика вы не обманете! Вы ищете жену, — так и говорите. Сколько лет маклерую в Ростове, а такого дела, скажу откровенно, не было. Деликатное дело! Надо посидеть и подумать.

Он действительно долго думал, бормотал, отрицательно качал головой.

— Вот что. Надо начинать с американцев. Их тут в Ростове несколько, — они продают для виду американские жатки и молотилки, морочат людей и помалу занимаются контрабандой. Я вам узнаю фамилии этих американцев, может, среди них есть и ваш приятель. Это раз. Теперь два, — он бесспорно мог уже уехать. Вы слушайте, тут есть две девочки, они все время с американцами пугались, надо их увидеть. В случае ваш был здесь, они знают. Девочки, сами знаете, с асфальта, но хорошие женщины. Вы им дадите на две пары чулок и еще так... мелочи.

Соловейчик засмеялся, довольный своим планом.

— За вас я не опасаясь, что вы мне заплатите за работу. Чего только не приходится выдумывать из-за куска хлеба! Ну, ваше дело — чистое дело. Откровенно сказать, я приношу человеку счастье и получаю десять рублей за работу. А то другой говорит: «Соловейчик, найди мне девочку, чтобы была такая и такая, — и выглядела прилично, и не обокрала бы, и умела себя в театре держать». Разве легко? У меня было свое заведение, лавочка в порту, я торговал табаком и думал, что бог даст мне спокойную смерть. Но что бог! Ему есть важнее дела, чем эти евреи, — бог волнуется за большевиков, что ему подрывают авторитет, что ему делают конкуренцию. Бог умер для таких, как мы. Мы живем, извините, прямо в нужнике, жена ослепла, и плачет и плачет, — у нас деникинцы убили мальчика. Он был один, он был первенец. Нельзя сказать, что просто убили — они раздели его на Садовой и били шомполами. Потом он три дня лежал на кровати, ничего не говорил и умер. Доктор говорит: «Он задавился кровью, кровь набралась в легкие, они ему отбили легкие шомполами».

Мальчик умер. За что, я спрашиваю всех! Одна забота, чтобы жила жена, — она мне родила этого мальчика. Она мучилась со мною всю эту проклятую жизнь. Куда ей пойти, если я не заработаю рубль в день?

Тогда я пошел к офицерам и говорил: «Господа офицеры, у вас есть свой бог и своя совесть,— за что вы убили моего мальчика?» — «Вышла небольшая ошибка», — сказал один, он был в лайковых перчатках. «Какая ошибка?» — спрашиваю я. «А ошибка та, что он еще не был большевиком, но очень свободно мог им быть. Иди, говорит, жалуйся Нахамкесу. Мы мертвых не воскрешаем. Чего ты пришел?»

Соловейчик прижал к глазам рукав рыжего пальто.

«Иди, говорит. Чего ты пришел? Чего ты пришел?» — «Господин офицер, — сказал я ему. — Счастливая ваша мать, что имеет такого замечательного сына». А сын, мальчик мой, разве это собака? Я спрашиваю всех. Разве на смерть мы его растили? Когда он кашлял коклюшем, я потел от страха, думал — он задавится мокротой, я считал каждый волос на его голове, мальчик мой...

Соловейчик заплакал. Вошла Добэ.

— Не плачьте, старик, — сказала она басом. — Может, ему теперь лучше, чем здесь, на земле. Просите у бога смерти. Чем так мучиться, лучше скоропостижно умереть. Как жить, когда у человека вынули сердце!

— Что бог, бог! — закричал Соловейчик. — Что вы пристаёте ко мне со своим богом! Где он был, когда били шомполами мальчика и Афанасий прибежал на двор и крикнул: «Соловейчик, Витю вашего убивают!» Зачем он, ваш замечательный бог, позволил ему в тот день выйти на улицу? У бога одна забота, — он спит и думает о вашем счастье, евреи. Только и вы, Добэ, все живете, я вижу, на помойке и счастье увидите, как свою задницу, извините меня. Кому бог продал ваше счастье и за какую цену? Чего он не сжег огнем тех негодяев? А они, эти добрые женщины, бегают по дворам и рассказывают о боге. Тьфу!

Соловейчик плюнул.

— Уймись, старик! — закричала Добэ и отшатнулась. — Что ты зовешь несчастье на свою голову и на мой дом! Замолчи, старик!

— Я уже молчу, Добэ. Простите меня, вы хорошая женщина. Но как я могу спокойно разговаривать с людьми?

Добэ подняла с пола его шляпу, надела ему на голову, похлопала по спине.

— Ну, как-нибудь мы доживем.

— Доживем, — скорбно согласился Соловейчик. — А теперь я пойду.

Он назначил Батурину встречу в пивной «Мамаша», куда он должен был привести двух девиц, и ушел, вытирая глаза коричневым клетчатым платком.

Батурин пошел бродить по городу, вышел к реке. Скрежетал разводной мост, и желтая вода мыла красные днища пароходов. Насупленный день враждебно смотрел на город из-за Дона, откуда дул ветер. Во взгляде этого дня была холодная скука.

Хотелось вечера, когда изгнанные краски — черная и золотая — ночь и огни — вернутся на землю. И вечер пришел. Он вяло протаскился по улицам и переулкам, зажигая скупые огни. С первыми фонарями на Дону, прокашлявшись, прогудел морской пароход. По гудку, по его радостной дрожи можно было догадаться, что пароход отходит в Ялту, Севастополь, к городам, созданным для веселья, солнца, запахов моря, для прекрасных женщин.

Когда совсем стемнело, Батурин пошел в «Мамашу». В пивной уже сидел Соловейчик. Он был совсем некстати здесь, в своем длиннополом пальто, худой и жалкий, как Вечный жид на плохой гравюре.

В слоистом дыму пылали лампы, сияли рожи грузчиков с щетинистыми рыжими усами. Густой мат с размаху хлопал входивших по груди. Пиво пахло кисло и слабо, — тоже, казалось, некстати здесь, где обстановка требовала крепчайшей водки, горячих пирогов и чугунных табуреток. Батурин заказал Соловейчику яичницу и чай, себе взял пива.

Соловейчик вытащил из кармана замусоленную бумажку и шепотом прочел фамилии всех американцев, живущих в Ростове. Пиррисона среди них не было.

— Было еще двое, так те утекли, — сказал он с сожалением. — Одна у нас с вами надежда — на этих девиц. Они сейчас прибегут.

Пивная была с эстрадой. На эстраду вышел конферансье в визитке, в зеленом вязаном жилете и широких брюках. Он поддернул брюки, равнодушно посмотрел на публику, поковырял в зубах, сплюнул и вдруг закричал надсаженным голосом:

— Удивительно приятная публика сегодня собралась! Что? Здравствуйте, здравсте. Гражданин в картузе за крайним столиком, что вас давно не видать? А? — Конферансье приложил ладонь к уху. — А? Что? В тюрьме сидели? Очень рад, очень рад. Следующий номер-р-р программы — цыганский хор Югова!

Цыганки вышли, виляя бедрами.

Пивная приветственно загудела. Хор грянул:

Эх, пьет-гуляет
Наш табор кочевой
Никто любви не знает
Цыганки молодой!

Приплясывая в такт, к столику подошла полная блондинка с круглыми, равно наивными и порочными глазами. Она толкнула Соловейчика и показала глазами на Батурина:

— Папа, этот, что ли?

— Садись, Маня. Этот.

Маня протянула Батурина пухлую руку, сняла шляпу, поправила челку.

— Ну, угощайте, красавец, — сказала она хрипловато.

— А где Зина?

— Зинка вон она идет.

Батурин оглянулся. За спиной стояла высокая девушка в очень коротком платье. Карминные губы ее дрожали. Свет ламп был чудесен в ее капризных зрачках. Она оперлась локтями о спинку стула Батурина, — он видел рядом ее черные блестящие волосы, высокую чистую бровь и матовый лоб. Зинка потрясла стул и сказала властно:

— Подвиньтесь!

— Нанюхалась марафету, дура, — сказала Маня. — Опять попадешь в район.

— Не попаду-у, — протяжно ответила Зина и села рядом с Батуриным. — Это вы тот чудак, про которого говорил папаша?

Батурин кивнул головой.

— Да он гордый! Закажите пиво и рассказывайте.

Хор снова грянул:

Эх, пьет-гуляет
Наш табор кочевой
Никто любви не знает
Цыганки молодой!

Зина захохотала, схватила Батурина за руку и пьяно зашептала:

— Дайте мне посмотреть на вас. Ну, не сердитесь, ну, посмотрите на меня, — разве я такая уродка? Ну, посмотрите же, — она дернула Батурина за руку. — Я не пьяная, я марафету нанюхалась, — лицо у меня холодное, потрогайте, а в глазах ракеты, ракеты... Ну, посмотрите же вы, несчастный жених!

Батурин поднял глаза. Он приготовился увидеть смеющееся пьяное лицо и отшатнулся. В упор смотрели темные глаза, полные, как слезами, тревогой, упреком. Дикой тоской ударил этот взгляд в сердце. На секунду все вокруг поплыло. Батурин качнулся.

— Вот вы какой! — сказала девушка медленно, со страшным изумлением, тем неясным, почти угрожающим тоном, когда трудно понять, что последует за этими словами — удар по лицу или поцелуй.

— Интересно ты себя ведешь, Зинка, — сказала значительно Маня. — Очень интересно ты себя ведешь. Что ты, — сказала? Человек зовет тебя по делу, а ты играешь театр. Сиди и слушай.

— Отвяжись, — зло крикнула Зина и дернула плечом. — Ну, вот, сейчас буду слушать. Подумаешь — невидаль какая! Видали мы хахалей и почище!

— Зинка, — Соловейчик прижал руки к груди, — Зинка ты не знаешь, какой это человек, до чего он хороший. Сердце у него золотое. Не бесись, Зинка. Чего ты хочешь, сумасшедшая женщина?

— Обидела мальчика. — Зинка закурила. — Он молчит, а вы загавкали, адвокаты. Что он вам, — золото дарил, обедом кор-

мил? Чем он купил тебя, Соловейчик? Почему он молчит, не обижается? Противно мне с вами.

Она затянулась, швырнула папиросу на соседний столик. Оттуда сказали предостерегающе:

— Барышня, не нервничайте. Одного не можете поделить или со стариком спать не сладко?

— Отцепись, зараза!

Соловейчик заерзал. Из-за обиженного столика поднялся громоздкий человек в расстегнутой шинели. Глаза его запали; он подошел к Батурину.

— Уйми эту стерву, — крикнул он, качаясь, и махнул рукой в сторону Зинки. — Ишь расселись, господа. Сразу двух забрал, одной ему мало. А старый жид маклерует, гадюка!

Он смотрел на Соловейчика, глаза его округлились, он набрал в легкие воздух и истерично крикнул:

— Вон, сукин кот, пока цел!

Соловейчик втянул голову в плечи. Батурин медленно встал, руки у него заледенели, он не знал, что будет через минуту. В груди будто запрудили реку, бешенство водой подымалось к горлу. Не глядя на стол, он нащупал там пустую бутылку. «Убью», — подумал он, и будто свежий ветер ударил в голову, — позади, впереди, кругом была пустота. Батурин нашел глазами висок.

— Степка, убьет! — закричал за соседним столиком отчаянный, визгливый голос. — Степка, уйди, — убьет. Видишь, человек не в себе.

Степка отступил, открыл рот, замычал, коротко замахал руками. Тухлые судачьи глаза его смотрели не отрываясь в одну точку — в лицо Батурина.

Батурин трудно и тихо сказал:

— Уйди... иначе... — и задрожал всем телом.

Человек, что-то бормоча, отскочил, бросился к двери. Он толкал столики, опрокинул бутылку, ее звон прервал тишину, посетители облегченно засмеялись. Конферансье закричал надсаженным голосом:

— Граждане, инцидент исчерпан к общему удовольствию! Прошу соблюдать абсолютную тишину. У работников эстрады глотки тоже не казенные, не забывайте, граждане!

Батурин сел. Сразу захотелось спать, в теле гудело изнеможенье. С трудом он поднес к губам стакан пива и отпил несколько глотков.

— Вот вы какой! — повторила Зина и улыбнулась. — Теперь я буду вас слушать, а раньше не хотела, я знаю уже все от папаши.

— Вам в Ростове будет уваженье, — сказала Маня. — Вы отшили Степку-музыканта, его все боятся, как холеры.

— Какого Степку?

— Ой, — Соловейчик вытер шляпой потный лоб. — Лучше не

спрашивайте. Не дай вам бог еще раз в жизни увидеть этого Степку. Он бандит с Темерника. Как он тут под боком сидел,— я и не заметил. Знаменитый парень. ГПУ по нем давно плачет.

Батурин снова рассказал вымышленную историю о пропавшей невесте. Проститутки слушали сначала так же недоверчиво, как и Соловейчик, потом, очевидно, поверили. Маня даже расстрогалась.

— Нет, такой здесь не было. А Пиррисон был. Да вот Зинка расскажет, она с ним жила.

Зинка подняла к глазам стакан пива и долго не опускала. Батурин вздрогнул,— четкие следы обозначились во всей этой путанице.

— Ну что же ты, рассказывай.

— Сволочь ваш Пиррисон,— тяжело проговорила Зина, поставила стакан и в упор посмотрела на Батурина.— Собака ваш Пиррисон. Невеста твоя с ним сбежала.— Зина грубо перешла на «ты».— Чистенькая барышня, артистка, пальчики-маникюрчики. Когда ее найдешь, расскажи, как Пиррисон нас по две на ночь брал.

— Замолчи, Зинка! — прикрикнула Маня и испуганно посмотрела на Батурина,— что он, первый такой, Пиррисон, чего распалилась!

— Отвяжись,— пронзительно крикнула Зина.— Дай до-сказать. Видишь — человек дерьмом интересуется, а на дерьмо охотников мало.

Батурин решил терпеть до конца. Он понимал, что малейшее слово может вызвать истерику, дикий скандал, и тогда все потеряно.

— Слушай, ты,— Зина дернула Батурина за рукав.— Зачем ты мне о невесте своей рассказал! Зачем после Степки. Эх ты, несчастный жених! Невеста, невеста... Да теперь все невесты порченые. Для дураков только и есть невесты, а для порядочных — женщины. Порядочная девушка! — Зинка захохотала.— Ух ты, порядочный! Знал, куда пойти, чтобы невесту отыскать. Все вы чистехи, ручки дамам целуете, разговор у вас такой интеллигентный, а дойдет до дела — наплюете в самое сердце. Не желаю,— дико крикнула она и вскочила,— не желаю я видеть его! Маня, идем! А тебе, папаша, грех. Я из-за Пиррисона травилась, его убить надо, а ты мне приводишь хахалю, он с Пиррисоном из-за невесты дерется. Да пропади они пропадом!

Она дернула Маню за руку и выбежала из пивной.

— Отщелкала.— Пьяный за соседним столиком восхищенно покрутил головой.— Ай да девка! Вот это да, девка!

Соловейчик был подавлен.

— Нанюхалась. Взбесилась девочка. Что же теперь делать? От нее теперь ничего не добьешься. Ой, упрямая девочка — ужас!

— Пойдем,— Батурин встал.— Я подумаю, что с ней делать. Зайдите ко мне завтра утром.

Он дал Соловейчику пять рублей, и они расстались. На прощанье Соловейчик долго тряс Батурина руку сухими и слабыми лапками.

Батурин побродил по улицам. Свежо и печально дул ветер: степь и море дышали на город полной грудью. В черной листве ослепительно струились гудящие огни автомобилей.

«Что же делать? — думал Батурин. — Надо найти ее и рассказать правду. Она должна понять. Зря, совсем зря и глупо я начал врать».

Он вернулся домой, написал письмо капитану в Сухум — всего три фразы: «Пиррисон был в Ростове. След, кажется, найден. Ждите писем», — и лег. Уснул он тяжело и крепко.

Утром он лежал и ждал Соловейчика. Ходики хрипели, минутная стрелка ползла на глазах по засиженному мухами циферблату. Батурин смотрел на стрелку в оцепенении, — казалось, время остановилось, а между тем прошло уже три часа, и ходики показывали полдень. В час Соловейчика не было. Батурин встал и умылся во дворе под краном. Курчавые дети сбились вокруг него плотным кольцом и восхищались.

— Смотри, как он моется, не то что ты, Мотя.

Детей разогнали крикливые и гневные мамыши. В три часа прибежал наконец Соловейчик.

Он принес важную новость, — он видел Зину, и она сказала, что хочет поговорить с Батуриным.

— Ой, — Соловейчик подмигнул. — Если бы вы знали, как это было.

Он испытующе взглянул на Батурина, закатился от смеха и помахал шляпой.

— Ну? Вы не знаете, как это было? Она сама пришла до меня! — выкрикнул он наконец самое главное. — Она пришла и сказала: «Папаша, я вчера наскандалила. Правда, некрасиво, папаша?» Я говорю: «Да, не очень красиво, ты обидела хорошего человека». — «Соловейчик, — говорит она, — скажи мне, где он живет, мне надо с ним говорить». Но я тоже хитрый. «Что с того, — ответил я, — что я знал его адрес, когда он вчера вечером уехал». Она побелела вся. «Ты врешь, говорит, старый пачкун. Говори адрес». Я даже испугался. «Он живет секретно, — сказал я, — я не могу никому, боже меня избави, сказать его адрес, но я могу позвать его, он придет куда-нибудь, ну в сад, в пивную, куда надо, если он захочет прийти и поговорить с тобой». Она смотрела на меня, как кошка. «Что-то ты крутишь, старик, вместе с ним», — так она сказала. Потом она дала мне два рубля и говорит: «Соловейчик, милый, найди его и скажи, что я буду ждать его сегодня вечером в шесть часов в городском саду на музыке». Теперь вы имеете случай узнать все, что хотите. Девушке стало совестно. Я вам говорил — они обе хорошие, а что делать, если жизнь вышла так, что пришлось идти на асфальт.

Соловейчик получил мзду и ушел возбужденный, — это дело ему нравилось. Чутьем пожившего человека он догадывался, что Батурич что-то скрывает, что дело гораздо важнее, чем кажется. Свои мысли он закончил восклицанием:

— Молодое дело. Ой, горячие люди, горячие люди!

Батурич долго брился, часто откладывал бритву и задумывался, глядя в зеркало; наконец поймал себя на мысли, что надо переодеться, надеть синий тонкий костюм: в нем он молодец, синева хорошо оттеняла бледность лица с морщинами около губ.

«Это нужно для дела», — подумал он, стараясь увильнуть, но тотчас же уличил себя и сказал громко:

— Вот сволочь!

Ругательство это относилось к самому себе. Он вспомнил глаза Зинки, как бы искусственно удлиненные, шепот — «вот вы какой», и у него заколотилось сердце. «Сколько ей лет?» — подумал он и решил, что года двадцать три — двадцать четыре.

Костюм он надел синий, вышел на улицу без кепки, теплый ветер пригладил его волосы. Он взглянул на себя в зеркальное стекло магазина и внезапно ощутил, что стал гибче, свежее, что полон мальчишеского задора.

Насмешливая и явно искусственная мысль об омоложении, проскочившая в мозгу, была данью застарелой привычке. Чувство молодости, ветра, то чувство, что, не задумываясь, можно определить как начало подлинного счастья, билось в теле, как сердце.

В саду, в горах листья сверкали белые небольшие лампочки, — было похоже на иллюминацию. Запах духов и политых дорожек был совершенно южный, немислимый на севере. Полосы зеленого света, черные кущи деревьев и звенящее, все нарастающее пенье скрипки вызывали ощущение печального и свежего отдыха.

На скамейке у фонаря, светившего с высоты шипящей звездой, сидела Зина. Батурич остановился и смотрел на нее, пораженный.

Она была бледна от света фонаря. В небрежной ее позе, в том, как она устало откинулась на спинку скамейки и глядела в темноту кустов, задумавшись о чем-то, было нечто необычное, заставившее Батурина простоять в тени несколько минут.

Он растерялся. Если бы его спросили, что он ощущал, глядя тогда на нее, он, очевидно, ответил бы несвязно и глухо о цветении, полном терпкости и порыва.

Она раздраженно хлопывала перчаткой по открытому колену. Короткий шуршащий английский плащ не скрывал ее легких ног в шелковых серых чулках. Поля маленькой шляпы затеняли глаза, но Батурич знал, как ярко блестят они нетерпением и смутной бушующей болью. Были видны на щеке косо и четко подрезанные блестящие волосы.

«Неужели она проститутка?»

То, что он видел,— эта молодая и печальная женщина, Зинка с асфальта,— было невозможно, таило в себе начало почти чудесной перемены.

Батурин медленно подошел. Она встала.

— Наконец вы пришли,— сказала она с легким упреком, и Батурин не узнал ее голос — так он был чист.— А я боялась, что не увижу вас...

Батурин смотрел на ее губы,— тонко очерченные, чуть вздернутые, они дрожали. Он не мог поверить, что вчера в пивной эти же губы кричали «зараза, дерьмо».

— Неужели это вы? — спросил Батурин и в темноте покраснел — вопрос был действительно глуп.

Она резко повернулась к нему, усмешка обнажила ее ровные сверкающие губы.

— Да, я, я, я... Я, проститутка Зинка. Я — дорогая проститутка,— за красоту платят больше. Вы ошиблись, если приняли меня за рублевую. И Соловейчик врет, когда болтает вам об асфальте. Вчера я была пьяна, говорила все, что мне хотелось. Вы очень обиделись?

— Нисколько.

— Идемте,— она тронула его за руку.— Пойдем в тень, здесь светло, трудно говорить.

Переходы от робости к вызову, от печальных слов к дерзости, звенящей в голосе разбитым стеклом, заставляли Батурина врасплох.

— Прежде всего не зовите меня Зиной. Зовут меня Валя. Я кое-что хотела спросить...

— Спрашивайте. Потом буду спрашивать я.

— Вот вы засмеялись: говорите, что я нисколько не обидела вас. Это правда?

— Правда.

— Почему?

— Потому, что вчерашний рассказ — чепуха. Нет у меня никакой невесты.

Валя остановилась. В темноте Батурин не разглядел ее лица. Он ждал дерзости, но, как всегда, ошибся.

— Боже, какая я дура!.. Теперь расскажите мне все, но только чистую, чистую правду.

Батурин рассказал ей историю с дневником, с Нелидовой и Пиррисоном. Когда он кончил, она повторила так же загадочно вчерашнюю фразу:

— Вот вы какой! А теперь я расскажу вам об этом Пиррисоне. Он негодяй. Где он сейчас, не знаю. Два месяца назад был в Ростове, потом уехал в Таганрог, оттуда в Бердянск. Я готова была убить его. Вы это никогда не поймете, потому что вы — мужчина, а знаем мужчин до конца только мы. Я прожила с ним две недели, я боялась его, теряла голос, он бил

меня. Я однажды нанюхалась кокаину и отравилась. Но меня спасли. Я думала тогда, что напрасно.

Она помолчала.

— Вот и все. А что вы хотели спросить?

— Почему вы позвали меня?

Валя в ответ засмеялась.

— Часто смеешься вместо того, чтобы плакать. Отвечать я не стану. Пойдемте.

По Садовой она почти бежала, не глядя по сторонам. Так же быстро спросила:

— Что вы будете делать дальше?

— Поеду в Таганрог.

— Когда?

— Завтра же. Тянуть незачем.

— Я кое-что узнаю сегодня вечером о Пиррисоне. Как вам это передать?

— Назначьте место.

— Утром, но рано, часов в восемь, вы сможете прийти в порт, в кофейню Спиро, знаете? А теперь прощайте.

— Прощайте,— Батурин крепко пожал ее горячую руку.— Я страшно вам благодарен.

На ладони остался запах духов, и Батурин вечером, ложась спать, не мыл рук,— было жаль смывать этот запах.

Утром в кофейне Спиро — розовой и грязной — он уже застал Валю. Она была бледна.

— Что с вами?

— Так... не спала ночь. А с вами? Вы тоже очень бледный.

— Тоже не спал,— ответил Батурин и улыбнулся.

Она испуганно опустила глаза. Батурин заказал кофе, но Валя даже не притронулась к чашке.

— Я не могу сейчас пить,— сказала она, будто извиняясь.— О Пиррисоне ничего больше не узнала. Тоска у меня, а тут встретился такой человек непонятный. Да, вы, вы — непонятный. Еще хуже стало. Я вас обидела, а вы меня защитили от Стелки. Вы убили бы его, правда?

— Возможно.

— Как вы поедете в Таганрог,— пароходом?

— Да. В два часа. Идет «Феодосия».

Валя деланно засмеялась, густо покраснела.

— Слушайте... вот что... возьмите меня с собой. Я, может быть, вам помогу. Мешать я не буду. Можете совсем меня не замечать. Мне бы только вырваться из Ростова, я себе здесь опротивела. Проживу в Таганроге день-два, а там видно будет.

— Ну что же, едем.

Валя смотрела на Батурина пристально, слегка открыв рот.

— Скажите еще раз.

— Едем. Вы что ж, не верите мне?

— Вот теперь хорошо, без «ну что же». В Таганроге меня никто не знает, вы можете даже ходить со мной. А вчера я бежала. И не потому, что боялась — вдруг привяжется мужчина, а потому, что могли подумать, что вы... вы со мной...

«Странно все это», — подумал Батуриин. У него было явственное ощущение, что жизнь пошла пестрыми зигзагами, он жил эти дни в дыму, как пьяный. Кто она? Таких проституток не бывает. Он путался в догадках. Валя будто поняла.

— Только не спрашивайте меня никогда, как я... Ну, вы сами понимаете. Со зла все это. Злость во мне страшная. Конечно, глупо, может быть, прорвет меня, тогда расскажу.

Они расстались. На пристань пришел Соловейчик. Валя приехала после второго гудка. Когда она взбегала по сходням, капитан переглянулся с толстым помощником и подмигнул. Она вспыхнула, быстро прошла на корму к Батуриину. На глазах ее были слезы.

Соловейчик отвел Батурина в сторону и зашептал:

— Может, вы мне скажете по чистой совести, в чем дело? Ой, товарищ Батуриин, товарищ Батуриин, Соловейчика вы не обманете...

Палуба вздрогнула от третьего гудка, Соловейчик заторопился.

— Ну, как-нибудь в другой раз. Дай бог вам удачи!

Пароход отчалил, застилая реку жирным нефтяным дымом. Соловейчик помахал старой фетровой шляпой и, сгорбившись, побрел домой, — молодое дело кончилось.

В дороге Валя изредка взглядывала на Батурина яркими радостными глазами. Один раз спросила:

— Вам не стыдно со мной?

Они стояли у борта. Пароход шел морем. В иссиня-древнем тумане темнели берега, и в этой густой синеве зарождался вечер. Над Таганрогом была гроза, — розовые зарницы слепыми вспышками освещали воду. Батуриин ничего не ответил, только положил руку на пальцы Вали.

В Таганрог приехали после теплого обильного ливня. Представление о Таганроге было связано у Батурина с Чеховым. Он думал о сереньком городе, пустырях, поваленных заборах, провинции. И, как всегда, ошибся. Так ошибался он постоянно. Еще не было случая, чтобы представление его о чем-нибудь не разбивалось бы вдребезги при столкновении с действительностью. Эта его черта была источником постоянных насмешек для Берга.

Единственный извозчик повез их в город через игрушечный, заросший травой порт. Одуванчики цвели среди гранитных плит, раздавленная колесами полынь наполняла воздух горечью.

Таганрог был затоплен тишиной, почти звенящей, был луст, уютен, изумительно чист. Фонари искрились в воздухе (после ливня в нем был блеск предельной прозрачности). Над морем

загорались звезды; свет их был усталый, они мерцали. Батурин подумал, что звезды теряют много пламени, отражаясь в морях, реках, в каждом людском зрачке.

Из садов сочились запахи цветов, не имеющих имени, никому не знакомых. России не было. Таганрог был перенесен сюда с Эгейских островов, был необычайным смешением Греции, Италии и запорожских степей.

Музейное безмолвие стояло окрест, и даже море не шумело. Воздух был тонок и радовал, как воздух новой страны.

Остановились в гостинице Кумбарули с коричневыми комнатами. На стенах темнели облупленные фрески. Все состояло из красок,—ночь нависла кущами черной сирени, мигали белые зарницы, ртутные капли дождя падали с листьев, лампы зажглись в глубине окон, и комнаты казались сделанными из воска.

Глаза Вали — зеленоватые и яркие — потемнели от возбуждения. Что-то сдержанное, как непрошенные слезы,—восторг, легкий крик — готово было сорваться с ее губ.

Батурин открыл окно и остановился, пораженный безмолвием, чистым, как родниковая вода. Валя тихо подошла сзади. Он слышал ее дыхание, потом обернулся на какой-то странный звук и увидел слезы. Неудержимые, захлестывающие сердце невыносимым счастьем слезы текли по ее щекам из-под прикрытых ресниц. Она схватила его руку, хотела что-то сказать, но не дали слезы. Она только посмотрела на него искоса из-под ладоней — и этот взгляд Батурина так и унес с собою на всю жизнь,—в нем было то, для чего нет слов на человеческом языке.

— Как все внезапно,—промолвил он тихо.

Валя засмеялась и сказала (снова переход, заставший Батурина врасплох), что она очень хочет есть. Она ушла за ширму, переделалась, вышла оттуда бледной, возбужденной, как в Ростове, в саду, легко сбежала по лестнице, распахнула дверь на улицу. Ветер прошумел в акации, рванул ее платье. Тело у нее было совсем девичье — очень тонкое; под платьем обозначались круглые маленькие груди.

В столовой пламенели под потолком начищенные лампы. Греки и шкипера в морских каскетках смотрели на Валу и дружелюбно улыбались. Зубы их блестели, как у негров на этикетках от рома. Один шкипер с серебряной щетиной на худом лице спустился по ступенькам в сад, сорвал вьющиеся белые цветы и положил на стол около Вали.

— Это вашей жене,—сказал он Батурину, улыбнулся и протянул руку.— Нам весело на вас смотреть. Будем знакомы,—моя фамилия Метакса.

Он подсел к столу и рассказал о Таганроге много любопытнейших вещей. После его рассказов Таганрог потерял для Батурина последние черты реальности. Он казался сказочным

городом, освещенным синим пламенем пунша, каким-то выдуманым гриновским Зурбаганом. Он казался солнечным цветником, где старики, поливая грядки, вспоминают стопушечные линейные корабли,— бьет колокол, и все бегут на плоский берег встречать оранжевый гигантский пароход.

Все перепуталось в голове у Батурина. Он выпил вина. Таганрог казался затерянным на острове среди эпох, революций, войн. Патриархальная жизнь цвела медлительно и беззаботно, и совершенно зря в портовых конторах тикали громадные маятники, начищенные до блеска, как медные тазы.

Валя сжала руку Батурина сильными пальцами в тугой перчатке.

— Не смейте мне ничего говорить. Я всех, всех, всех люблю сейчас.

Вечер мягким золотом ламп горел на ее руке. Дым трубок пахнул медом, столетьями скитаний.

Весь вечер они провели в порту со шкипером Метаксой. На молу репейник цеплял за короткое платье Вали, она отрывала его и бросала в море. Черными кругами расцветала вода. Около старой наваринской пушки невнятно шумело море, по словам Метаксы — одно из интереснейших морей.

Оно крепко, по-рыбачьи пахло солью. У мола поскрипывали заспанные шхуны. Бледные фонари на мачтах освещали пустые палубы. Казалось, трюмы этих шхун полны горами сиреневой бьющейся рыбы.

Весь этот пустынный порт, качавший в гаванях маслянистую воду, был закутан в звездное небо.

Валя часто смеялась, потом подолгу молчала, будто прислушиваясь к отдаленным звукам. Она шла рядом с Батуриным, наклоняла голову и всматривалась в его лицо.

Метакса был сдержан, хриловатый его голос звучал со старинной вежливостью. Рассказы его можно было назвать новеллами,— они были кратки, забавны и легки.

Ночь, шхуны, аллеи черной листвы, присутствие старого шкипера, горячая рука Вали внезапно вызвали у Батурина острое ощущение иных эпох, эпох романтизма. Все рассеялось в теплой тьме — и осень в Пушкине, и Берг, и капитан, и дневник Нелидова. Паруса шумели над выскобленными песком палубами. Когда это было? Вчера. Корабли отходили в Колхиду. Жизнь пестрела, как сад. Отвага и смех плескали из души, и цвело, не отцветая, бесконечное лето. Брызги дождя падали на мягкие волосы поэтов.

— Валя,— тихо сказал Батурин.— Я схожу с ума.

— Вот и чудесно!

Батурин испытывал то же, что испытывали некогда измученные странствиями бродячие рыцари, поверившие в девственность Марии. Они целовали, скрежеща ржавыми латами, истлевшие ее покровы, и смешные слезы стекали по их щекам. Слезы

о завоеванных странах, где тяжелые готические розы распускаются под небом Египта и Венера, отдаваясь, так же чиста, как Мария.

Вернулись поздно. В гостинице Валя легла на кровати, Батурич — на продавленном узком диване. Он долго не спал.

«Чудесная девушка», — думал он, глядя на острую звезду. Она переливалась то белым, то синим светом. Тишина стояла за открытым окном и вместе с Батуриным прислушивалась к дыханию Вали.

Б Е Р Г



Берг зашел в украинскую молочную на Ланжероновской. На белых столиках лежали синие отцветы; небо играло на стенах светлой водой. Берг закурил и задумался.

Ветром, зеленью и морем шумело лето. Загар приобрел синеватый тусклый блеск. Зной пылал в окнах греческих домов, и тенора разносчиков оглашали душные дворы:

— Ай грушэ, ай грушэ, ай сладкая абрикоса!

Весь день солнце сжигало берега от Лузановки до Сухого лимана. Стеклянная зыбь ходила холмами, в ней плавали крабы и водоросли. Сельтерская вода со льдом казалась хрустальными прекрасными мирами, освежающими сердце.

Белым и синим горела земля. Белые автобусы, дороги, пески и ресницы сметал световой вихрь синего зноя, волн и синееющих от баклажанов фруктовых лавок.

Каждое утро, выходя на балкон, Берг вдыхал воздух, насыщенный за ночь озоном, и говорил:

— Пахнет жизнью!

Он обдумывал хитрый план. Уже месяц он жил в Одессе, получил два ругательных письма от капитана, но дело не двигалось. Деньги иссякли, — половину их Берг проиграл в «пти шво» на Гаванной; каждый вечер он ел изумительное мороженое у Печесского в «Пале-Рояле». Он наслаждался тишиной этого кафе, разбитого в глухом закоулке, путаницей света и теней, листвою винограда, свисавшей над столиками, воркотней старых официантов.

Жил он у приятеля — вузовца Обручева — маленького и не-

торопливого человечка. У Обручева были твердые и приятные привычки,— круглые сутки окна в его комнате стояли настежь, завтракал и ужинал он в ларьке около Александровского парка кефиром и плюшками, обедал в морской столовой в порту, а все свободное от этих занятий время валялся на пляжах, играл в домино и изучал Марселя Пруста. Но он не был лодырем,— не надо забывать, что стремительно надвигалось одесское лето — сверкание, зной, чудесный загар и теплый свет, в который город был погружен, как в золотую воду.

Берг обдумывал свой план. По привычке людей пишущих, он не мог думать, не изображая графически некоторых этапов своей мысли. На мраморном столике, казавшемся выточенным из сахара, он набросал карандашом план одесской бухты, отметил крестиками самые людные пляжи и пересчитал их: Лузановка, Австрийский пляж, Ланжерон (Берг подумал и вычеркнул его,— плохое дно, пляж для мальчишек, там вряд ли что-нибудь найдешь), Аркадия, дача Ковалевского, Люстдорф. Получилось пять пляжей. Берг помножил пять на пять, приписал сбоку «25 дней», вытащил измятую открытку и написал капитану:

«Через 25 дней я сообщу окончательный ответ,— есть ли здесь Пиррисон и Нелидова, а если нет, то были ли, когда и куда уехали. Вы будете вознаграждены за месячное ваше бешенство. Почему вы так пристали ко мне,— гораздо больше шансов, что найдет их Батурин, а не мы с вами (Берг написал это в пику капитану). Сейчас я провожу в жизнь гениальный план. Думаю, он даст результаты».

Берг посвистел немного (это было признаком высшего удовольствия,— он тихо посвистывал даже в кино и на докладах, если фильм или слова докладчика ему нравились) и пошел к Обручеву. Застал он его, как всегда, за чтением Марселя Пруста.

— Обручев,— сказал Берг веско,— бросьте Пруста, есть интересное дело.

Он рассказал о цели своего пребывания в Одессе, но это не произвело на Обручева большого впечатления. План Берга был прост, но не гениален. Он как бы вращался по окружности около цели, не давая никакой уверенности, что сделано все возможное. Но он был приятен, и Обручев с ним согласился.

План был таков: если Пиррисон и Нелидова в Одессе, то совершенно ясно (это была основная неправильность плана), что они бывают на море, потому что, кроме стариков и старух, вся Одесса бывает на море. У каждого есть свой излюбленный пляж. Главных пляжей пять. На каждом из них надо провести по пять дней и изучить публику. По мелким пляжам достаточно пройти в разгар купаний,— во время «первого» (до обеда) и «второго» (после обеда) солнца. Вот и все.

— Начнем с востока,— предложил Обручев,— с Лузановки. Завтра едем туда на катере.

Берг потом очень скупой рассказывал о своих одесских поисках, но на основании его записей в тоненькой синей тетради можно восстановить примерно следующую последовательность событий.

Лузановка. Белая Аравия, песок, оазисы колючей травы. За два часа запекаешься, как рак. Не хватает борного вазелина, чтобы смазывать кожу. Берега желтые, море подымается в глазах, будто его вздувает изнутри упрямый ветер. Вдали — белый, вскипающий город. Волны шумят, как у Пушкина, — призывно и долго. Ни клочка тени. Временами кажется, что волосы от этого синего огня пахнут паленым.

Когда Берг с Обручевым доигрывали в домино пятую партию на бутылку солодового квасу, Берг увидел высокого человека, надувавшего ртом автомобильную покрышку. Он был сизый и страшный, — покрышка медленно расползлась, полнела, обращалась в твердый круг. Человек быстро отнял рот, шина свистнула, он зажал отверстие пальцем и яростно его завинтил.

— Ловко, Виталий! — крикнул ему Обручев.

— Кто это?

— Помреж с кинофабрики. Знакомый.

— Будет дело. — Берг смешал костяшки домино. — Идем!

Они подошли к помрежу. Он лежал в изнеможении, ребра его вздымались, создавая неприятное впечатление близости под этой тонкой кожей громадного скелета. Помреж показал на шину.

— Пользуйтесь. Выдерживает шесть пудов.

Берг завел с ним разговор о киноартистах.

— Мелкие людишки, вечно грызутся, — сказал помреж.

— У тебя нет там на кинофабрике артистки Нелидовой? — спросил Обручев.

Помреж поморщился, подумал.

— Черт ее знает! Мабугь була, — он изредка вставлял украинские слова — Была такая, кажется, Нелидова, а может, и не было... не ручаюсь. Да ты пойдешь к Павлу Ивановичу, она у него сидит в сумасшедшем доме на Слободке-Романовке. Помешалась.

— А на какой почве?

— Про почву я не знаю. Во время съемки бросилась на оператора, кричит: «Я не хочу быть пророчицей». Она ведьму играла. «Пророчицы, кричит, все безобразные, страшные, а я молодая!» Схватила его за горло, насилие оторвали.

— Слушай, Виталий, — попросил Обручев. — Познакомь вот его со своими артистами. Он, понимаешь, писатель, ему это нужно.

— А-а, писатель, — помреж повернулся и оглядел Берга. — Ну что ж, приходите завтра на Австрийский пляж ко второму солнцу, они все там толкуются. Приду, познакомлю. Только вряд ли от них чего-нибудь услышите, — народ без всякой квалификации, случайный.

Помреж пошел в воду, волоча за собой шину. Он далеко швырнул ее; отлогая волна длинным пламенем отразила солнце. В пламени этом звенели восторженные вопли детей,— волна щекотала им пятки. Солнце обрушивалось на пляж тяжким водопадом жары и веселья.

— Пока хватит,— сказал Берг, когда они с Обручевым вышли из воды и обсыхали на солнце,— а вечером двинем в Слободку-Романовку.

Вечером с юга стеной поднялась туча. В акациях прошумел ветер, и пушечным ударом прокатился над морем гром. Он прошел от горизонта до горизонта, тяжелый и низкий, пригибая головы к земле. В море было темно, желтели огни парохода, входившего в порт, пыль порошила глаза.

«Страшно на море»,— подумал Берг и поежился. Он ехал с Обручевым в трамвае на Слободку. Страшно было не только на море, но и в городе. На него, дымясь, медленно опускалось разъяренное небо. Желтый свет, густо смешанный с сумерками и шумом листвы, отражался в поспешно захлопнутых окнах.

В Слободку успели попасть до дождя.

В больничном саду шли, натыкаясь в темноте на скамейки, к одинокому дому с закрытыми ставнями. Казалось, что уже глухая ночь, и Берг заколебался:

— Не двинуть ли обратно?

— Что вы. Да он не спит до трех часов ночи.

Доктор был плотен, высок, в его пенсне отражались маленькие электрические лампочки, розовый абажур, вытянутое лицо Берга.

К рассказу Берга о Нелидовой он отнесся иронически. Берга он знал по его двум книгам, сам написал брошюру о психоанализе творческого процесса, поэтому настойчивые расспросы Берга о больной киноартистке его не удивили. Он даже предложил пройти к больной,— было еще рано, семь часов,— больные не спали.

— Только одно условие,— предупредил доктор,— не задавайте ей никаких вопросов.

Берг кивнул.

Снова шли через сад, слепая молния ударяла в пыльную путаницу оград и черепичных крыш, и Берг был не рад, что затеял эту историю. Ему казалось, что доктор втайне сердится на непрошеное вторжение и только из уважения к литературе (о нем он упомянул в разговоре несколько раз) ведет его к больной.

Больная встретила доктора шипением, потом зловеще прокричала, как птица:

— Кви-кви! Кви-кви!

Берг смотрел на нее и тщетно старался отгадать знакомые по фотографии черты. Было что-то до очевидности похожее в общем пятне лица, но каждая отдельная черта была суха

и говорила о преждевременной дряхлости. Вблизи это была старуха.

— Сколько ей лет? — тихо спросил Берг.

— Кви-кви! Кви-кви! — жалобно крикнула больная.

За стеклами торопливо и нестройно забарабанили капли дождя. Ставни были закрыты. Это вызывало впечатление тяжелой духоты.

— Двадцать пять.

— Как ее фамилия?

— Левшина.

Но Берг не слышал ответа врача, — он чувствовал легкое головокружение. Из путаницы настойчивых мыслей наконец родилась одна — здесь есть какие-то нити!

— Не-ли-дова! — раздельно позвал он, глядя в пустые глаза больной.

— Что вы делаете!

Берг отмахнулся, — тише!

— Верните! — закричала больная и упала на колени около кровати. Голова ее жалко колотилась о матрас. Она закусила одеяло и рвала его, как рвут щенки, играя, грязную тряпку.

— Я не хочу играть пророчиц! Верните мне девочку!

Она хрипло зарыдала.

Доктор стиснул Берга за локоть и вывел в коридор.

— Идите сейчас же ко мне!

Берг, спотыкаясь, вышел в сад. Обручев взял его за руку и повел в темноте, — Берг был близорук. Накрапывал редкий дождь.

— Ну, что ж вы молчите? — спросил Обручев.

— Несомненно, — пробормотал Берг, — здесь что-то есть. Если не для поисков, то для рассказа. Тема, понимаете. Надо использовать тему.

— Вы — вивисектор!

Ударил молния. В глазах Обручева она сверкнула гневной вспышкой.

В квартире доктора стоял розовый свет, сухой лоск паркета.

Берг закурил. Он, казалось, оглох; глаза его рассеянно бегали по стенам.

— Да... — бормотал он. — Конечно... Да, конечно... Это так... Занятно, очень занятно...

Пришел доктор.

— Ну, милый мой, — сказал он, — слава богу, ее успокоили. Никогда не делайте таких вещей. Вы не понимаете, как серьезно.

— Да, да... простите. Но почему на нее так действует эта фамилия?

Доктор помял в руке папиросу.

— Конечно, тут совпадение. Прежде всего она не настоящая киноартистка. Она недавно приехала в Одессу к брату, поступила на кинофабрику ради заработка. У нее очень фотогеничное

лицо, ее взяли. Но дело не в этом. Она разошлась в Москве с мужем,— его фамилия Нелидов. Девичья же ее фамилия Левшина. Здесь был ее муж, он студент-химик. Человек крайне необщительный, молчаливый. Многого, конечно, нельзя выяснить. В конце концов я дознаюсь, в чем дело. Ходит к ней еще ее брат, он бывает третьим помощником на «Перекопе». С ним мне надо будет потолковать. А вы, я вижу,— доктор посмотрел на Берга,— порядочный путаник.

Когда вышли от доктора, дождь прошел, и земля шуршала, впитывая воду. Крайняя ночь была безветренна, с огородов пахло зеленым. Подошел прямо из степи пустой вагон трамвая.

На следующий день на Австрийском пляже Берг вел себя странно,— помреж даже обиделся. Он не обратил никакого внимания на киноартистов, лишь мельком пробежал по ним взглядом и углубился в домино. Он путал, проигрывал и часто ходил к ларьку покупать «за проигрыш» пшенку, квас и папиросы. У стойки была толчея. Берг вздрагивал, когда холодное тело соседа или соседки в мокром купальном костюме прикосалось к нему, и с легкой досадой уступал место. Только к вечеру он нарушил молчание и спросил Обручева:

— Как вы сказали вчера,— вивисектор?

— Вот именно.

— Ага,— пробормотал удовлетворенно Берг.

Два следующих дня шел дождь, было тепло и пасмурно, и в плане поисков произошла заминка: на пляжах не было ни души. Берг пропал в городе, узнавал, обдумывал, был довольно рассеян. Ночью он плохо спал,— мешал Обручев, читавший до рассвета Марсея Пруста.

На вторую ночь Берг окликнул Обручева:

— Здесь очевидное недоразумение. Мы пошли по ложному следу. Но это дело я доведу до конца.

— Какое дело?

— С больной. Я был у доктора. Он говорит, что болезнь излечима. Это не сумасшествие, а нервное расстройство. Надо устранить причину.

— А вы ее знаете?

— Кое-что знаю.

— Зачем вы путаетесь в эту историю?

— Много свободного времени.

— Хорошее основание, чтобы лезть в чужие дела.— Обручев сердито зашелестел страницами.

Берг рассказал Обручеву, что разыскал младшего помощника Левшина и успел даже сдружиться с ним. Левшин был коренастый и черный человек, ругатель и не дурак выпить. Угрюмостью он прикрывал застенчивость. Знакомство с Левшиным было выполнено просто,— Берг пришел на «Перекоп» в качестве сотрудника морской московской газеты «Вахта», показал удостоверение, взял беседу о последнем рейсе в Александрию, с па-

рохода пошел с Левшиным в бар, выпили пива, потом зашли в рулетку и сыграли в «пти шво».

— Завтра, если хотите, пойдем в «Уголок моряка», там у меня назначена встреча с Левшиным,— предложил Берг.

— Ну ладно,— неохотно согласился Обручев.

В «Уголке моряка» курили, но воздух был чистый, морской. Дым медленно выползал в окна,— с улицы могло показаться, что в «Уголке» начался тихий табачный пожар. Левшин сидел за столиком с седоусым сердитым человечком в потертом кителе. Берг поморщился,— дело затягивалось.

— Капитан Кузнецов,— представил старика Левшин.

Старичок сунул каждому крепкую лапку. Несмотря на сердитость свою, он был словоохотлив.

— Вы не комсомолец? — спросил он Берга.

— Нет, вышел из этого возраста.

— Боюсь комсомольцев.

Левшин захохотал, поперхнулся кофе.

— Один комсомолец меня до того довел,— видеть их не могу. И фамилия у него, знаете, такая противная — Бузенко. Он юнгой у меня плавал на «Виктории». Изволили, должно быть, видеть — паровая шаланда. Мачты в гнездах качаются, на ходу играет, течет,— одно счастье, что машины работают. Я на «Виктории» пять лет плавал, теперь вот в отставке.

В двадцатом году мы в Евпатории грузили казенную соль. Днем грузили для государства, ночью — для себя. Полный форпик солью набили. То время, знаете, какое было, идешь в рейс, а тебе дают в паек дюжину пуговиц и коробку синьки — вот и вертись! Погрузили, пошли. В Севастополе, вижу, Бузенко мой подался скоренько в город. Ну, думаю, наведет фараонов, гадюка. Что сделаешь, соль в воду не выкинешь. Смотрю,— идет, холера, а за ним особисты со шпайерами. Привел.

«Вот, говорит, они (это я, значит) совместно с командой воруют народную соль. В форпик пудов пятьдесят наклали».

«Веди, говорят, показывай». Веду, а у самого ноги дрожат. Открываю форпик — и что же вы думаете,— пусто!

Кузнецов вытаращил табачные глазки, захохотал и развел руками.

— Пусто! По полу только соленая жижица плавает. А в борту у пола дыра в фут диаметром. Она, знаете, «Виктория» моя, проржавела, якорь, сбоку висел, в дороге прихватила свежая погода,— якорь мотался, мотался и пробил эту самую дыру. Соль всю начисто смыло. И жалко, и рад.

«Вот, говорю, какой ты, Бузенко, подлюга, на товарищей и на своего командира ложно донес!»

Ушли особисты, а Бузенко говорит: «Вы разоряйтесь не очень сильно, потому я комсомолец». Но, однако, притих.

Решил я его сплавить. Только как? Ядовитый народ и опасный. Идем мы в Мариуполь. Штормуем. Смотрим — в проливе

треплется дубок, на полмачты поднят стул, — это у них, пацанов, вместо флага, обозначает сигнал бедствия. Подходим. Они, дураки, наклали полную палубу мешков с ячменем, — их, естественно, заливаает. А у меня команда — бандиты. Мои ребята кричат: «Даешь половину ячки, тогда будем спасать!» Те кричат: «Даешь, растудыть вас в три господ!»

Взяли их на буксир, поволокли. Погода к вечеру стихла, — в море половину мешков и перегрузили. А Бузенко я послал на дубок: иди, говорю, будь там вместо шкипера, следи за порядком.

Под Мариуполем дубок отпустили, — уж очень они взмолились, — им в Ахтары было надо. Перед тем составили акт, заставили шкипера подписать. В акте указано, что особое геройство при спасении гибнущего дубка выказал юнга Бузенко. В Мариуполе я акт — в управление порта, копию — в союз, при акте бумагу. В ней пишу: «Ввиду особого геройства Бузенко и выдающихся заслуг ходатайствую о назначении его матросом на пассажирский пароход Крымско-Кавказской линии».

Повеселели все. Ясно — уберут Бузенко. У нас героев любят. Проходит три дня, — на четвертый бежит ко мне Бузенко, рожа как самовар. «Отличили, говорит, Петр Егорыч». Я даже перекрестился. «Куда ж тебя теперь?» А он, понимаете, вынимает часы и кидает на стол. А на часах выгравировано: «Юнге Бузенко от Мариупольского районного комитета водников за спасение погибающих».

Тьфу! Будь ты проклят. Остался.

Но я жду случая. Идем в Одессу, прошли уже Большой маяк, вдруг слышу — Бузенко ревет на палубе: «Мина с правого борта». Я даже вспотел, выскочил на мостик. Стали удирать. Действительно, близко плывет какая-то штуковина. Посмотрел в бинокль — бревно! Но я молчу, — пусть их думают, что мина. Пришли в Одессу. Я моментально рапорт начальнику порта и копию в союз. «Доношу, мол, что лишь благодаря исключительной бдительности матроса Бузенко (он у меня матросом уже заделался) было избегнуто столкновение с миной и гибель судна. Ходатайствую о переводе Бузенко, ввиду выдающихся заслуг, матросом первой статьи на пассажирский пароход Крымско-Кавказской линии».

Ждем. Теперь уже уберут, никто не сомневается.

Проходит так дня четыре, вижу — бежит Бузенко, рожа как самовар, кричит: «Везет мне, Петр Егорыч!» Вытаскивает из кармана бумагу — назначение — и дает мне. Читаю... и что бы вы думали (Кузнецов всплеснул руками), в бумаге написано: «Ввиду заслуг и, одним словом, прочей хреновины, матрос Бузенко назначается профуполномоченным Черноморского союза водников на судне «Виктория». Я даже плюнул. «Ну, говорю, и зануда же ты, Бузенко, везет тебе, как сукиному сыну!»

И вот, представьте, потом до конца с ним плавал — и ничего. Ругались только помаленьку.

Кузнецов пытался начать новую историю, но Левшин прервал его:

— Погоди, Петр Егорыч, оставь до следующего раза. Всего не перескажешь.

Кузнецов занялся Обручевым. Рассказал, что жить на пенсию трудно, приходится подрабатывать — делать модели паровозов, яхт, крейсеров и сдавать на комиссию в игрушечный магазин. Левшин говорил тихо Бергу:

— Вы уверены, что это излечимо? Она мне сестра только по матери. История, знаете, тяжелая. В девятнадцатом году у нее родилась дочка. Время было корявое — ни молока, ни хлеба, а ребенок первый. Отец бился как рыба об лед, он корректором служил в типографии в Москве, но толку было мало. У сестры не хватает молока, девочка вот-вот умрет. Была у сестры знакомая, бывшая генеральша. На Смоленском торговала простынями, бельем, — вообще барахольщица. Сестра пошла к ней, просит, — найдите мне хоть какой-нибудь заработок, я готова на улицу идти. Старуха нашла, — правда, предупредила, что работа рискованная: скупать золото и ценности для заграницы. Познакомила ее с каким-то бывшим адвокатом. Адвокат этот был вроде поверенного у американской шайки.

Берг придвинулся.

— Ну вот. От мужа она скрыла. Говорила, что торгует на базаре, берет на комиссию вещи. Девочка выжила. Время пошло другое, стало легче. Так вот и тянулось до прошлой зимы. А зимой адвокат попался на темном деле, его потянули, а за ним и всех. И сестру притянули. Муж узнал. Он человек неприятный, крутой. Очень принципиальный человек. Даже дочку в суд водил. Еще до суда подал в загс заявление о разводе, девочку оставил себе. Я с ним говорил. «Ну что ж, — это его слова мне, — Нинка должна забыть свою мать». Сестру он уже не любил. Знаете — химик, химическая душа. Сестру, конечно, оправдали, приговорили к общественному порицанию. В предварительном заключении она просидела два месяца. Что было у них — не знаю. Он ее в дом не пустил. Потом вот приехал в Одессу, женился на другой, получил место на заводе. Сестра приехала следом за ним, жила у меня, убивалась из-за девочки, даже хотела ее украсть. Насчет кино вы знаете?

— Да, знаю. Когда вы уходите в рейс?

— Недельки через три.

— А как девочка, помнит ее?

Вопросы Берга были бессвязны. Левшин бубнил, глядя под стол, разговор его, видимо, мучил.

— Девочке шесть лет. Конечно, помнит. Очень грустная девочка. Жалко ее, знаете...

Левшин поморгал глазами, отвернулся.

— Не сердитесь на меня, — сказал Берг. — Я лезу не в свое дело, но понимаю.., нехорошо все это. Неужели так все и останется?

Левшин молчал, сгорбившись.

— Я бы взял,— сказал он тихо,— да ведь я плаваю. Не на кого ее оставить.

— А он отдаст?

— По суду отдаст.

— Тогда будем судиться.

Обручев оглянулся.

— Тогда будем судиться,— повторил Берг.— Сегодня я поеду к доктору. Надо узнать все точно и действовать.

Вечером Берг поехал к доктору. Он узнал, что больной лучше. Спокойно, даже небрежно он передал доктору свой разговор с Левшиным.

— Она сейчас почти нормальна,— сказал доктор, раздумывая,— может быть... знаете, сильное средство, но оно может оказаться спасением. Вы беретесь привезти девочку?

— Я берусь вернуть ее совершенно.

Доктор был смущен. Он ходил по комнате, мычал. Казалось, он не верил. Потом согласился:

— Ну ладно, действуйте. Благословляю. Страшновато, но хуже не будет.

На следующий день Берг поехал с Обручевым для очистки совести на Аркадийский пляж. Лежа на горячем песке, Обручев сказал:

— Вы закрутили сложную махинацию. В чем дело?

— Маленькая вивисекция. Тема,— глаза Берга потемнели от гнева,— тема для сентиментального рассказа, господин Марсель Пруст.

— Что с вами?

— Ничего. Как вы думаете, вивисекция существует для блага человечества?

— Пожалуй.

— А ваша аккуратная гуманность?

Обручев пожал плечами.

— Не будем ссориться.

Но Берг не унимался.

— Гуманист,— сказал он насмешливо.— Вы не замечаете человеческих страданий потому, что это, видите ли, не деликатно. В какой-то глупой книжке я прочел рассуждение о высшей деликатности. Примерно там сказано так. В комнату, где сидят несколько человек, входит женщина. Глаза ее заплаканы. Деликатные люди делают вид, что не замечают этого. Но человек деликатный в высшей степени должен уступить ей место спиной к свету, чтобы ее заплаканные глаза не были даже заметны. А грубиян и вивисектор постарается узнать и устранить причину ее слез.

Обручев поморщился.

— Вы раздражены, перегрелись на солнце. Пойдем лучше в воду.

Раздражение Берга быстро прошло. Обратнo они шли по Французскому бульвару. Берег вдаль обрывался; над ним дрожала синеватым угаром жара.

— Я могу быть добрым только назло,— говорил Берг, к великой радости Обручева.

Мысли его о Берге блестяще подтверждались. Берг хитро улыбался. Его не оставляла уверенность, что все удастся как нельзя лучше. Эта уверенность много раз выручала его из запутанных положений и вызывала необычайное раздражение у людей, настроенных пессимистически.

Суд состоялся через неделю. В засаленной комнате было уныло, и все краски, казалось, погасли. Здесь, в суде, особенно болезненно ощущались яркость и шум жизнерадостных улиц.

Нелидов — высокий, белокурый и злой — сидел на скамье и читал газету. Его голова в кудряшках, тонкие губы, ноги в коричневых крагах были не нужны здесь, на юге, в кружащемся потоке белых одежд, ярких губ, веселого гомона.

Судьи вышли торопливо. Один из них был с костью. Председатель пробормотал, заикаясь и как бы засыпая в конце каждой фразы, заявление Левшина. Он подозвал единственного свидетеля, доктора Павла Ивановича, и, глядя поверх его головы, произнес скороговоркой:

— Свидетель, вы предупреждаетесь, в случае ложных показаний — будете отвечать закону. Выйдите из зала.

Начало не сулило ничего хорошего. Девочку судья называл «гражданка Нина Нелидова», листал дело с нескрываемой досадой. Очевидно, всех в мире он считал сутягами и не мог понять, во имя чего капитан требует отдать ему девочку, зачем ему это нужно и зачем в это дело запутался известный общественник врач.

В мозгу судьи, по догадкам Берга, не существовали такие слова, как «любовь», «материнство», «страдание»; вместо них бродили серые, как крысы, слова: «иждивение», «вменяемость», «половое влечение», «расторжение брака» и «уплата алиментов».

Есть слова, высосанные протоколистами вместе с никотином из обмякших папирос. Они способны вызвать рвоту. Голос закона (в детстве Берг представлял закон в виде белесого мужчины с пустыми глазами, коротким ежиком и сухими и холодными пальцами) скрежетал в этих словах потрясающим пренебрежением к живой душе человеческой.

Судья опросил Левшина, хмуро посмотрел на его белый китель. Хромой заседатель спросил дребезжащим голосом, не плавал ли Левшин на «Констанции», и на ответ, что плавал, ядовито улыбнулся и сказал значительно: «Я не имею больше вопросов». Левшин вспотел, с медного и открытого его лица стекал пот.

Нелидов отвечал сухо и брезгливо, сказал, что если «суд уверен в излечении больной путем возвращения ей дочери Нины

и вправе решать этот чисто медицинский вопрос, то он приговору подчинится».

«Глупо»,— подумал Берг, а судья резко сказал:

— Говорите короче, а прав суда прошу не касаться.

Нелидов пожал плечами и сел. Вызвали Павла Ивановича. Он говорил уверенно, назвал судью «товарищ Орешкин»,— ему часто приходилось выступать экспертом. Судья слушал недоверчиво. После того как Павел Иванович кончил свою речь утверждением, что больная может выздороветь, если будет устранена причина болезни, то есть если ей вернут ребенка, судья, рисовавший на папке, поднял глаза и раздраженно спросил:

— Суд вас спрашивает, выздоровеет ли больная в случае возврата ей ребенка или нет? Отвечайте точно.

Павел Иванович развел руками и мягко повторил:

— Да, я думаю, что она выздоровеет.

Суд удалился на совещание. Левшин вытер пот и сказал Бергу:

— Черт их поймет. По-моему, они не разобрались, в чем дело.

Вышли курить на лестницу. На лестнице чистенькая старушка-пенсионерка говорила милиционеру:

— Сколько я страданий приняла — и японскую, и германскую, и немецкую войну, и убийства, и с голоду дохла — так ты вправе меня выселять? А еще интеллигентный молодой человек. Из-за такого, как ты, моя дочка погибла. Старалась для вас, заразилась от солдата венерической болезнью, а меня выселять...— Старушка собралась плакать.

Милиционер угрюмо молчал.

Суд совещался минут десять. Наконец суд появился. Председатель, глотая от спешки слова, прочел приговор:

— «Принимая во внимание такие-то, такие-то и такие-то обстоятельства, суд постановил изъять гражданку Нину Нелидову, шести лет, ввиду согласия отца, и передать на воспитание матери, гражданке Елене Сергеевне Левшиной, обусловливая эту передачу ее предварительным и полным выздоровлением, впредь до чего опекуном и воспитателем назначить дядю упомянутой Нины Нелидовой — гражданина Левшина Петра Сергеевича, тридцати восьми лет, третьего помощника на пароходе «Перекоп», каковой гражданин Левшин обязуется дать гражданке Нине Нелидовой трудовое воспитание и отказывается от получения алиментов, с чем, однако, суд согласиться не может, а потому постановляет взыскивать с гражданина Нелидова на содержание дочери по сорок рублей в месяц до наступления совершеннолетия вышеупомянутой».

— Все,— сказал председатель.— Стороны, подпишитесь. Копию приговора получите в канцелярии.

Левшин отошел с Нелидовым в сторону. Левшин был красен

и взволнован. Нелидов глядел через его плечо, потом холодно посмотрел в рот Левшина и громко сказал:

— Когда хотите. Чем раньше, тем лучше. Моя жена не имеет времени с ней возиться.

Он повернулся и вышел.

— Ну, гусь,— сказал, прощаясь, доктор.— Я жду вас завтра. Она почти здорова.

Берг и Левшин были озабочены смешной для взрослых мужчин и сложной задачей,— устроить Нинку у Левшина. Левшин купил провизии, молока, фруктов, куклу (он так краснел, когда ее выбирал, что, казалось, кровь брызнет из пор; он чувствовал себя, как молодой отец).

Жил он в Лермонтовском переулке, в Отраде. У соседа Левшин занял походную кровать для Берга,— было решено, что Берг у него переночует.

К вечеру Левшин поехал за Ниной. В темной передней Нина бросилась к нему, крепко обхватила за ноги и спрятала голову в коленях. Ей уже сказали, что она два месяца погостит у дяди Пети и даже поедет с ним на пароходе на Кавказ. Левшин впервые в жизни заплакал, стыдясь своих слез. Он неловко гладил головку девочки и отворачивался, сопя и задыхаясь, потом незаметно вытер слезы рукавом кителя.

— Ну, Нинок, поедем.

Нелидов принес корзинку с вещами Нины, потрепал ее по щеке и сказал сурово:

— Ты смотри, приходи иногда с дядей.

Нина отвернулась. Левшин, не глядя, сунул Нелидову руку и вышел на лестницу. По дороге на извозчике девочка болтала, крепко держалась за его рукав. Левшин курил и был опять спокойным любимым дядей с обветренным крепким лицом.

«Все будет прекрасно. Все будет хорошо, ты, крошечная»,— мысленно говорил он Нине.

С Бергом девочка подняла возню, потом пошли на берег смотреть, как рыбаки вытаскивают сети. Берг ловил ей крабов,— рыбаки считают их нечистыми и выбрасывают из сетей. Пыльный закат желтел над глинистыми берегами, и Нинке и Бергу одинаково казалось, что они знают друг друга давным-давно.

Дома девочка быстро уснула. Капитан неумело умыл ее, уже сонную, уложил, даже что-то пошептал над ней.

Потом он долго сидел с Бергом у открытого окна. Звезды пламенели в просветах тяжелой листвы. Соленый воздух лился рекой. Пересыпь висела в ночи роем огненных, взлетевших и остановившихся пчел. Тепло и нежно пробасил в море пароход.

Утром Левшин сказал Нинке, что приехала мама. Девочка долго возилась с куклой, потом заплакала. Берг и Левшин растерялись — Берг отчетливо понял, что он затеял.

«Вдруг все провалится,— подумал он, холодея.— Тогда хоть пулю в лоб».

Мелькнула мысль о бегстве, но Берг прогнал ее. «Крепись», — шептал он себе, глядя на улицу, потом задумал: если трамвай обгонит извозчика до столба, то все пропало, если нет — он спасен. Берг волновался, как на бегах. Трамвай не догнал извозчика, и Берг облегченно вздохнул.

— Нинок, — сказал он спокойно, — поедem сейчас к маме, а по дороге зайдем к одному дедушке-старичку: он делает кораблики. Мы тебе купим кораблик.

Девочка стихла, искоса посмотрела на Берга. Пришел Обручев, мобилизованный на всякий случай. Пошли к Кузнецову, — он жил на Черноморской, в темной комнате с окнами на море. Под притолокой висела клетка с сумрачным инвалидом щеглом. Море в окнах было зеленое и дымное от ветра. Буйная зелень Черноморской шумела и качалась, гоняя по земле тысячи маленьких солнц.

Остовы игрушечных шхун лежали вверх киями на подоконнике и сохли на ветру. Кузнецов в очках, похожий на дряхлого и любимого дедушку, пилил лобзиком фанеру.

— Клипер вот затеял. — Он кивнул на кораблик, стоявший на игрушечных стапелях. — Теперь это, знаете, история, — клиперов уже нет. Последний переделали под плавучий маяк в Таганроге. А в мое время красавцы были клипера, — чай возили вокруг всей Африки в Европу. О Суэцком канале в те времена еще никто не мечтал.

Нинке Кузнецов подарил яхту с громадным парусом. Ореховый лак ее бледно сверкал на солнце.

Нина застенчиво приняла подарок, потом спряталась за Левшина.

На Слободку ехали страшно долго, — так, по крайней мере, показалось Бергу. Доктор потрепал девочку по щеке, отвел Берга в сторону.

— Я ее подготовил. С девочкой пойду я и Левшин. Вы останетесь здесь. Думаю, что сегодня вы увидите маленькое чудо.

Он улыбнулся, но вместо улыбки лицо его сморщилось в нервную гримасу.

Они ушли. Обручев ходил по комнате, вынул из ящика яхту и долго вертел ее в руках. В голове скакали клочки несуразных мыслей: «Сколько она стоит? Да, да, да... значит, так. Полтора рубля и дом на Черноморской номер пятнадцать».

Он повертел яхту, спрятал ее в ящик. Руки его тряслись, он засунул их в карманы. Говорить он не мог: губы дергала судорога. Берг сидел спиной к окну и прислушивался. Обручев обернулся. Берг вздрогнул, уронил папиросу.

— Тише вы, — сказал он с ненавистью. — Не скрипите ботинками!

Берг улыбался так же, как доктор, — криво, болезненно. Улыбка его была похожа на гримасу невыносимой боли.

— Скорей бы.— Обручев почти плакал.— Что они, умерли, что ли!

Берг медленно встал, повернулся к окну, отскочил в глубь комнаты и пробормотал:

— Уже... уже...

В саду раздался крик. Много позже при воспоминании о нем Берг всегда мучительно краснел. Это был крик животной радости. Так кричат раненые, когда у них вынули пулю. За криком последовал чистый мягкий смех, бубнил капитан и тихо, вполголоса, говорил что-то доктор.

Потом женский голос, незнакомый и внятный, сказал в саду, как на сцене:

— Покажите же мне его. Сейчас, непременно.

— Берг,— Обручев задохся,— она выздоровела, видите, Берг.

— Тише,— приглушенно крикнул Берг.— Надо бежать!

Он толкнул Обручева к двери на черный ход. Они выскочили на крыльцо и промчались через сад. Берг перепрыгнул через низкую ограду, поранил руку о колючую проволоку. Они долго бежали по огороду, ломая помидоры, и чей-то голос яростно вопил, казалось, над самой головой:

— Стой, байстрюки, сволочь несчастная! Стой!

Они перелезли через вторую ограду, пробежали пыльным переулком и остановились. Было знойно и пусто. С руки Берга капала черная кровь. Берг туго затянул руку носовым платком.

— Теперь драла! — сказал он, все еще вздрагивая.— Двинем пешком, на трамвае опасно,— мы можем их встретить.

В город шли долго, у всех ларьков пили, отдуваясь, ледяную воду из граненых стаканчиков. Около рыжего, пахнущего керосином, дома на Молдаванке Берг присел на скамейку.

— Отдохнем. Хорошо, что Левшин не знает вашего адреса.

Не заходя домой, они прошли на Австрийский пляж купаться. Когда Обручев вылез из воды, Берг, не глядя на него, пробормотал:

— Я вам покажу вивисекцию. Сопливый гуманист.

Обручев похлопал его по загорелой спине. Из-за рейдового мола, неся перед носом снеговую пену, выходил в море высокий пароход. Ветер косо сносил дым из трубы. Пароход медленно поворачивался и, казалось, зорко вглядывался в шумящие стеклянные дали, куда лежал его путь.

— Завтра двинем на пляж Ковалевского,— сказал Берг.— Все остальные мы уже осмотрели. А потом — в Крым.

Обручев раскрыл Марсея Пруста. Он читал, и строчки сливались в серые полосы. Все, что случилось, было просто, вполне понятно и вместе с тем почти чудесно. Обручев никак не мог примирить этих двух начал. Он поглядывал на Берга и думал, что в его жизни будет много занятых историй. Берг крепко уснул. Наступало «второе» солнце, и сон был безопасен.

На пляж Ковалевского за Большефонтанским маяком поехали через неделю,— Берг сжегся и шесть дней не выходил на солнце, мазался вазелином и стонал. На пляже было желто от глинистых обрывов. Цвел терновник.

По дороге к пляжу в степи росла полынь. На пляже Берг снял белые туфли,— подошвы стали серебристо-зеленого цвета. Он понюхал их:

— Полынь... Бессмертная полынь...

Берг облизал губы, поморщился.

— Даже на губах горечь.

Обручев взялся за неизменного Пруста. Берг достал томик стихов Мариа Эредиа. Стихи он читал редко, только после завершения крупного дела.

Раскрывая томик Эредиа, он сказал:

— Теперь можно побаловаться.

Он лег на спину, читал, перечитывал и вслух повторял каждую строчку. Вдруг остановился, вгляделся в страницу и пробормотал:

— Что за черт!

Он нашел суровые и грустные стихи, начинающиеся словами:

Разрушен древний храм на мысе над обрывом
Перемешала смерть в рудой земле пустынь
Героев бронзовых и мраморных богинь,
Покая славу их в кустарнике дремливом

Он увидел строчку: «Земля, как мать, нежна к забытым божествам» — и вспомнил дневник Нелидова, сияние капитанского примуса и свое купанье в Серебрянке.

Широкий ветер дул на горячие пески и переворачивал твердые страницы.

«Эх, жить бы так целую вечность»,— подумал Берг и вздрогнул от окрика Обручева:

— Ложитесь!

Берг поднял голову.

— Ложитесь, говорю вам. Спрячьте голову! Это она!

Берг перевернулся спиной вверх, положил голову на руки и из-под пальцев посмотрел вдоль берега. Навстречу шла Левшина. Ветер рвал ее платье, она по-детски придерживала его у колен. Ветер обнажал ее ноги, показывал черту черных, туго обхватывающих бедра, трусиков. Ее улыбка, блеск глаз и зубов производили впечатление необычайной молодости. Она казалась подростком. Нинка бежала по краю прибоя. Левшина прошла в двух шагах от Берга и Обручева. Они лежали как мертвые. Левшина сказала:

— Нинок, ты смотри получше. Не пропусти дядю.

Берг затаил дыхание,— в рот ему попал песок. Левшина остановилась шагах в ста и сбросила платье.

— Берг,— сказал Обручев,— не похоже, что это ее дочка.

У нее тело девушки. Она повторяет, мне кажется, ваш гениальный план. Она ищет вас.

— Ну и пусть.— Берг сел спиной к Левшиной и начал поспешно одеваться.— Ну и пусть. Что вы, не понимаете,— надо смываться.

«Смылись» они очень быстро.

Берг отправил «рапорт» капитану о том, что ни Пиррисона, ни Нелидовой в Одессе не обнаружено и что он выезжает в Севастополь.

Уехал он через два дня. Шел «Ильич». На просторных палубах было свежо и чисто, в проходах дул сквозной приятный ветер, а на молу лежал чудовищный зной и пахло серой. Обручев не выдержал и сбежал.

Берг насвистывал и бродил по пароходу среди чемоданов, детей, собак, возбужденных женщин, крика, грома лебедек. Берег ушел гигантской стаей машущих крыльями чаек,— провозжающие махали шляпами и платками.

Прошли ржавые от зноя берега Фонтана, пляж Ковалевского, и пароход, тяжело чертя по горизонту бугшпритом, повернул в открытое море.

У Берга защемило сердце, и он подумал, что уезжать сейчас из Одессы, пожалуй, не стоило.

— Бегу от судьбы,— пробормотал он и пошел в кают-компанию с видом человека, проплававшего по морям всю жизнь.

Берега Одессы опускались в густое море, в древнюю мглу. Шум волн, казалось, старался загладить в памяти одесские дни.

— Да, много было солнца,— сказал вслух Берг и вздохнул.

Официант покосился и поставил перед ним стакан крепчайшего красного чая с кружком бледно-золотого лимона.

КИТАЕЦ-ПРАЧКА



Таганроге Батурин прожил неделю. Никаких следов Пиррисона и Нелидовой он не нашел и решил ехать в Бердянск. Решение это стоило двух бессонных ночей,— он думал о Вале, и опять пришла к нему пронзительная жалость. Он не находил себе места.

Валя была молчалива. Она догадывалась, что Батурин решил уехать, но ничего не спрашивала, только плакала по ночам.

Все это было тем тяжелее для Батурина, что она ни слова не сказала ему о любви,— всю неделю Батурин прожил с ней, как с давно потерянным другом.

Вечером накануне отъезда Валя ушла, ничего не сказав, и вернулась около полуночи. Электричество в номере не горело. Батурин сидел при свече и писал письмо капитану.

Валя остановилась в темных дверях. Батурин слышал ее отрывистое дыхание и внезапно, еще не видя ее, понял, что несчастье вошло вместе с ней в пустую и черную комнату. Это ощущение непоправимой беды было так остро, что Батурин боялся оглянуться.

— Валя! — позвал он тихо.

Она молчала.

— Валя, вы?

Она молчала. Электрическая лампочка медленно налилась мертвым светом. Батурин оглянулся и встал.

Так они стояли несколько минут. Валя была бледна, яркие пятна на ее щеках казались трупными, глаза были полузакрыты.

— Я,— хрипло сказала она.— Не разговаривайте со мной, иначе я буду кричать.

Она, шатаясь, подошла к кровати, упала на нее ничком и затихла.

Батурин потушил свет, сел на подоконник и просидел несколько часов. Ему было холодно. Неуютно и сурово гудело море. Стараясь не шуметь, он закурил,— спичка осветила пустую комнату, раскрытый чемодан на полу, вздрагивающую спину Вали. Валя села на кровати, поправила волосы.

— Ну вот,— она вздохнула с деланным облегчением,— все и прошло. Завтра провожу вас и поеду в Ростов.

— Поезжайте со мной.

— Нет уж, спасибо.— Она помолчала и тихо добавила: — Зачем?

Батурин ничего не ответил.

— Зачем? — повторила громче Валя.— Да вы не бойтесь, я опять кокаину нанюхалась. Уже все прошло.

— Я вижу,— сказал Батурин. Ему хотелось сказать ей, что впереди — горькая, но прекрасная и переменившая жизнь, моря, встречи, снежные зимы, тепло человеческих душ, но он сдержал свой порыв и вслух оценил свои мысли:

— Все это — сангименты!

Он не видел, как Валя сжалась, будто ее ударили по щеке, и покраснела до слез.

— Да,— ответила она глухо.— Конечно, не стоит... А теперь ложитесь,— светает.

Батурин лег. Он долго не мог согреться. Шум утра раздражал его и прерывал короткие сны.

На следующий вечер он уезжал. Ветер обрушился на город. Он дул неизвестно откуда,— казалось, со всех сторон,— хлопал

ставнями, пылил, свинцовыми полосами гулял по морю. К вечеру он усилился. Фонари мигали, но не светили. У мола скрипел на тросах блещущий черной краской пароход «Феодосия».

Город, степи, вся жизнь тонули в этом рвущем дыханье ветряном водопаде.

На пристани Валя, прощаясь, поцеловала Батурина. В этом первом ее поцелуе были горечь и слезы, Батурина ощутил на губах соленый привкус. Он сжал ее руки, но Валя быстро сказала:

— Идите!

С палубы он смотрел на нее, мертвая улыбка кривила его губы. Валя подошла к краю пристани. Ветер трепал черными порывами ее платье. Рядом с Батуриным стоял китаец, шуря впадины дряхлых тысячелетних глаз. Он смотрел то на Валу, то на Батурина, почесывая поясницу.

Когда пароход отвалил, яростно свистя паром, Валя подняла руку и что-то крикнула. Батурина не расслышал. Огонь фонаря пробежал по ее лицу,— глаза ее были полны слез. Она быстро подошла к корме парохода и опять что-то крикнула, но Батурина снова не расслышал. В ответ он только махнул рукой.

Черная пристань с двумя желтыми фонарями, шумя, отодвинулась назад. Сбоку, со стороны моря, ударил ветер, понес сипение пара, крики, шум волн, бивших о мол.

«Кончено!» — подумал Батурина и сел на корме за рубкой.

Рядом на скамейке сидел китаец. На его лайковое лицо светила тусклая лампочка со спардека. Скрипели рулевые цепи, и гулко дышала машина. Звезды пересыпались белыми зернами. Волны с тихим шумом шли с запада и уходили прочь, к Таганрогу, будто спешили на штурм отдаленной крепости.

Китаец перекинулся с Батуриным несколькими словами. Он держал в Бердянске прачечную; звали его Ли Ван; родом он был из Фучжоу.

В Мариуполь пришли ранним утром. На море лег дымный синеватый штиль. Ослепительно хохотали рыбачки,— они тащили в корзинах колючую рыбу. Батурина во время стоянки парохода ходил на базар, заваленный помидорами. Море накатывалось на сухую, розовую поутру степь. Серые волны стояли на берегу; их глаза были синие и влажные, как море.

В Мариуполе Батурина не останавливался. Следы Пиррисона, по словам Вали, могли быть только в Бердянске и Керчи.

Он сошел в Бердянске вместе с Ли Ваном. На пароходе Ли Ван был немногословен. Он спал или ел копченую кефаль, облизывая детские коричневые пальцы. Иногда он смотрел за борт и пел унылые песни.

Бердянский был крепко высушен солнцем. На набережной хрустел сухой чертополох. Листва акаций уже желтела (хотя был только июнь). Рыжие кошки спали на тротуарах. Пустынь и сухость этих мест пришлись по душе Батурина.

«Тут я застряну»,— решил он, забыв о гневных капитанских письмах. Надо было собраться с мыслями. Он чувствовал себя как человек, ошибившийся поездом, едущий совсем не туда, куда надо. Он решил подольше остановиться в Бердянске, на рубеже Азовского моря. Он цеплялся за этот город, как будто дальше была пропасть.

По совету Ли Вана он снял комнату у вдовы-матроски Игнатовны, ходившей на поденщину к грекам. Ли Ван принял Батурина за коммивояжера, то же думала и старуха Игнатовна.

Несколько дней Батурина провалялся на маленьком каменистом пляже. Он загорал, курил, не хотел ни читать, ни думать. Мягкое оцепенение сковывало тело. Было такое состояние, как после сыпного тифа,— хотелось пустынности, дней бесшумных, как солнце, свежего сна и простой какой-нибудь песенки.

Батурина нравилось, что в столовой, где он обедал, было темно от зелени и пустынно. Когда хозяин звякал тарелками, Батурина вздрагивал и оглядывался,— за окном было видно море, на углу под акацией спал сидя чистильщик сапог, морщинистый и бессловесный айсор.

Лишь изредка по чистым скатертям дул ветер, и дым папиросы улетал к хозяину, за черную таинственную стойку. Там блестели бутылки, и розовый, золоченый и синий строй чайников напоминал лубочную персидскую сказку.

Батурина рассказал Игнатовне, что ищет сестру. Она в свое время бежала с добровольцами из Киева и якобы жила в Бердянске. Игнатовна поохала, вытерла глаза уголком платка и пошла на поденщину — мыть полы к грекам. А через сутки историю Батурина знали все старухи и простоволосые женщины, стиравшие по дворам белье. Они провожали его ласковыми взглядами и ставили в пример мужьям.

— Вот, смотри, как человек за сестру заботится,— не то что ты, ирод! Тебе и жена — не человек, не говоря за сестру. Тьфу!

Однажды в столовой к Батурина подсел и представился какой-то черный человек. Фамилия его была Лойба. Коммивояжер по профессии, он, ввиду плохих дел и отсутствия солидных фирм (Лойба вздохнул в пышные мопассановские усы), имел вид жалкий и занимался низким ремеслом — работал шпагоглотателем в местном цирке.

Лойба говорил с польским прононсом, был величав и благороден в нищете, называл Батурина «коллега» и проявил большие познания по части подтяжек, дамских подвязок и прочей галантереи. Он сказал Батурина:

— Я специально позволил себе побеспокоить вас, коллега, зная о вашем семейном затруднении. Мы — люди ума, интеллигентя. Я служил в австрийском посольстве в Петрограде. Мы понимаем друг друга. Извиняюсь, но я вспомнил. Я уже третий год вынужден жить тут, в этой паскудной дыре, и я многих

знаю. Перед эвакуацией одна молодая женщина вышла замуж за английского офицера, и они уехали на миноносце в Турцию. Извиняюсь, если ошибся.

Батурин из вежливости расспросил. Молодая женщина была толста, «глаза имела как слезы ребенка», закручивала косы вокруг головы, и звали ее Эсфирь Львовна. Нет, эта не подходит.

— А вы случайно не встречали здесь американца Пиррисона?

Лойба покосился.

— Нет, знаете, со всякими проходимцами я не имел дела.

— Почему проходимцами?

— Достаточно, что у нас в цирке есть американец. Он делает всякие штуки на трапециях. Так он, знаете, не имеет ни малейшего почтения к людям. Он достиг такой наглости, что заявил на меня, будто я ворую из столовой серебряные кольца для салфеток и прочие вещи. Я имел через него большие неприятности.

Батурин пристально посмотрел на Лойбу и решил от него отвязаться, но это оказалось делом трудным. Лойба попадался всюду и тотчас же, подняв косматые брови, начинал врать об австрийском посольстве и жаловаться на дикость туземцев.

Батурина наконец стало казаться, что никакого Пиррисона нет, как нет и Нелидовой, что вся эта история выдумана. Он пал духом, изощрялся в придумывании невероятных планов, как найти Пиррисона, но при осуществлении их упирался в единственный выход — расспросы. Это было скучно и походило на лотерею, — человек, который смог бы сказать, где Пиррисон и Нелидова, представлялся недостижимым, как выигрыш в сто тысяч. Искать такого человека было бессмысленно. Поэтому Батурин избрал легчайший путь — ждать счастливой случайности.

Бердянск тускло поблескивал черепичными крышами и морем. Временами дул горячий ветер с юга. Батурин любил такие дни, потому что был уверен, что ветер дует из Африки.

Цвет дня был мутный, и безоблачное небо становилось сизым, как в грозу. Неизмеримая жара повисла в воздухе, опаленным ветром.

В один из таких дней Батурин, сидя в столовой, набросал на меню несколько фраз, — он хотел передать настроение этих ветровых дней. Перечитывая написанное, он сказал себе — «постой, постой!» — и улыбнулся. Фразы были крепкие, звучали сжато, беспощадно, как дни, о которых он писал.

— Есть! — сказал Батурин. — Мозги проветрены. Теперь пора.

С этого дня он, пока только для себя, стал писателем. Не имея представления о сложности сюжетов, архитектуре повестей, умолчаниях, торможениях повествования, он чувствовал тяжесть

от обилия образов. Они были еще далеки от нужной четкости, мутны, как цвет ветреных дней. Но они пенились и подымались, разбрызгивая тончайшие капли влаги.

Он ждал. Это ожидание было похоже на горные хребты в тумане. То там, то тут просвечивает розовый лед, и с дрожью, предчувствуя необычайное зрелище, ждешь, когда туман растает и блеск снежной весны над глетчерами откроется в своем блистающем молчании.

— Как хорошо! — повторил Батурин.

Казалось, мир залит жгучим светом, и вещи раскрыли свою вторую сущность — более глубокую, сложную, чем та, среди которой он жил до тех пор.

Это состояние напоминало бред, влюбленность. В каждой будничной вещи были скрыты волнующиеся, как море, легенды.

Батурин стал понимать, как коротка жизнь. Он казался себе мальчишкой, который хочет остановить руками водопад, — исполинский поток света, влаги, спектральных лучей, — и плачет от бессилья. Едва Батурин пытался закрепить один образ, как новый, еще более томительный, ускользящий, рождался в мозгу. Были тончайшие вещи, что никак не укладывались на бумагу.

Скорей, скорей! — вот единственное чувство, которое в те дни испытывал Батурин. Письма капитана лежали нераспечатанными.

Батурин казался себе похожим на рыбу-глистовку. Ее он часто видел в порту. Она выскакивала из воды, будто хотела лететь, падала на бок, быстро кружилась, опять выскакивала, кружилась и издыхала. Это была болезнь. Попытки рыбы летать напоминали Батурину его бессилие, когда он сталкивался с немощью родного языка.

Лойбу он как-то прогнал в столовой, сказав ему: «Уйдите, вы мне мешаете», — и не заметил, как тот подошел к хозяину, покрутил пальцем около лба и злобно прошептал:

— Психопат! У него, знаете, полное смешение мыслей.

Для того чтобы писать, Батурину чего-то не хватало. Он думал, искал. Ему казалось порой, что нужна музыка — ее благородный пафос и необъятный разлив развязанных звуков, но потом решил: нет, не то. Подъем сменяла тяжелая усталость. Невольно в голову лезли мысли, что он разбудил черта, непонятную болезнь, и выздоровления от нее не будет.

«Пропал», — думал Батурин и холодел от возбуждения.

В таком состоянии он вернулся однажды в сумерки домой. Игнатовна подала ему записку.

— Ну, дал бог счастья, — затараторила она. — Сестра ваша нашлась, сегодня приходила, час назад. Вот эту записку вам оставила. Вы ее шукаете, а она вас. «Приехала, говорит, за ним вдгонку, узнала, что он в Бердянске».

Батурин прошел к себе, стал у окна и развернул записку. Она была от Вали.

«Не пугайтесь,— писала она,— приехала в Бердянск на несколько дней, боялась, что вас не застану. Через час приду».

Батурин бросился на улицу искать ее. Он пошел к порту. В каменном, пустом переулке он увидел Валу,— она быстро шла впереди. В прорезе между домами виднелось темное вечернее море и огни парохода.

Батурин остановился. Мысль о широкой, волнующейся, как море, легенде вспыхнула детским восторгом.

— Валя! — крикнул он и прислонился к решетке сухого сада.

Она обернулась, рванулась к нему, протянула руки. Батурин сжал их, посмотрел в ее глаза и понял, что не хватало ему вот этого страшного и чистого начала, этой женской, еще не разгаданной сущности, что была в ее темных и сверкающих зрачках.

— Не сердитесь? — спросила она, всматриваясь в его лицо, будто стараясь запомнить его навсегда.— Видите, какая я прилипчивая, не даю вам покоя.

Батурин закрыл ее ладонями свои глаза, как делают маленькие дети, и ничего не ответил. Валя спросила чуть слышно, одними губами:

— Ну что, что, что, мальчик мой милый?

Волнение его могло окончиться освежающими слезами, но резким напряжением он сдержал себя. В его волнении вдруг появилась неясная мысль, — что-то было связано с этими словами «мальчик мой милый». Во сне ли, в памяти ли детских лет, когда была жива его мать, но где-то он слышал эти слова.

Они прошли на набережную, серую от ночного света. Это был отблеск воды, звезд; возможно, горячий ветер тоже излучал неясный свет.

Валя села на чугунный, ржавый причал. Батурин опустился на теплые камни у ее ног. Она говорила, наклоняясь к нему, не отпуская его руку. Терпко пахла колючая трава; ржавый подъемный кран, казалось, слушал голос Вали. У каменной лестницы качались, кланяясь морю, старые шляпки.

— Теперь все, все долой,— говорила Валя.— У меня нет ничего позади — ни отца, ни ребенка, ни асфальта. Я новая. Вы слышите меня? Вы должны знать, как это случилось. Я два раза была больна, два раза травилась,— всё спасали. Я думала — зря спасают, все равно свое сделаю, а теперь я готова ноги целовать тем, кто меня спас. Доктор такой рыжий, мрачный и такой милый, из «Скорой помощи», он мне сказал: «Если не себе, так другим пригодится», — а я его выругала за это так скверно...

Валя замолчала. Батурин осторожно тронул ее холодные ноги.

— Ну, говорите же!

— Я...— Валя вздрогнула.— Я... дочь врача, я училась в гимназии. Отец бежал от голода на юг, в Ростов, взял меня. У меня тогда уже был, у девчонки, ребенок. Мальчик... ему было полтора года, он еще не умел говорить. В Ростове мы прожили долго. Было плохо, трудно. Но я не хотела дальше никуда ехать, а потом отец заболел сыпняком: Через неделю мальчик заболел scarлатиной, и положили их обоих в один госпиталь на Таганрогском проспекте. Там лежали солдаты, детей почти не было. Я жила в палате, где был мальчик. Спала на полу, вся во вшах. Если бы вы слышали, как он плакал по ночам, маленький, у вас бы разорвалось сердце. А кругом матерщина, канонада,— красные подходили к городу,— кому он нужен был, мальчишка, кроме меня. Даже врачи его не смотрели.

Валя взяла Батурина за подбородок, подняла его голову. Он снизу смотрел в ее лицо. Она плакала, не скрываясь, не сдерживаясь; слезы капали на его волосы.

— Ну скажите, зачем это? — тихо спросила она.— Зачем пропал маленький? Вы один поймете, как мне было горько.

Потом началась эвакуация, больных стали вывозить. Некоторые шли сами, падали с лестниц, разбивались. Я бросилась в город, упростила хозяйку пустить мальчика: тогда scarлатины и сыпняка боялись хуже чумы. Не знаю почему, но она согласилась,— уж очень, должно быть, я была страшная. Я побежала в госпиталь, сказала отцу, что возьму мальчика, а потом его. Отец щелкал зубами, молил: «Валя, скорей! Валя, скорей! Врачи уже бежали, нас здесь перебьют. Военный ведь лазарет». Тогда думали, что в лазаретах всех рубят шашками. В палатах совсем пусто, лежат только одинокие, у кого никого нет, зовут. Некоторые ползли к дверям. Один, помню, радовался, что за час прополз через две палаты. А куда ползут — неизвестно.

Я разыскала санитаря. Василий, был такой санитар. Прошу перенести отца, а сама не знаю куда,— мысли путаются. Он согласился. «Пойдем, говорит, тут через два квартала я живу, у меня носилки, захватим. Вы мне поможете его вытащить, а на улице кто-нибудь найдется». Я пошла. Уже снаряды рвались; я даже не слышала, только видела,— казалось, не ярче, чем вспыхивает спичка. Он привел меня в комнату, не помню даже куда. Стоят носилки. Я схватила их, а он остановил меня и спрашивает: «А плата?»

Я взглянула на него, похолодела, молчу. Вдруг вспомнила. Ведь в госпитале я видела носилки. Он позвал какого-то парня, показал на меня, говорит: «Денег у ней нет. Придется нам взять с нее плату натурой».

Лучше я не буду вспоминать... Ведь там у меня лежал мальчик, ждал. Вырвалась я от них через час, бросилась к госпиталю, а он...

Валя задохлась.

— Сгорел он,— сказала она, пересиливая удушье.— Всё бы-

ло в огне. Я рванулась к двери, меня ударили в грудь, я упала. Меня затоптали. Подожгли, отступая. Говорят, боялись, что захватят списки больных — тех, что остались в Ростове. И мальчик мой там сгорел, опоздала... Один, без меня.. и отец...

Она опустила на землю рядом с Батуриным, крепко взяла его за руки.

— Я осталась одна, совсем одна. Даже трудно представить, как это было страшно. Маня подобрала, дала кокаину. Надо было забыть все, иначе нельзя было жить. А дальше не стоит рассказывать. Так я и осталась с Маней. Переменилась, будто вытряхнули из меня старую душу. И вот теперь...

Она смотрела на море и забывчиво гладила руку Батурина. От волос ее шел легкий печальный запах.

Больше они ни о чем не говорили. Около дома Игнатовны встретился Ли Ван; он шел крадучись, согнувшись, как на лыжах.

— У этого китайца я оставила в прачечной вещи, здесь рядом с вами,— сказала Валя.— Завтра возьму. Кажется, я в Ростове его встречала. Он ходит за мной, как кошка за мышью.

В комнате Батурин открыл окно: заним тихо шумела крошечная тьма. Не зажигая огня, они легли. Батурин лег на полу. Сквозь сон он слышал, как Валя тихо встала, закрыла ставни.

Проснулся он от ощущения, какое было в Таганроге перед отъездом. Ему приснилось, что в комнату вошло несчастье. Он даже видел его,— это был человек из серого ситца, грязный, как тряпичная кукла. Розовые его глаза зло и долго смотрели на Батурина. Батурин ударил его по голове, раздался крысиный писк, клубами взвилась шершавая пыль. Тряпичный человек упал мягко и тупо, и Батурин проснулся.

Валя сидела на кровати, закутавшись в одеяло, глаза ее были широко открыты.

— Под окном кто-то стоит вот уже почти час,— прошептала она и виновато взглянула на Батурина.

Батурин вскочил.

В щели ставень неуютно сочился белесый рассвет. В самую широкую щель смотрели немигающие дряхлые глаза Ли Вана. Ли Ван быстро присел и побежал вдоль стены, сгибая ноги, будто тащил тяжелый груз. Батурин вздрогнул,— у китайца была узкая и страшная спина. На нем была ватная безрукавка; он напомнил Батурина приснившегося тряпичного человека.

— Никого нет,— не оглядываясь, сказал Батурин.— Вам почудилось.

Валя легла, укуталась и пролежала, не двигаясь, до утра.

Утром пошли на берег купаться, а потом пить чай в столовую. На берегу Батурин смотрел издали на Валю, на ее стройные и сильные ноги, на маленькие трогательные груди. Крупные капли стекали по ее плечам; солнце било в глаза; она жмурилась, как девочка, и торопилась одеться. Прикосновение к ней

казалось Батурину кощунством. Он подумал, что надо убивать всех мужчин, глядящих на женщину со слюнявым вождедением. Внезапно эта мысль сузилась, и он сказал, улыбаясь:

— Я убью Пиррисона. Лучше его не встречать.

На рейде плавал в тумане серый пароход. Валя подошла к нему, — море вспыхивало в глубине ее глаз синими зеркалами. Зайчики от воды перебегали по смуглому телу. Какой-то рыжий песик бежал за ней, лаял на волны и откатывался от них мохнатым шаром.

В столовой со свежих букетов падали на скатерть капли воды. Родниковый ветер продувал комнату. Полчаса назад он пролетал над Севастополем, над морем; в нем даже слышался запах водорослей, соли, женских ладоней. Море переливалось, блестя и переключаясь. Над террасой хлопали полосатые полотнища, а чистильщик сапог сидел на корточках под акацией и ел маслины с хлебом.

Валя взглянула на Батурина, покраснела и поняла, что теперь все решено.

Из столовой она пошла к Ли Вану взять вещи — маленький чемодан. Батурин ждал ее в столовой. Прошло полчаса, час. Рыжий песик приплелся в столовую, сел около Батурина и сокрушенно вздохнул. Батурин дал ему корочку: песик деликатно взял ее зубами и отошел в угол. Глухая тревога, как тошнота, подкатила к горлу. Почему Вали нет?

Батурин решил идти к Ли Вану. В дверях он столкнулся с Лойбой. Лойба вбежал, морщась и улыбаясь. Мопассановские его усы были растрепаны.

— Здравствуйте, коллега! — крикнул он. — Вы здесь? Вы сидите, как философ, и ничего не знаете.

Мимо столовой тяжело пробежал, придерживая кобуру, милиционер в пыльных коричневых сапогах. За ним быстро прошло несколько греков в крахмальных рубашках без воротничков.

«Должно быть, парикмахеры», — подумал Батурин и спросил грубо:

— В чем дело?

— Курву одну убили, вот тут за углом, в прачечном заведении.

— Кого?

— Ну, знаете, девушку гулящую.

Батурин стремительно ударил Лойбу кулаком в переносицу. Лойба схватился за стену, издал крысиный писк и упал на стул мягко и тупо.

— Паршивая сволочь! — крикнул он в спину Батурину, размазывая по усам липкую кровь. — Я покажу тебе, как драться, психопат!

Батурин плохо помнил, как попал в прачечную. Он покачнулся, упал, разбил в кровь колено. Запах жавеля и пара протрезвил его. Отчаянье, от которого мутнеет в глазах и можно

убить каждого, кто подвернется по дороге, дало ему последнюю нечеловеческую силу. Он только стиснул зубы, когда увидел на полу Валино тело, опухший черный висок и прекрасные, но уже мертвые глаза.

Юбка была разорвана, была видна нога в тугом высоком чулке, рядом валялся чугунный утюг с большой деревянной ручкой.

Милицционер в коричневых сапогах прикрыл труп простыней. Батурин отшатнулся, — в углу простыни были вышиты латинские буквы «G. P.»

Батурин прислонился к стене; голова его стучала об стенку; он стиснул себе подбородок, чтобы унять дрожь.

Милицейский с портфелем допрашивал беременную бабу, жену Ли Вана. Ли Ван скрылся.

— Вы знаете убитую?

— Не, не знаю. Муж говорил, что гулящая.

— Как произошло убийство?

Баба молчала.

— Говори!..— сказал милицейский ледяным и сдавленным голосом.— Говори!

Он сжал портфель.

— Не, я не бачила.

— Кто убил?

— Известно, муж...

— Почему он убил?

— Да очень же просто. Я тяжелая, мне завтра родить.

Не могу я с им жить как с мужем. Вы сами знаете, товарищ начальник. Он же без бабы ни одного дня. А тут эта приехала, из Ростова. Где-то ночевала с мужчиной, сегодня пришла за чемоданом за своим. Что промеж них было, — не знаю. Только он, должно, хотел насильство над ей сделать. Она его ножницами ударила в лицо, губу разорвала. А он ее утюгом.

— Значит, вы видели, как произошло убийство?

— Как начался крик, я выбегла в соседнюю комнату, вижу — он весь в крови, хватает утюг. Я схоронилась за печкой, да там и простояла, пока не набежали люди.

— Ну что ж, посидишь. Где вещи убитой?

Баба принесла небольшой фибровый чемодан. Милицейский открыл его. Там было белое платье, чулки, белье, перчатки и несколько листов бумаги, густо исписанных и измятых.

Батурин подошел к милицейскому и сказал:

— Убитая провела последнюю ночь у меня. Я хочу дать показания.

Милицейский отодвинул в сторону чемодан.

— Вас допросить, или вы напишете сами?

— Я напишу.

Милицейский дал Батурину лист бумаги. Батурин сел к столу. Он писал, что убитая вовсе не проститутка, а артистка, и он ее знает с детства.

Милицейский вышел — надо было убрать труп. Батурин незаметно взял из чемодана записки Вали и быстро спрятал их в боковой карман. Потом он окончил показания, оставил адрес и ушел.

Невыносимый полдень горел над степью. Тугие удары крови отзывались в мозгу колющей болью.

«Куда же мне теперь? — растерянно подумал Батурин.— Кому я нужен?»

Сознание детского, непоправимого одиночества сменилось отчаяньем. Батурин прошел через порт, вышел в степь и побрел берегом. Было знойно и невыразимо пусто.

Он вспоминал потрясающую красоту этой девушки, думал о легких началах и страшных концах любви. Он звал ее и сдерживал слезы, — лишь одна-две изредка сползали по его щекам.

День стремительно проносился над ним; первый день в жизни ненужный, пустой. Он был страшнее небытия, паралича — этот будничный день, насыщенный желтым угаром. Впервые Батурин почувствовал всем существом, как страшно жить и легче, неизмеримо легче умереть, отказаться от этого потрясающего последнего одиночества.

Сердце запеклось, глаза высохли, во всем теле разгорался тихий жар. Он все шел, спотыкаясь, на восток. Упали сумерки.

Ночь неслышно кралась за ним, потом заглянула в лицо, — за день Батурин постарел на десять лет. Казалось, ночь отшатнулась: стало светлее.

Батурин шел по песчаной косе и остановился, — коса обрывалась у моря. Дальше идти было некуда, — надо было возвращаться обратно.

Он сел на песок и тяжело, судорожно заплакал. Он царапал пальцами песок. Он знал, что в этот час тело Вали уже лежит в земле, сел и вскрикнул. Только ночь и море видели его отчаянье. Простая и безжалостная человеческая жизнь шла далеко, — на хуторах, в море, где слабо мерцали огни пароходов, и Батурин знал, что ее не сдвинуть с места. Вечный закон обращенья был глубоко ненавистен Батурину. Сам он в своих глазах потерял всякую цену. Он умер вместе с Валею.

Только к утру пришла бледная мысль, что некому даже рассказать о Вале, — и стало еще горше. На рассвете он побрел обратно в Бердянск, — у него родился мутный и сумасшедший план: ехать дальше, во что бы то ни стало найти и убить Пиррисона и потом покончить с собой. Он вспомнил простыню с вышитыми буквами «G. P.» и наморщил лоб, — связь между Пиррисоном и Ли Ваном была для него очевидна.

В Бердянск он вернулся к вечеру — черный, с изменившимся лицом. Темные глаза его казались светлыми, белки глаз пожелтели. Руки дрожали так, что он не мог выпить воды в ларьке, а когда покупал папиросы, рассыпал деньги и, не собрав их,

пошел домой. Игнатовны не было. Батурин сложил вещи, запер комнату и ушел на пристань.

У мола стоял, сияя и погромыхивая лебедкой, «Феликс Дзержинский». Батурин пробрался на корму, лег на свернутых канатах, укрылся пальто и начал курить,— он курил, зажигая одну папиросу о другую; все дрожало у него в глазах, сердце тошнотно замирало.

В черной воде сжимались и разжимались полосы огней,— далеко у маяка всходила луна и волновалось море. «Резиновое море»,— подумал Батурин и внезапно уснул. Сон его был похож на обморок: он двое суток ничего не ел.

Проснулся он ночью. Пароход был темен, безлюден и, казалось, покинут в море командой. Стояло безветрие, но пароход высоко качало,— шла мертвая зыбь. Звезды то возносились, то падали в ночь, и совсем зимняя тьма висела кольцом по горизонту.

На корме, над лагом, светила пятисвечовая лампочка, забранная проволочной сеткой. Безмолвно подошел матрос, посмотрел на лаг и прошел, как тень, обратно.

При свете лампочки Батурин прочел листки, взятые в чемодане у Вали. Это был черновик ненаписанного письма.

«Милый, далекий мой,— писала она.— Скажите, что мне с собой делать. Всю ночь в Таганроге проплакала, не могу никого видеть. Уехала в Ростов. На вокзале чуть-чуть удержалась, чтобы не сорвать скатерть со стола в буфете. Такая тоска!

Тянусь я за вами, люблю, мучаюсь.

Должно быть, пришло настоящее. Раз я любила, но не так, совсем не так, больше дурачилась. Я спасла ему жизнь, после этого он сказал мне, что ненавидит меня, и ушел. Я до сих пор не могу понять, как это можно, как он смел мне сказать такие страшные слова. Я его ненавижу. Я знаю, что теперь любить меня не надо, а вот все жду, жду, как ребенок, хоть одного вашего ласкового слова.

Как может быть солнце, синее небо, как можно радоваться, когда нет вас?»

Все остальное было зачеркнуто.

Утром над пепельным морем поднялись лысые берега. Пароход загудел, медленно поворачиваясь ржавой тушей. На скапых горах белой кучей лачуг была навалена Керчь. Зеленый мыльный пролив качался и гремел у берегов,— было видно, что берега упрямые и каменистые. Дым из трубы швыряло из стороны в сторону. Солоно пахло рыбой. Ветер мчался под мокрым и ярким небом, хлопая задымленными флагами.

«Как может быть солнце, синее небо, как можно радоваться, когда нет вас?» — снова прочел Батурин последние строчки письма.

Позади, за ночным морем, за сутолокой бухт, поисками ненужных людей, за суетой выдуманных радостей и горестей, сверкали, как солнце в лагуне, дни в Таганроге, детская красота Вали, дрожь ее губ, теплота ладоней, жестокий конец неначатой любви.

На берег Батурин сошел с отвращением. Несло отхожим местом, торговки продавали раскисшие от дождя пироги, и на волнах подсакивали бутылки и ломаные коробки от папирос.

Батурин сел на чемодан, закурил и задумался, — ему некуда было идти. Он понял, что заболевает.

ЧЕРТОВА СТРАНА



Капитан долго, краснея от негодования, читал объявление в коридоре гостиницы «Сан-Ремо». Это был обыкновенный инвентарный список, но одно слово приводило капитана в состояние тихого бешенства. Когда он доходил до него, то бормотал: «Вот чертова страна!» — и, нахлобучив помятую кепку с золотым якорем, спускался на жаркую улицу.

Объявление, начинавшееся с перечисления буфетов, столов и умывальников, кончалось так: «40 табуреты, 138 здули». Эти «здули» не давали капитану покоя; спросить же прислугу он не решался, — пожалуй, засмеют.

Во время одного из размышлений около инвентарного списка за спиной у капитана прошел, насвистывая, тяжелый человек. Капитан оглянулся и увидел широкую спину, легко свисавший чесучовый пиджак, лаковые туфли и носки лимонного цвета. Незнакомец курил трубку, и капитан тотчас же узнал настоящую медоносную «вирджинию» — трубочный табак Соединенных Штатов. Незнакомец показался капитану подозрительным, и он решил о нем разузнать.

В один из вечеров после этой встречи капитан был настроен радостно: загадочное слово было внезапно расшифровано. Капитана осенило, когда он брился у парикмахера Лазариди.

«Да ведь это стулья, — подумал он и захохотал. — Сто тридцать восемь стульев, черт их дер!»

Хохотал он долго, откашливаясь и сплевывая в пепельницу. Лазариди отставил бритву и сердито ждал. Он презирал капитана

за снисходительный отзыв о крейсере «Аверов» — гордости каждого грека. «Аверов» с развевающимися бело-синими флагами, могучий, жутко дымящий «Аверов» был грозой Эгейских морей. Только невежда и грубиян, каким был этот шумный и своевольный человек, мог высказать предположение, что на «Аверове» деревянные якоря. Лазариди обиделся.

Капитан отхохотался, взглянул в зеркало, и Лазариди, поднявший было бритву, опустил ее снова, — капитан побледнел и рассматривал в зеркале человека, сидевшего за столиком. Человек листал затрепанный «Прожектор». Из угла его рта торчала трубка, один глаз был прищурен от дыма. Лицо казалось обваренным кипятком от недавнего загара. Это был незнакомец, прошедший на днях у капитана за спиной.

Капитан откинулся на спинку кресла, махнул Лазариди рукой, и бритье было закончено в угнетающем молчании. Только незнакомец тихо насвистывал фокстрот и рассеянно поглядывал на улицу. Там сверкал розовый вечер, и желтая пыль сыпалась с мимоз на волосы женщин.

Капитан встал, медленно расплатился, долго считал и пересчитывал сдачу, чего до тех пор никогда не делал. Лазариди взглянул на него с презрением и обеими руками указал незнакомцу на стул.

— Побрить, — сказал тот и сел, высоко задрав ногу. Из-под полотняных брюк виднелись клетчатые лимонного цвета носки.

«Ну да, он, — подумал капитан при взгляде на носки. — Американские носки!»

Капитан вспотел, — три месяца не пропали даром. Он перешел улицу и сел в духане напротив, не спуская глаз с парикмахерской. Хозяин духана Антон Харчилава, не спрашивая, поставил на стол бутылку качича и тарелку с горячей требухой. На вывеске духана было написано: «Свежая требушка», и этим блюдом Харчилава гордился по справедливости. Округлив глаза, он таинственно шепнул капитану:

— Есть маджарка, сейчас брат привез из Гудаут. Пробуй, пожалуйста.

— Тащи. — Капитан не отрывался от окна парикмахерской. — Вот, получи вперед.

— Ради бога, завтра заплатишь, — рассердился Харчилава. — Что ты, сегодня бежишь в Америку? Ай, какой человек, какой человек!

Харчилава поцокал и укоризненно помотал головой.

— Слушай, Антон. Вон у Лазариди, видишь, что это за гусь бреется? Рожа, понимаешь, знакомая, а вспомнить никак не могу.

— Этот? — Харчилава, щелкая на счетах, взглянул на парикмахерскую. — Этот — американец, он табак покупает. Знаешь Камхи? Самый богатый купец в Константинополе. Это его человек.

«Ну да, он»,— подумал капитан, допил вино и, как бы потеряв всякий интерес к американцу, пошел в портовую контору разузнать о погрузке табака.

На бульвар, на море и город жарким ветром налетала сухумская ночь. Темнота, лиловая и мягкая, как драгоценный мех, освежала сожженные лица. Белый пламень фонарей, отраженный меловыми стенами, заливал фруктовые лавки. Они были пряные до тошноты и пестрые, как натюрморты. Апельсины скромно пылали на черной листве.

Запах жареных каштанов и треск их сопровождали капитана до портовой конторы. Черное море колебалось пыльным светом звезд. Птичье шелканье абхазской речи было очень кстати в тени эвкалиптов. За столиками люди в белом сжимали в черных лапах хрупкие стаканчики с мороженым. Весь Сухум представлялся капитану декорацией экзотической пьесы.

В портовой конторе капитан узнал, что табак грузят на греческий пароход «Кефалония». Через неделю пароход уходит в Константинополь. Грузит поверенный фирмы Камхи Виттоль. Кстати капитану передали письмо от Батурина из Керчи (капитан приказал писать ему в портовые конторы: сухопутным учреждениям он не доверял).

— Знаем мы, какой ты Виттоль,— пробормотал капитан и распечатал письмо. Оно было кратко и поразило капитана своим тоном.

«Пиррисон негодяй,— писал Батурин.— Если найдете его, то, даже отобрав дневник (если он у него), заклинаю вас, не выпускайте Пиррисона из рук. Пиррисон — птица опасная и большого полета. Если найдете — телеграфируйте немедленно. Я приеду. У меня с Пиррисоном, помимо всего, есть личные счета. Я болен. Двигаться не могу. Ничего опасного. Вы были правы. Пиррисон спекулирует ценностями. Очевидно, база у него в Батуме. Вам надо, по-моему, выехать поскорее туда».

— На черта мне сдался Батум! — сказал капитан, пряча письмо.— Мы этого типа и здесь прищелкнем.

Но все же письмо вызвало у капитана множество сомнений. Какие личные счета: уж не нашел ли Батурин Нелидову и не влюбился ли в нее? Сомнения окончились тем, что капитан пошел на телеграф и послал Батурина телеграмму:

«Объясните галиматью относительно личных счетов. Не собираетесь ли жениться на Нелидовой? На болезнь наплюйте».

С телеграфа капитан вернулся на бульвар, где вечером можно было встретить любого нужного человека. В низеньких кофейнях щелкали костяшки домино. После света кофейен море

казалось кромешной бездной. Шум волн переливался с юга на север вдоль каменного парапета и возвращался обратно. Монотонность этого шума усыпляла.

Капитан сидел на парапете, дремал и думал, что, пожалуй, ему одному не под силу будет взять Пиррисона. Как всегда, почти достигнутая цель разочаровала его. Она далась случайно. А все случайное капитан считал непрочным, вроде карточного выигрыша. Для него имело цену лишь то, что давалось путем борьбы и напряжения.

Капитан подремал, потом встал, зевнул и пошел в «Сан-Ремо». На бульваре он встретил американца в лимонных носках, подошел к нему, поднял руку к козырьку и сказал мрачно:

— Позвольте прикурить!

— Пожалуйста,— ответил американец на чистейшем русском языке и протянул трубку.

Капитан достал папиросу, размял ее, разглядел американца и спросил по-английски:

— Ну, как дела с табаком?

— Ничего,— американец не выразил ни малейшего удивления.

— У меня есть кой-какие ценности,— капитан понизил голос и оглянулся.— Держать их опасно. Я хотел бы их сбыть.

— Что вы имеете в виду?

— Разная мелочь: бриллианты, золото, есть редкая художественная вещь — икона, вырезанная из перламутра. Этой иконой благословили на царство первого Романова.

— Откуда вы ее взяли?

— Из музея.— Капитан замаялся и решил врать до конца.— Спас от большевиков. Вы знаете,— царь и все прочее... Они бы ее уничтожили. В икону вделаны жемчуга.

— Любопытно,— протянул американец, отвернулся и ответил по-русски: — Нет, благодарю вас. Я спекуляцией не занимаюсь. И вам не советую.

— Ну, погоди,— сказал ему в спину капитан.— Ты у меня доходишься!

Американец обернулся и минуту в упор смотрел на капитана. Он как бы примеривался. Капитан мрачно изучал его лицо. Оба поняли, что они враги, и враги опасные. Капитан знал почему. Американец не знал, но догадывался, что капитан за ним шпионит. Толстая губа его презрительно вздернулась, показались широкие крепкие зубы. Он сказал будто вскользь: «Будьте осторожны», — и быстро повернул в боковую улицу.

Капитан вернулся к себе, звонил полчаса коридорному, тот не пришел. Капитан в сердцах обозвал всех туземцев «здулями» и лег, изнывая от духоты и мучаясь мыслью, что выдал себя с головой.

— Вот чертова страна! — сказал он и, огорченный, уснул.

Утром он понял с необычайной ясностью, что дело проигра-

но. Вместо ловкого шахматного хода он пошел на нелепое уличное столкновение. Батурин и Берг так не сделали бы. Они были хитрее и тоньше.

Капитан ругал себя последними словами. Бревно! Ведь надо же было разыграть грубого и неуклюжего шпика. «Позвольте прикурить», потом чушь с иконой Романовых и, наконец, угроза: «Ты у меня доходишься».

Он решил разузнать об американце все, что возможно, вызвать Батурина и тогда уже действовать. Два дня он посвятил осторожным расспросам и узнал, что американец бывает в Сухуме очень часто. Жены у него нет. Живет он в Тифлисе. Примерно раз в месяц приезжает в Сухум для погрузки табака. Значит, время терпит.

Тогда у капитана созрел сравнительно ясный план. Сначала надо найти Нелидову, если же дневник не у нее, а у американца (в чем капитан был уверен), то выудить дневник при помощи Нелидовой, поручив это дело Батурину. За Виттолем же неотступно следить. Этот план казался простым и приемлемым,— капитан гнал от себя мысль, что Нелидову, может быть, найти не удастся.

— Мои парнишки найдут,— говорил он, улыбаясь, будто похлопывал невидимых парнишек по плечу.

На капитана действовало, как и на всех, блистательное и густое сухумское лето. Зной дрожал дымчатой влагой. Все вокруг — и море, и горы, и город — сливалось в хрустальную чашу, полную искр, блеска, теней и ветра.

Цветли мандаринники. Их запахах изнурял капитана, железные нервы ослабли. По собственным его словам, он дал «слабину». Потом зацвели магнолии и принесли белую и сумрачную бессонницу.

Капитан слушал по ночам голос моря и с досадой думал о наступлении утра. Оно кричало сотнями красок, было похоже на фруктовый базар, полно жестикуляции, шипения шашлычного сала и клекочущих звуков. Он сравнивал и думал, что в тропиках лучше: там краски шире, громаднее, там тишина... девственный воздух наполнен исполненным медлительным солнцем, подчеркивающим эту тишину. Там солнце не мешало думать, а в Сухуме оно казалось таким же суетливым, как весь этот гомозящийся, дико вращающий белками народ.

«Театральщина,— думал капитан.— Вертят буркалами, а никому не страшно!»

Капитан пристрастился к духану Харчилавы. На жестяной подставке были разложены помидоры. Внизу горкой лежали раскаленные угли. Помидоры лопались и выпускали ароматный сок. От угли тянуло синеватым угаром. Качич попахивал бурдюком, но изумительно прояснял голову. И помидоры, и угли, и качич были пурпурного цвета, как и лицо Харчилавы. Красный бараний жир плавал островами во всех кушаньях —

в харчо, в лоби, в гоми,— есть их, не запивая вином, было немыслимо.

Капитан успокоился, особенно когда узнал совершенно точно, что Виттоль-Пиррисон уехал в Гудауты и вернется через неделю. Он написал об этом Батурину в Керчь и Бергу в Севастополь и решил ждать. Дни напролет он просиживал у Харчилавы, китель его пропах вином. Капитан предавался воспоминаниям. Завсегдатаи слушали его с большой охотой и каждого нового посетителя встречали шиканьем.

Капитан курил крученые папиросы из красного, дерущего горло самсуна и рассказывал о запахе табачного дыма. Даже Харчилава переставал щелкать на счетах и неохотно выходил в заднюю комнату за вином.

— Мы, европейцы, потеряли нюх,— говорил капитан и с торжеством осматривал немногочисленную свою аудиторию.— Почему? Во-первых, насморки; во-вторых, сложнейшее смешение паршивых запахов. Вот, например, я курю. Как вы думаете, на какое расстояние распространяется дым табака? На две сажени? А я вам говорю — на десять верст. Я вам докажу! Я жил в Австралии, в Брисбене. А на севере Австралии, где еще не вымерли дикари, жил русский врач, старик. Мы, австралийцы, прозвали его Львом Толстым. Он был нашим советчиком. У него был в лесу участок земли, он с сыновьями обрабатывал его и жил фермерством. Кругом леса: не леса, а стены — не продерешься. От моря к усадьбе была прорублена дорога, так, в сажень, не шире, чтобы проехать повозке. На берегу, у начала дороги, стоял шест и трепался флаг, потерявший всяческий цвет. Погодите,— это как раз история о табачном дыме, слушайте дальше.

Да, так вот... Я поехал к этому врачу, были дела от русской колонии. Меня высадили на берег почтовый пароход, и я пошел по дороге через лес. Я шел и, заметьте, курил трубку. Табак был черный, он называется «би-би». Курят его матросы, у сухопутных от него моментально начинается астма. И вот в версте от фермы меня встречает врач; он вышел ко мне навстречу. Я смотрю на него, как бык в зеркало: я ничего ему не писал, по дороге меня никто не видел. Там на десятки верст, кроме птиц, никого не встретите. Оказывается, к врачу прибежал туземец и сказал ему: «К тебе идет белый, моряк, он высадился с парохода и прошел уже половину дороги».

— Я никого не видел,— сказал я врачу.

— Дело в том, что и туземец вас не видел; он живет в трех километрах к западу от дороги. Когда вы шли, был ветер?

— Да, сильный восточный ветер.

— Ну, вот...— Доктор засмеялся.— Туземец узнал о вас по запаху табака. Он прибежал и говорит: «В лесу пахнет табаком, такой сильный табак курят только моряки, запах идет от Кенгуровой Ямы на полдороге, должно быть, к тебе приехал белый человек».

Вот и все. Просто? Вот это нюх! По запаху трубки тебя вынюхают издалека и кокнут за милую душу.

Капитан вспомнил, что запах «вирджинии» помог ему найти Пиррисона, и удовлетворенно ухмыльнулся.

Среди слушателей капитана был некий Плотников, комсомолец, тихий курносый юноша, родом из Корчевы, Тверской губернии. Работал он в кооперативе. В Сухуме, среди магнолий, пальм и ультрамаринового неба, он был как-то не к месту. Звали его Аполлинарий Фролович, был он веснушчат, говорил, спотыкаясь на каждом слове, и жил с мамашей Настасьей Кирияковной на горе Чернявского, в маленьком деревянном домишке.

О том, как он попал в Сухум, Плотников рассказывал, сокрушенно вздыхая и очень невнятно: выходило так, что, собственно, он не приехал, а его привезли, и не совсем привезли, а подбили товарищи. Ехали, мол, из Царицына, не то от голода, не то по поручению райкома — понять было трудно, а потом он с великим трудом выписал в Сухум свою мамашу.

Он уступил капитану крошечную комнату. Сквозь дырявый ее пол в изобилии лезли в комнату жуки, скорпионы, стоножки и прочая пакость и производили ночью такой шум, будто в комнате работал мотор.

Капитан погрузился в неторопливое благодущие. Утром тихо шумели сады. Их обдувал теплый черноморский ветер. Листва, покрытая слоем воска, блестела, как после обильного дождя, и пахла камфарой. В бамбуковой заросли мяукал котенок, заблудившийся в необъятных этих джунглях. Медвежонок Плотникова — Степа — лазил по войлочным пальмовым стволам. Капитан умывался во дворе водой из цистерны, поглядывал на море и пел. Пел он старинные украинские песни о хлопцах-запорожцах и сивой зозуле.

Потом вместе с Плотниковыми он пил чай из кривенького самовара. Стол ставили под громадный банановый лист. Настасья Кирияковна покрывала его грубой скатертью.

На эту идиллию сердито поглядывала из окошка хозяйка дачи, швейцарская гражданка Викторина Герман, глубоко ущемленная революцией и вздорная старушонка. Наколка ее тряслась от негодования, когда «свиньи-русские» сосали чай с блюдечка со звуком, похожим на хрюканье, и крошили зубами сахар. И еще медвежонок — подлый и хитрый зверь! Он утробно ревел, качался на пальмах и спал на крышке цистерны. Когда он спал, старушка оставалась без воды, — медвежонок она боялась и думала, что Плотников завел его нарочно, чтобы отравить ей существование.

По ночам вокруг дома выли шакалы, и медвежонок глядел из комнаты в темноту зелеными хитрыми глазами, поахивал и скреб затылок, точно говорил: «Эх, только дайте мне их, я им покажу».

Ночью с гор свежей водой лился ветер. Капитан иногда

просыпался, швырял через окно в шакалов припасенными днем камнями, и странные мысли приходили ему в голову. Например, он думал, что в этом старинном домике, тонувшем в зарослях лавровишни, может быть, жили во времена покорения Кавказа Лермонтов или Бестужев-Марлинский. В путеводителе он вычитал, что Лермонтов и Марлинский были в Сухуме и мучились здесь малярией.

На базаре капитан встречал белокурых горцев с прозрачными лицами и очень светлыми глазами. Ему рассказали, что это — чистые потомки крестоносцев, флорентийцы, отступавшие из Палестины через Колхиду и застрявшие на тысячи лет на этих благословенных берегах.

Своеобразие страны затягивало капитана медленно и крепко. Он ходил с Плотниковым на Новый Афон в горы и нашел там остатки гранитных римских маяков и мраморные плиты с непонятными надписями. Впервые при виде этих сероватых, как бы восковых плит капитан почувствовал волнение, — неведомая ему история говорила тысячелетним каменным языком.

Пахло нагретым лесом, под плитами шуршали ящерицы. В сумрачных маяках густо разрастались горы маленьких лиловых цветов. Капитан говорил шепотом. Ему чудилось, что он в древней Колхиде, небо сверкало над головой, с моря в лес проникали синие, радостные ветры.

По берегам ледяных и шумливых рек песок блестел крупинками золота. Плотников говорил, что это серный колчедан, но капитан нравилось думать, что это чистое золото. Он намыл горсть золотых крупинок, но через день они почернели, и капитан с сожалением их выбросил.

Сидя с Плотниковым в густых зарослях терновника, капитан курил, смотрел, как в лиловый дым табака влетали, гудя, шмели, и слушал рассказ Плотникова. Плотников, спотыкаясь, говорил:

— Вы знаете, я читал... вот в этих, значит, местах... через Колхиду проходила великая дорога в Индию... это ее остатки... Она шла через Нахарский перевал на Дербент, потом через Персию... Здесь богатые города были... Золото добывали. Сюда ссылали лучших римских людей... Вот под этим камнем, понимаете, может быть, лежит Спартак какой-нибудь или полководец, изменивший Цезарю... чувствуете... сюда Одиссей приезжал за золотом... золотое руно называется... Я читал, — это, знаете, они так делали... брали баранью шкуру, клали ее вот в такую речонку, например Келасуру, вода в шерсть наносила золотой песок... Отсюда и название — золотое руно.

— Слушай, Плотников, — сказал капитан. — Вот перейдем к настоящему мирному строительству, тогда двинем, брат, с тобой по этому римскому пути, — обследуем. Академии наук рапорт напишем. Как думаешь, не стыдно будет таким делом заняться?

— Чего ж стыдно, товарищ Кравченко? Дело научное, чистое.

— Так смотри, значит, двинем?

— Двинем!

Капитан подумал, что сейчас не хватает Батурина или Берга: они рассказали бы об этом римском пути так, что мурашки забегали бы по коже. Он вспомнил слова Берга: «Что бы вы ни делали, делайте с пафосом, иначе у вас ни черта не получится».

«Что ж, верно,— подумал капитан.— Славные ребята!»

Дома после экскурсии в горы капитан застал письмо Батурина,— запоздалый ответ на телеграмму.

«Я пережил жестокое потрясение,— писал Батурин,— говорить о нем не буду, издали вы не поймете. На Нелидовой жечься не собираюсь, бросьте ваши шуточки. Я, прежде всего, ее не нашел. Берг бездействует. Уже июль, а мы ни черта не сделали. Нажимайте, иначе мы сядем».

— На черта мне сдалось нажимать! — пробормотал капитан.— Погоди, получишь второе письмо, тогда запоешь иначе.

Но все же он решил посвятить Плотникова в тайну поисков. Плотников подумал, поплевал на папироску и ответил:

— Ну, что ж. Помогу. Дело, по-моему, почти государственное.

Он действительно помог. Через несколько дней он рассказал капитану, что Виттоль опять в Сухуме и сейчас уехал в Очемчиры за табаком.

— Надо ехать вслед,— забеспокоился капитан.— Черт его знает, что у него там в Очемчирах.

Плотников отпросился с работы на два дня, и они уехали. В Очемчирах Виттоля не застали,— час назад он выехал на лошадях обратно в Сухум. Капитан побагровел и стукнул кулаком по столу. Они сидели в духане.

— Сукин кот! — Он хмуро посмотрел по сторонам.— Опять я зеванул. Надо сейчас же жарить в Сухум.

Духанщик посоветовал сговориться со шкипером Абакяном. Шкипер собирался вечером отойти в Сухум.

Нашли Абакяна. Он сидел на палубе паршивенькой моторной фелюги со странным названием «Ошибка революции» и ел кефаль. Абакян был суетлив, предупредителен, видимо побаивался капитана.

— Что за название такое — «Ошибка революции», а? — грозно спросил капитан.— Что это значит?

— Нищего не знацит. Цестное слово, нищего,— залопотал Абакян и объяснил, что фелюгу построили после революции, фелюга вышла дрянная, вот и назвали ее «Ошибкакой».

— Вот здули! Что за народ, ей-богу, черт его знает!

Абакян виновато заморгал глазками и подтянул широченные коричневые штаны. Из-под синей его каскетки стекал пот.

Пассажиры были страшные, — как бы чего не вышло (у Абакяна в трюме был запрятан безакцизный табак). Он пошел к духанщику и долго с ним совещался. Духанщик подумал, высморкался в полу бешмета и таинственно поднес Абакяну ошеломляющую новость.

— Чекисты! Тебя доведут до Сухума, и там ты пропал. Сделай так, чтобы не попасть в Сухум. Понимаешь?

Абакян поплевал, поцокал и пошел на берег.

— Ай, ошибка, ай, ошибка случилась! — бормотал он, вытирая рукавом пот. Руки его дрожали от скорби. Конечно, он пропал. Уныние плоских и грязных Очемчир усугубляло тоскливое настроение. Он решил удрать раньше срока, но на палубе «Ошибки» заметил страшных пассажиров.

— Сидят, собаки, — прошептал он, — сидят, шакалы, чертовы дети, холера на их головы!

Приходилось подчиниться судьбе.

Вечером в редком тумане снялись с якоря и пошли. Ветра не было. Работал мотор; он сопел и брызгал нефтью. Стук его быстро усыпил капитана и Плотникова. Абакян сидел на руле. Скупые огни Очемчир отодвигались, меняли места, гасли на пустой малярной равнине. Горы ушли в глубь страны.

Капитан повертелся на палубе, пробормотал, что «у пиндосов и в море блохи», и уснул. Волны шуршали о борта, как разрезанный шелк: «Ошибка революции» шла полным ходом.

На рассвете капитан проснулся и растолкал Плотникова. Подходили к Сухуму; в рассветной мути, полной снов, горели редкие огни.

Капитан потянулся, посмотрел на Абакяна. Абакян спал, обняв штурвальное колесо. Голова его ездил по ободу, каскетка свалилась.

— Ну и дрянной шкипериска! — Капитан тряхнул Абакяна за плечо. — Что же ты спишь, зараза, на штурвале! Суда не нюхал, арестант?

Абакян помотал головой, замычал и свалился на палубу. Капитан отодвинул его ногой, стал к штурвалу и сказал вниз мотористу:

— Ты хоть не спи, черт вас знает! Вот скажу начальнику порта, какие вы моряки.

Из трюма раздалось недовольное бормотанье: моторист не спал.

Капитан взглянул на берег, прищурился и потряс головой, будто сбрасывал сон. Потом снова взглянул на берег.

— Что за лавочка? — пробормотал он и вдруг крикнул Плотникову: — Гляди на берег, видишь?

Впереди были огни, унылый и плоский берег, горы отступили в глубь страны, и капитан узнал вчерашний духан, где ему посоветовали сговориться с прохвостом Абакяном.

— Очемчиры! — проревел он и толкнул Абакяна. Тот вско-

чил.— Очемчиры, бей тебя гробовой доской! Что у тебя, руль заклинило, паскуда?

— Заснул немножко,— залопотал Абакян.— Руль взял на борт, ай, какая ошибка вышла, ай, ошибка!

Пока капитан и Плотников спали, «Ошибка революции» сделала гигантский круг по морю и снова подходила к Очемчирам. Капитан, зная себя, сдержал бешенство, подступившее к горлу.

— Ну, погоди,— сказал он глухо Абакяну.— Недолго ты проплаваешь на своей «Ошибке», барахольщик. Я заявлю начальнику порта.

— Что я могу делать,— ответил Абакян.— Я тоже человек.

Он перехитрил капитана. Капитан и Плотников нашли извозчика и уехали. Абакян сидел в духане и повизгивал от хохота. Безакцизный табак мирно лежал за обшивкой.

В Сухуме капитан узнал, что Виттоль уехал в Батум вечерним пароходом. Он выругался, замолк, а через день уехал вслед за Виттолем на «Рылееве». Море было свежее. Шла серая пенистая волна, и это успокоило капитана. Но все же, прощаясь с Плотниковым, он сказал:

— Ну и чертова страна! Ты плюнь, уезжай отсюда.

В жарком камбузе он достал чашку крепкого кофе, вдохнул запах машинного масла, угля и просмоленной палубы, поглядел, как волна моет черные грязные борта, и почувствовал себя дома.

СЛУЧАЙ В МЕБЛИРОВАННЫХ КОМНАТАХ «ЗАНТЭ»



М жизнь черноморского грека слагается из несложных вещей: четок, фаршированного перца, торговли рыбой и лимонами, тучной жены и гамливых детей.

Сиригос, содержатель мебелированных комнат «Зантэ», керченский грек, ел фаршированный перец, торговал рыбой и с хвастливостью парфянина называл свою гостиницу не «Зантэ», а «Гран-Отел» (без мягкого знака).

Сиригос был легкомыслен и кипуч. По вечерам он ходил в кино со знакомыми работницами с табачной фабрики, бывшей Месаксуди. Батурина, жившему в «Зантэ», это было хорошо

известно, так как мадам Сиригос — еврейка из Геническа — неоднократно кричала внизу, в кухмистерской, служанкам:

— Слушайте, девушки! Разве же можно честной женщине жить с пиндосом? Это не люди, а вылитые жулики. Вот мой, несмотря что имеет четырех детей, гуляет с барышнями, как последний. Тьфу!

Она плевала под стол, колыхая на могучем животе засаленный капот. Она вспоминала шелковые чулки, подаренные Сиригосом какой-то Глаше, и говорила злорадно:

— Ну ничего. Когда-нибудь таманские хлопцы налупят ему морду и отучат от этих паскудств!

Пыльные сумерки Керчи, тот час, когда в номере Батурина сама по себе зажигалась электрическая лампочка, были наполнены грохотом этих речей. Во дворе худые татарские лошади с хрупом жевали овес. Батурин, обливаясь теплой водой из крана, думал, что лучшее время в Керчи — ранний вечер.

Есть города, похожие на сон. Такова была Керчь. Тысячелетняя пыль лежала на ее мостовых. Дули ветры, шелуша сухие акации на бульваре. Ночи были так же пустынно и печальны, как дни.

Батурин быстро слабел. Часами он лежал на скрипучей кровати, глядя на лысую, как могила, гору Митридат, и думал о Вале. Сизый степной вечер опускался на город тяжело и тихо.

По ночам Батурин просыпался и плакал. Казалось, нет в мире ничего тяжелее и удушливее этих слез. Он чувствовал, что у него ржавеет сердце. Мысли его были сплошным безмолвным воплем о нелепости смерти.

Город — простой и маленький — представлялся ему сложнейшим узлом кривых переулков, лестниц и дворов. Часто он не находил дорогу к Сиригосу, путался по базару и по несколько раз проходил через один и тот же перекресток, вызывая недоумение у чистильщика сапог.

Старость тяготела над Керчью, стоявшей на скифских могилах. Портовые склады, сожженные деникинцами, глядели на пролив гигантскими черепами. В них жили бродячие псы и беспризорные, а по ночам уныло подвывал норд-ост.

Батурин выходил по ночам и шел к складам. Против них о выщербленную набережную билось море. Он сидел до утра на камнях; мысли дрожали в голове, как вода, и Батурин с горечью думал, что это — начало психической болезни.

Черный пролив монотонно гудел; город помаргивал в ночь желтыми огнями. Изредка с юга доносился неясный, простой запах соли и свежей ночи.

Батурин дрожащими пальцами закуривал папиросу за папирсой. Беспризорные быстро привыкли к нему, выползали из складов и выпрашивали «бычки». Ночью они были суровы и печальны, днем же, на базаре, Батурин их не узнавал. Ночью они молчали, поеживаясь; иногда сидели рядом с Батуриным

серой кучей тряпья и шептались. Он улавливал в этом шепоте неясные мечты о Крыме, о солнце, водке и женщинах. Его они не трогали,— казалось, понимали, что с ним происходит.

Только один раз беспризорный, по прозвищу «Червонец», сказал ему:

— Вы, дядя, бросьте убиваться. Хотите, я вам марафету достану?

Батурин отказался и дал ему три рубля. С тех пор Червонец каждую ночь выходил и сидел рядом с Батуриным. Днем на улицах он прятался от Батурина и издали виновато улыбался. Волосы его торчали ежом, и улыбка казалась ослепительной на сером от грязи, сморщенном лице.

В одну из ночей у склада Батурин вспомнил о Пиррисоне. Он давно бросил поиски. Они казались нелепыми после того, что случилось. В эту ночь к нему пришла та же мысль, что в Бердянске.

— Я убью Пиррисона,— сказал он и вздрогнул.— Я найду его во что бы то ни стало. Их надо уничтожать.

Под словом «их» он понимал практичных, насвистывающих мужчин, самомнительных и наглых маклаков, делающих деньги, толкающихся на улицах, берущих на ночь женщин и комкающих их, как дрянную бумажонку. С этой ночи Батурин заледенел, мысли стали четкими, твердыми. Утром он написал письмо капитану и начал действовать.

Он был уверен, что Нелидова в Керчи. Часто у него бывало такое чувство, что вот только что она прошла по улице, и, не опоздай он на секунду, он бы встретил ее.

Были дни шторма. Казалось, над городом прошел серный ливень: так он был сожжен и печален. Глаза воспалялись от известковой пыли. С плеском накатывался мутный исполинский пролив; ржавые флюгера визжали и согласно показывали на норд-ост. По утрам на игрушечном базаре Батурин пил молоко и смотрел на генеральских вдов. Они продавали простые и душистые букеты. Батурин ни разу не видел, чтобы эти букеты кто-нибудь покупал. Старухи страдали, очевидно, тихим безумием. Они сидели молча, покачивая под слюдяным небом пыльный стеклярус старомодных шляп, и кропили букеты — астры, левкой и желтые розы — теплой водицей из граненых стаканов.

Батурин изучил весь город, особенно улицы около порта. Тучные голуби, переваливаясь, как старые гречанки, клевали на мостовой ячмень. Он исходил окраины, залитые помоями,— вентиляторы ситцевого тряпья и матросских роб.

В минуты отчаянья он уходил к горам, где солнце бельмом томилось над землей и звенел от ветра сухой чертополох.

Он завел дружбу с рестораторами, с торговками, поившими его молоком, с папиросниками. Это были люди, с которыми должен был встретиться каждый, кто живет в Керчи. Он выдумал новую трогательную историю о пропавшей жене. Он

передавал им приметы Нелидовой, говорил о легкой походке, темных глазах, низком голосе, серебряном браслете на руке и всячески подстегивал их память, медлительную, как грузные барки.

Батурин боялся, что Нелидова совсем не такая, какой он ее представлял. При разговорах о ней он часто ловил себя на мысли, что образ Нелидовой совсем не тот, каким был раньше, что Нелидова в его воображении все больше становится похожей на Валу. Это его пугало. Возможность найти Нелидову отодвигалась.

По вечерам мадам Сиригос кричала своему олувному мужу: — Вот посмотри на жильца из пятого номера. Это настоящий человек, не то, что ты, бабник! Он два года ищет свою женщину. Таким людям я всегда делаю уважение.— И она присылала Батурина фаршированные кислые помидоры.

Шторм прошел. Дни влеклись жаркой и донельзя тоскливой чередой. Не успевал уйти один, как в окна вползал вместе с запахом кухонного чада другой,— такой же бесплодный и беслый.

В один из таких дней Батурина осенило: он выбежал на улицу, прыгая через пять ступеней, пошел в редакцию «Красной Керчи» и сдал объявление:

«Всех знающих о судьбе американского киноартиста Гаррисона (сначала Батурин написал Пиррисона, потом зачеркнул и написал «Гаррисона»), приехавшего в Россию в 1923 г., прошу сообщить по адресу: меблированные комнаты «Зантэ», комната 5, от 7 до 8 час. вечера».

Принимал у него объявление маленький человечек с серыми веселыми глазами.

Ночью Батурин пошел в подозрительное «заведение Мурабова», пил коньяк, пахнувший клопами, и ждал рассвета. Тоска его достигла небывалой остроты. Он ощущал ее, как физическую боль, как астму,— ему трудно было дышать. Пьяная и некрасивая девушка поцеловала его в щеку, испачкав губной помадой. Батурин не вытер щеку.

Глаза его сузились, стук бутылок и ветер за окнами вызвали ощущение быстроты, приближения чуда,— он оглянулся. Он ждал, что откроется дверь, войдет Валя, как в пивной в Ростове, и скажет грозно и нежно: «Вот вы какой».

Батурин быстро встал и вышел. Одна из девушек, цыганка, вышла за ним и, прижимаясь к нему, дыша чесноком и наигранной страстью, шептала:

— Почему ты никого не взял? Такой красивый, иди со мной, жалеть не будешь.

— Уйди...— тихо сказал Батурин и остановился.— Уйди — убью...

Цыганка отскочила и скверно выругалась.

Из домов сочился затхлый запах сна. Воздух облипал лицо

жидким клеем. Батурин прошел по выветренной лестнице на гору Митридат и лег на камнях.

Над Таманью синели туман и заря. Казалось, там шел ливень. Звезды горели, как фонари, погруженные в воду,— вода текла, и свет звезд колебался в этой небесной реке. В диких горах облаками нагромождался предрассветный дым.

Батурин привстал: холодная медь первых лучей ударила наискось в глаза, на портал храма, на желтые керченские камни.

Внезапно он ощутил тоску, которую был не в силах даже осознать,— скорбь о бронзовых героях и мраморных богинях, о городах, высеченных из розового камня, о радости, простой, как крик птицы, как утренняя вода из колодца. Батурин, качаясь, пошел вниз.

Догорали маяки. Он представил себе, как мимо них проходят ржавые пароходы, скрывая в трюмах ром и красный табак, копру и апельсины, канадскую пшеницу и какао. Идут из морей в моря, от вязких тропиков к белым стекляшкам северных звезд, от болотистых вод Азова в ночь Африки — блестящую черным лаком, непроглядную ночь, замкнутую в кольцо жары. Идут, шумя винтами, и исчезают в дикой зелени вод, в странах, иссушающих русые волосы и сгущающих северную лимонадную кровь.

«Она должна была видеть все,— подумал он и вспомнил Соловейчика и Маню.— Если не найду Пиррисона, вернусь к ним... там будет видно...»

Днем он уснул; во сне болела голова. В сумерки его разбудили вопли мадам Сиригос. Глаша пришла в кухмистерскую пить пиво с матросами, и мадам Сиригос сводила старые счеты.

— Бросьте, мамаша,— успокоительно гудел матросский голос,— не заводитесь с девочкой, она вас все одно переплюет.

— Вон, мерзавка! — гремела мадам Сиригос.— Вон с заведенья, паскуда!

— Уймьтесь вы! — кричал второй матрос и колотил бутылкой по столу.— Уймьтесь, бо я не знаю, што я с вами, с двумя, сделаю.

На улице свистели, и, судя по крику мальчишек и гулу толпы, неумолимый милиционер Коста приближался к кухмистерской.

Батурин встал, облился водой, долго рассматривал свои крепкие руки и усмехнулся:

— Кому они нужны?

Он сел на подоконник и смотрел на город. Как всегда, сама по себе зажглась электрическая лампочка. На рейде сиял огнями пассажирский пароход из Батума. Рыболовы зажгли на пристанях тусклые фонари. Подходила очередная ночь. Батурин разорвал на мелкие клочки полученную утром телеграмму капитана о «женитьбе на Нелидовой».

— Старая дворянка,— обозвал он капитана, прислонился

лбом к косяку и задумался. Задумчивость эта была, скорей, оцепенением,— он не услышал стука в дверь. Стук повторился.

Батурин нехотя открыл. Тонкий силуэт женщины обрисовался на исписанной похабщиной стене. Она подняла глаза на Батурина, и он отступил. В темных этих глазах была брезгливая враждебность.

— Простите,— Батурин узнал ее низкий голос,— это вы ищите артиста Гаррисона?

— Да.

Она снова взглянула на Батурина, и на этот раз он заметил в ее глазах легкое смятение, потом вопрос. Батурин закурил и стал спиной к свету.

— В газете напутали. Я ищу не Гаррисона, а Пиррисона.

Того, что случилось, Батурин не ожидал. Он услышал крик, бросился к женщине и поддержал за спину. Мертво и страшно она свалилась на край кровати, руки ее свисали вниз, на одной из них Батурин увидел приметку — серебряный браслет. Он поднял ее лицо и одну секунду пристально разглядывал: оно было холодное и белое, как у мраморных богинь, о которых он думал утром. Он налил в стакан желтоватой воды из графина. Из него перед этим, видимо, пили водку: вода пахла спиртом. Зубы женщины стучали. Батурин заставил ее выпить несколько глотков.

— Прекратите бузу, граждане! — кричал внизу милиционер Коста.— Я тебе покажу хватать, идем в район!

— Как душно.— Нелидова открыла глаза, в них стояли слезы.— Даже голова закружилась. Если вам все равно, пойдете к морю.

Они вышли. В кухмистерской было уже пусто, во дворе гармоника запутывала сложные лады. Шли молча. Молчанье было шумное от множества мыслей. Старухи протягивали букеты оживших к вечеру цветов и шептали:

— Возьмите для красавицы, молодой человек.

— Прежде всего скажите, кто вы и почему вы ищите Пиррисона?

Этот вопрос прозвучал как приказ. Батурин молчал.

— Ну, что же?

— В древней Греции я был бы героем,— ответил он с плохо сдерживаемой злобой,— а здесь я никто. У меня нет профессии. Я даже не знаю, сколько разрядов в тарифной сетке. Сейчас я — самоубийца. Вам этого достаточно?

Батурин услышал сдержанный смех.

— Бросьте дурить. Вы не похожи на самоубийцу. Почему вы ищите Пиррисона?

— Это занятие мне по душе. Я думал так, когда согласился его искать. Теперь я думаю иначе. Я ищу Пиррисона по поручению инженера Симбирцева.

— Кроме Пиррисона. он никого не поручал вам искать?

Батурин молчал. Он решил, что не надо скрываться, иначе провалится весь его план.

— Вы слышите? — Она тронула его за рукав. — Что же, вы не хотите отвечать?

— Я ищу Пиррисона и вас.

— Это подло! — сказала она резко.

Они остановились на пристани. Спазмы душили ее, она не могла говорить. Батурин насмешливо посмотрел на нее и заметил длинные ресницы.

«Как у Вали», — подумал он и пристально взгляделся в ее лицо. Оно было измучено, неумная боль стояла в глазах. Батурин подумал, что вот эта женщина — жена Пиррисона, и вздрогнул от отвращения, от жалости, от мысли, что ее ждет, может быть, судьба Вали.

Старики с фонарями безмолвно удили бычков и сиреневую розмаринку. Чугунный маяк позванивал от вертевшегося фонаря, и то вырывался, то падал во тьму кузов турецкой барки.

— Это подло! — повторила она и отвернулась. — Это сусак! Как он смеет врываться в чужую жизнь! Как смеете вы...

«Ростислав» и «Алмаз» за республику,
Наш девиз боевой — резать публику,—

орали на пристани мальчишки.

— Давайте договоримся, — сказал Батурин резко. — Ни Пиррисон, ни вы мне не нужны. Ни мне, ни Симбирцеву, ни двум моим товарищам, которые ищут вместе со мной, — один на Кавказе, другой в Севастополе. В вашу жизнь никто не врывается. Мы ищем дневник вашего брата. Вы сами понимаете, что такая вещь не может быть частной собственностью. Вот и все. Я не сыщик.

Батурин закурил; при свете спички она мельком взглянула на него.

— Я не сыщик, — повторил он и поморщился. — Вы зря хотите обидеть меня. Эти поиски стоили мне дорого, они переломили мою жизнь (Батурин покраснел). Раньше я был пуст и скучен. Я был болен вялостью и отсутствием дерзости. Теперь не то. После того, что я испытал, никакими словами вам не удастся унижить меня.

— Что же случилось? — почти испуганно спросила она. — Я не понимаю. Договаривайте до конца.

— То, что случилось, к делу не относится. Дневник у вас?

— Нет.

— Где же он?

— У Пиррисона.

Батурин быстро повернулся к ней.

— Да, у него, — повторила Нелидова тихо.

— Где сейчас Пиррисон?

— Я не знаю.

— Не знаете? Хорошо. Так или иначе, мы его найдем. След в наших руках.

От моря тянуло неуловимым запахом ночи.

— Я сказал вам все. А что вы можете сказать мне? Я шпион, я действую подло — ладно! Пиррисона вы, кажется, ищите так же, как и я. У нас разные цели, но задача одна. Мне по-счастливилось, и я нашел вас. Что же дальше? Вы согласны помочь нам или нет? Вы многое знаете о Пиррисоне, — если вы поможете, он будет найден быстро и все окончится, как в добродетельных американских фильмах: мы отберем у него дневник, а вы...

— А я?

— Вам вернут мужа.

Батурин был груб. В первый раз он так резко и не скрываясь говорил с женщиной. Он ждал дерзости и, как всегда, ошибся.

Нелидова молчала.

— Я жду. Если вместе — будем действовать; если нет — мы будем искать сами, как искали до сих пор. Конечно, когда Пиррисон будет найден, мы вас известим.

— А если я не соглашусь, что вы будете делать?

— Первым парохом я уеду.

— Бросим играть в прятки. — Нелидова встала, глаза ее блестели в темноте. — Слова о сыске не относились к вам. Вы грубы, это естественно. Вы говорите, что поиски переломили вашу жизнь. Переломы даются трудно, но согласитесь, что я здесь ни при чем.

— Вы многого не знаете, — вырвалось у Батурина.

— Возможно. Не будем спорить. Сейчас я ничего вам не отвечу. Лучше завтра. Я даже плохо понимаю, что вы говорите. Ведь у меня же был обморок; неужели так трудно понять, как я разбита!

Батурин покраснел: он ждал дерзости и услышал почти мольбу.

— Ну, не сердитесь, — она взяла Батурина за руку. — Отложим до завтра. Проводите меня, я покажу вам, где я живу.

Жила она на горе, далеко от порта. По дороге Нелидова украдкой разглядывала Батурина. Он нервно курил, свет папиросы освещал его лицо, и оно казалось то молодым и печальным, то резким и суровым.

На рейде прогудел парохом. Из садов пахло политой землей. Около базара к Батурину подошел Червонец, попросил папироску и прошел немного рядом, перекидываясь с Батуриным короткими фразами.

— Что ж давно не приходишь? — спросил Червонец с упреком. — Ты, гляди, нас не бросай.

— Ладно, приду.

Нелидова остановилась у маленького сада. Она просунула

руку сквозь решетку калитки, чтобы отодвинуть засов, и у нее расстегнулся и упал браслет. Серебряный, короткий звон напомнил Батурину те дни, когда он искал женскую руку с этим браслетом, жаркие месяцы среди пыли, моря, степей и кофеен

Он нагнулся, чтобы поднять браслет, и в темноте их пальцы встретились. Ее рука дрожала.

— Вы усгали, — Батурин открыл калитку. — Правда, странно — кабачок в Альпах и пыльная Керчь?

Несколько мгновений она молчала.

— Вы придете завтра вечером, — твердо сказала она. — Я хотела сказагь вам.. мы будем искать вместе. Я согласна.

Голос у нее дрогнул от невидной в темноте улыбки.

— Завтра вы расскажете то, что недоговорили сегодня!

— Вряд ли.

Батурин шел к Сиригосу. Сознание было затоплено прозрачной темнотой. Он думал, стыдясь своей мысли, что расскажет Нелидовой все, и ему станет легче. Впервые он понял, как горько жить без друзей.

«Так вот шатаешься один и наскочишь на смерть».

Ему снились дикие керченские камни. По ним бежала прозрачная вода, она пахла простыми цветами, и старухи протягивали ему грашеные стаканы с этой водой и шептали:

— Куннге на счастье, молодой человек!

БЕЗЗАБОТНЫЙ ПОПУТЧИК



утра дул белый (так казалось Батурину) и сырой ветер. Перепадали тихие дожди. Батурин шел на пристань: пришла телеграмма от Берга, что он придет с первым пароходом.

На пристани горами было навалено прессованное сено, пахло лугами, под настилом урчала мыльная вода. Керчь под дождем понравилась Батурину, — в чистых лужах плавали листья, неизмеримая морская свежесть залила город.

На рейде дымил грязный пароход, давая нетерпеливые гудки. Батурин вскочил на катер. Катер, выплевывая грязную воду и высоко поднимая нос, пошел к пароходу. Сразу ушла теснота. Рейд открылся исполинским озером, направо за мысом зеленело Черное море. На катере к Батурину подсел маленький

человек с серыми веселыми глазами,— тот самый, что принимал объявление в «Красной Керчи».

— Уезжаете? — спросил он Батурина, как старого приятеля, придерживая от ветра зеленую фетровую шляпу.

— Нет, товарища встречаю.

— А я за новостями для газеты. Я и репортер, и корректор, и фельетонист, и все, что хотите. Капитаны у меня знакомые. Иной даже иностранную газету даст — и то хлеб. Ну как, пошли вы киноартиста?

— Да, почти ..

Человечек взглянул на Батурина и расхохотался

— Чудак-покойник! Что за охота разыскивать американцев

Катер проскочил около высокой кормы парохода,— это был «Пестель». Волна мыла красный ржавый руль. Берг висел на планшире и махал кепкой.

Он спустился по трапу в катер, расцеловался с Батуриным и, пока катер мотало у борта, успел рассказать свою одесскую историю. В Севастополе он ничего не нашел, поиздержался. Одно время питался сельтерской водой и вафлями. Потом начал писать очерки для «Маяка Коммуны» и даже привез с собой шесть червонцев.

— А я,— сказал Батурин,— нашел здесь Нелидову. У нее нет дневника. Он у Пиррисона. Где Пиррисон — неизвестно. Я еще толком с ней не говорил.

Берг обрадовался.

— Вы говорите так, будто нашли трамвайный билет. Чудак. Теперь четвером мы отыщем его в два счета.

Берг расспросил о Нелидовой, внимательно посмотрел на Батурина

— Болели?

— Да, болею...— неохотно ответил Батурин — Малярия

Человечек с серыми глазами снова подсел к Батурину, назвал себя. Фамилия его была громкая — Глан.

На обратном пути он слушал Берга и Батурина и изредка вставлял слова,— всегда кстаги. На берегу, когда Берг с Батуриным сели на извозчика, он сел с ними, и это оказалось естественным. Берг, очевидно, считал его знакомым Батурина и не скрываясь говорил о поисках, новых «гениальных» планах и неудачах. У Батурина же было ощущение, что Глан — свой человек.

Около «Зантэ» Глан попрощался с ними, обещал зайти перед вечером и убежал, развеивая полы дырявого пальто.

В номере Берг сказал Батурину:

— Чудесный город. Пустынный, весь в море, в греках, в камнях. Тут материалу бездна!

Батурин улыбнулся и поймал себя на мысли, что со вчерашнего дня, а особенно сегодня, когда приехал Берг, город потерял свою былую больничную мертвенность.

Берг внес веселую суету. Он рассказал несколько нелепых историй, через полчаса познакомился с мадам Сиригос и вызвал у нее большую симпатию познаниями по части еврейской кухни. С сизого ее лица не сползала лоснящаяся улыбка.

К вечеру пришел Глан и предложил пойти выпить пива. Батурин отказался. Он сказал Бергу, что сегодня пойдет к Нелидовой один, а его познакомит завтра,— так удобнее.

— Да ведь она сегодня играет в «Потопе»,— сказал Глан.— Куда же вы к ней пойдете?

Батурин вспомнил, что Нелидова звала его к десяти часам, но все же отказался остаться. Он решил пойти в театр.

— Ну, черт с вами,— сказал Берг.— Идите. А я пойду с Гланом по пивным. Вот где должна быть бездна материала.

В пивной «Босфор» они сели под портретом лейтенанта Шмидта. В мокрых сумерках зажгли огни,— они казались особенно прозрачными и желтыми, как первые свечи на рождественской елке.

Глан был бродяга. Сумрак пивной и тишина сырого вечера располагали к разговорам. Он рассказал Бергу свою жизнь.

Родился он в Западном крае в русско-еврейской семье. Во время войны его сослали на поселение в Нерчинск за студенческие беспорядки. После революции он жил на Дальнем Востоке, работал кочегаром на паровозе, дрался с японцами и бежал от них на Сахалин. Оттуда он пробрался в Шанхай, там голодал и грузил рис на вонючие пароходы. В Шанхае он случайно отравился опиумом, пролежал два месяца в скучном французском лазарете, влюбился в сиделку-француженку. Ей об этом он не сказал и вот так, без всяких причин, нагло себе уехал из Шанхая в Харбин. Потом долго скитался по России.

— Больше трех месяцев я нигде не жил,— сказал Глан,— не могу. Сосет под ложечкой.

Обезьянье его лицо с добрыми морщинками около глаз чем-то напоминало Бергу Пушкина.

Глан был пугливо-деликатен и загорался и гас с необычайной быстротой. Он знал наизусть многие стихи Блока, увлекался Гюго и с редкой быстротой перескакивал в своих рассказах от Арзамаса, где чудесно мочат яблоки с клюквой, к Самарканду, голубому от мечетей и рыжему от засухи.

Разговор с ним вызывал впечатление, какое получается при разглядывании вещей через граненый хрустальный сосуд при ярком солнце. Линии смещаются, контуры очерчены спектральными полосами, земля горит оранжевым пламенем, а люди приобретают отчетливые и смуглые краски, как на картинах старых мастеров.

Берг с изумлением узнал, что Глан только сегодня познакомился с Батуриным и понятия не имеет об истории поисков. Историю эту Глан выслушал настороженно.

— Возьмите меня с собой. У меня есть полтораста рублей. Как вы думаете, месяца на два хватит?

Берг усмехнулся.

— Хватит, конечно. Надо будет написать капитану.

Пока между Бергом и Гланом шла беседа в пивной, Батурин сидел в театре. Театр был душный и тесный, почти пустой. Батурин сидел задумавшись и не глядел на сцену. Нелидовой еще не было. Она играла проститутку Лизи.

Когда Лизи вошла в бар, Батурин сжался, прикрыл лицо рукой, — ему не хотелось, чтобы она увидела его. Тягучая топорность провинциального спектакля приобрела с ее появлением печальную остроту. Нелидова играла просто, как бы устало. Батурин отнял руку от лица, откинулся и следил за каждым ее движением. Кровь ударила ему в голову, он скрипнул зубами и прошептал:

— Черт...

Это было похоже на странную насмешку. Лизи была Валею. В ней, как и в Вале, для рядовой проститутки было слишком много теплоты и боли. Та же легкая походка, так же косо и четко срезаны волосы на щеке. Так же робко, как Валя — Батурина, она взяла за руку маклака Бира, румяного негодяя со скрипучим портфелем. Бир был Пиррисоном.

В антракте Батурин вышел на улицу и курил, прислонившись к фонарному столбу. Он хотел уйти, но после звонка вернулся в зал.

До конца спектакля он сидел с каменным, побледневшим лицом. Однажды Нелидова посмотрела в его сторону и, казалось, узнала: она уронила горящую папиросу и прижала ее каблуком лаковой туфли.

После спектакля Батурин пошел к морю и выкупался с пристани. Ему хотелось еще большей свежести, почти холода. Казалось, что из него выветривается длительная болезнь, очищается застоявшаяся тяжелая кровь.

Из порта он пошел к Нелидовой. Несколько раз он про себя позвал Валю, и прежняя черная тяжесть сменилась легкими слезами. Батурин сдержал их, глотнул воздух. Он не мог понять, что с ним происходит. Боль очищалась от мути. Широкая печаль залила сердце, и он подумал, как много в мире обиды, невысказанной тоски и гнева. Валя была с ним, казалось, он держал ее узкую ладонь. Она говорила ему, что все пройдет и стоит жить, чтобы щуриться от ослепительного солнца.

Он открыл чугунную калитку. В окне был слабый свет, ветер надувал занавески. Батурин хотел окликнуть Нелидову, но вспомнил, что не знает ее имени. Он постучал о раму окна. Нелидова отдернула занавеску, наклонилась и несколько секунд смотрела на него.

— Я жду давно, — сказала она, и Батурин заметил ее сухие и яркие губы. — Входите.

В комнате было тесно и странно; она напоминала кладовую антиквара. Свет лампы падал желтыми полосами на яркие старые шали, на мятый шелк и разбросанные всюду книги.

Нелидова села в тени на диване. Батурин — на подоконнике. Он отодвинул стакан с осыпавшимися цветами. Они пахли гниением, желтой, застоявшейся водой.

— Как душно,— медленно сказал Батурин, разглядывая свои темные от загара руки.— Я только что купался в море. Жаль, что люди не могут менять кожу, как змеи... У меня желание содрать с себя кожу и вымыть легкие, сердце, мозги холодной водой. Понимаете, такой нарастающий внутренний жар. Его очень трудно терпеть...

Он говорил как бы для себя, забыв, что он не один. Голос его звучал глухо, он часто останавливался и задумывался. Нелидова сидела неподвижно.

— Но дело не в этом,— продолжал Батурин.— Рано еще подводить итог. Его подведем не мы, а помните, как у Киплинга,— смерть, когда вычеркнет нас красным карандашом из списка живых. Киплинг писал прекрасные баллады — я помню одну: о человеке, попавшем в ад. Там сказано так:

И Гамильсон взглянул вперед
И увидал в ночи
Звезды, замученной в аду,
Кровавые лучи
И Гамильсон взглянул назад
И увидал сквозь бред
Звезды, замученной в аду,
Молочно-белый свет

— Да... вот.— Батурин не отрывал глаз от своих рук.— Читаешь сотни книг — и вдруг будто горячий ветер ударит в голову. Так и теперь. Я ничего не читал страшнее этих строчек. Я повторяю их часто и вспоминаю о ней... «Звезды, замученной в аду, молочно-белый свет...» В этих словах есть большая горечь. Они человечны, эти слова, они разрывают сердце. Нельзя говорить о сентиментальности, как думает Берг. Я — не немецкая бонна. Я пережил все это. И Киплинг был совсем не сентиментальный британец, — он был крепкий, черствый, он воспевал войну и диких зверей. Но не в этом дело. Случилось так, что в полчаса с землей, с людьми, со всего дуло налет романтики.

Батурин не думал, поймет ли Нелидова его спуганную речь. Он постучал пальцами по стакану с цветами. На подоконник упало несколько желтых лепестков. Батурин собрал их, положил на ладонь и долго рассматривал.

— Случилось это в Бердянске. Какой-то китаец ударил в висок утюгом — на виске у нее билась тонкая вена, и все... Во время войны я не понимал и не оправдывал убийств. Теперь я думаю иначе. Есть среди людей прослойки, которые должны быть уничтожены. Прежде всего те, кто плюет на культуру,

на труд, на материнство, на женщин. Человек с рефлексом вместо души, человек плотоядный, зараженный эгоцентризмом, должен быть уничтожен. Посмотрим, кто пересилит. Мы сильны своим гневом и непримиримостью, они — жадностью и волосатым кулаком.

Батури́н сду́нул лепестки.

— Для меня многое неясно. Я не знаю, как это выйдет и смогу ли я убить. Думаю, что да. Возможно, что после этого я убью себя, — он виновато улыбнулся, — я очень слаб, во мне нет жестокости ..

Батури́н взглянул на Нелидову, будто проснулся

— Вот вы... — сказал он тихо. — Вот вы Жена Пиррисона. Вы знаете, что все, о чем я говорил, относится к нему?

Нелидова молчала.

— Не хотите отвечать? Это понятно. Может быть, я говорил неясно. Вы вправе сейчас же заставить меня уйти или наговорить мне кучу злых слов, — дело, конечно, не в этом. Три месяца назад я бы этого не сказал — так я был спокоен и противен себе. Казалось, все вытекло из души, как вода из дырявого бака. Оказалось — не так. Я начал поиски. Были разные встречи. В Ростове я встретил проститутку Валу, о ней я не могу ничего рассказать, не стоит и пробовать, ничего не выйдет .. Ее убил в Бердянске китаец, — Батури́н встал и оперся на подокошник, китаец-прачка родом из Фучжоу. Труп ее лежал в прачечной и был покрыт простыней. .

Батури́н сделал шаг к Нелидовой.

— Простыней, — быстро повторил он, задыхаясь, — и на простыне были вышиты слова «Георг Пиррисон».

Нелидова вскочила. Мучительная морщина легла у нее на лбу.

— Что вы говорите, вы — сумасшедший, — прошептала она

— Она была прекрасна, — сказал Батури́н и тяжело сел на подокошник. — Китайца звали Ли Ван

— Замолчите, не может быть! — крикнула Нелидова — Я думала, вы бредите, пока вы не назвали Ли Вана. Это наш бывший слуга, он жил у нас полгода в Москве, потом уехал. Ли Ван убил! Я не могу понять этого. Ласковый, тихий Ли Ван

— К черту Ли Вана! — Батури́н поморщился — Я должен окончить. Ли Ван, слуга Пиррисона, убил ее. Перед этим она два раза травилась из-за Пиррисона. Не смейте кричать. У меня больше права кричать. Я буду кричать, если на то пошло, Батури́н повысил голос. — Она два раза травилась из-за Пиррисона, когда он был в Ростове. Почему? Да потому, что он ее замучил, он привык все, за что платит, использовать до конца. Я распутаю этот узел, даже если бы это стоило мне жизни. Я не болтаю пустые слова, вы сами видите

— Что вы хотите сделать?

— Я убью Пиррисона

— Нет,— крикнула Нелидова,— не трогайте его! Вы его не знаете. Он убьет вас прежде, чем вы пошевелитесь.

Батурин засмеялся:

— Он уже убил меня, не волнуйтесь. Таких людей необходимо уничтожать.

Нелидова сказала шепотом, от которого Батурин вздрогнул:

— Зачем вы говорите так? А если он убьет вас? Даже этот палец ваш не заслуживает смерти.

Батурин пристально поглядел в ее лицо.

— Вы бредите,— сказал он,— где вы слышали эти пустые слова? Моя игра сделана плохо. Я сорвался. Вы можете донести на меня, меня арестуют, но в конце концов выпустят, и своего я добьюсь.

Нелидова молча опустила на пол. Батурин наклонился к ней. У нее опять был обморок. Он перенес ее на диван и подумал, что два обморока за два дня— это много. Он положил ей на голову мокрое полотенце, снова сел на окно и погрузился в пустое и гулкое оцепенение.

Она пришла в себя через несколько минут, показавшихся Батурину часами, села на диван, легко вздохнула и сказала внятно:

— Я вам могу простить многое... Уходите. Но не уезжайте, не предупредив меня... Вы должны забыть все эти мысли, с такими мыслями нельзя жить. Вот еще... я не успела сказать... Вы уверены, что Пиррисон меня бросил. Это неверно. Я прогнала его еще в Москве и уехала на юг совсем не за ним...

— А зачем же?

— Так...— Нелидова отвернулась и тихо заплакала.— А теперь идите.

Батурин вышел. Синий рассвет был протянут полосой над Таманью. В темных ветвях возились птицы.

Утром принесли телеграмму от капитана. «Пиррисон в Батуме,— сообщал капитан.— Выезжайте немедленно, справьтесь в Батуме во второй типографии метранпажа Зарембы».

Берг недовольно выслушал рассказ Батурина о том, что с Нелидовой он так и не договорился.

— Не волнуйте,— сказал Берг.— Завтра надо ехать и обязательно взять ее с собой. Попробуйте поговорить еще раз.

Батурин согласился. Он пошел к ней, но не застал дома,— она была в театре. Батурин пошел в театр. Там было темно и пахло пылью. Он вызвал Нелидову в сумрачное фойе.

— Елена Владимировна,— сказал Батурин (он вспомнил наконец ее имя).— Я пришел за ответом. Завтра я уезжаю. Приехал еще один из искателей, мой друг, писатель Берг. Сегодня утром мы получили от третьего искателя, капитана Кравченко, телеграмму из Батума. Он требует, чтобы мы немедленно выезжали. Очевидно, он напал на след Пиррисона.

Мы его найдем, никто нам в этом помешать не сможет. Вы едете с нами?

Нелидова похудела за ночь, глаза ее ввалились.

— Да, еду,— сухо сказала она, стоя против Батурина.— Я уже сообщила директору театра, что разрываю контракт. Когда надо быть готовой?

— Завтра к двенадцати часам.

— Хорошо. Я приеду на пристань.

— Я заеду за вами.

— Не надо, я не убегу.

Она повернулась и пошла по темному коридору. Черное короткое платье переливалось серым, будто было покрыто полосами светящейся пыли. Батурин закурил, посмотрел на дородных женщин и поджарых амуров, нарисованных на стенах, и сказал тихо: «Ну ладно, раз так, тем лучше»,— и вышел из театра. В номере он сказал Бергу:

— Она едет с нами, но не забывайте, что она — враг. Держитесь осторожней. Пиррисона она прогнала, но мне кажется, она до сих пор его любит. Похоже, что она едет больше за тем, чтобы оградить его от неприятностей.

— Не подгадим,— ответил Берг.— Да... Вот еще один искатель навязался — Глан. Просится, чтобы взять его с собой. Вы как думаете?

— Пусть едет. Нам же легче.

Берг помолчал.

— Вы думаете, что с Пиррисоном могут быть неприятности?

— Да. Это опасный человек. Я кое-что узнал о нем

— Расскажите?

— Да, потом...

Утром Берг побежал в агентство и взял билеты,— всем палубные, а Нелидовой койку в каюте. На пристань пошли пешком. Глан связал ремнем чемоданы и взвалил на плечи. Утро было свежее, по горизонту лежала мгла.

— Заштормуем,— сказал Берг возбужденно.— Покачаемся, Глан. Смотрите: кажется, норд идет.

На пристани их ждала Нелидова. Она стояла около двух блестящих желтых чемоданов. Ветер дул ей в лицо. Она спокойно посмотрела на Батурина. Сухие и яркие ее губы были плотно сжаты. Батурина она протянула узкую руку в перчатке, Бергу и Глану только кивнула.

Снова Батурин, стоя с ней рядом в ожидании катера и перекидываясь пустыми словами, вспомнил о холодных и мраморных лицах древних богинь.

— Будет шторм,— сказал Батурин.— Видите: мгла по горизонту:

— Ну что ж, тем лучше.

Глаза Нелидовой блеснули.

— Кто это? — Она показала глазами на Берга и Глана.

— Это Берг. А это так... попутчик.

— Однако вас много...

Батурин промолчал. Он помог ей спуститься в катер. У него было такое чувство, что он везет арестованную. «Какая чушь»,— подумал он.

Берг с Гланом перетанцили ее чемоданы. На пароходе она ушла в каюту и не выходила до вечера.

Сидя на корме, вытянув ноги и поглядывая на потемневшее море, Берг сказал:

— Похоже, что вы, Батурин, вроде комиссара при знатной иностранке, а мы носильщики. Ну что ж, потерпим. Она красива и не верит нам ни на грош. Какого дьявола она согласилась ехать с нами?

Она хочет видеть Пиррисона,— ответил Глан — Представился удобный случай. Нас она ненавидит. С Батуриным она разговаривает, как Николай говорил с Керенским.

Море свежело. На западе горел кровавый свет. Мрачный дым лежал на востоке.

— Ветер идет,— предупредил матрос, свертывая брезент над деком.

Неуютность вечера, задувавшего изредка в лицо холодными и крепкими порывами, слепые огни парохода в буром мраке, шум волн, скрип снастей и пустынная палуба вызывали беспокойство. На пароходе почти не было пассажиров. В Керчи многие сошли, испугавшись близкого шторма. С Кавказского побережья пришли телеграммы, что бушует шторм в девять баллов и около Туапсе погибло парусное судно.

Спрятавшись за люком на корме, Батурин, Берг и Глан закусили консервами с белым хлебом. Глан принес из камбуза кипяток. Чай казался изумительно вкусным и крепким, ветер и ночь — молодыми. Радовало сознание, что до самого Батума не надо ничего делать, некуда торопиться,— только курить, смотреть на волны, рассказывать разные истории и спать на палубе, укутавшись с головой в пальто.

Пароход уже качало. Он тягуче скрипел, дрожал от вращения винтов и хлопал черной кормой, как гигантской ладонью, по серой волне. Соленые брызги попадали в лицо, и Берг с наслаждением облизывал губы.

Батурин долго стоял, спрятавшись за рубкой, и курил, потом лег рядом с Бергом и спросил тихо:

— Берг, у вас не было сына?

Берг поднялся на локтях, посмотрел на Батурина и ответил

— У меня есть ребенок,— сын или дочь, я не знаю. Почему вы спрашиваете?

Так, подумал о детях. Где это было?

В Ленинграде...— неохотно ответил Берг.— Вы помните: я вам рассказывал о дочери профессора... она ждала ребенка от меня. Я тогда недорассказал...

— И вы ее бросили?

— Да,— ответил, поперхнувшись, Берг, сел и закурил. Спички гасли одна за другой.

Пароход вскинуло, он косо пополз вниз. На мостике зашвистели.

— Начинается,— пробормотал Берг.— Попали в шторм, поздравляю. Бросим говорить о прошлом. Это невесело

— Невесело? — переспросил Багурин и затих.

Уснул он не скоро. Было холодно. Они качались, тесно прижимаясь друг к другу, и поминутно просыпались. Хотелось курить, но ветер гасил спички и выдувал табак из папирос. Только у самой палубы, спрятав голову за люк, можно было лежать и собирать по частицам драгоценное человеческое тепло, приносившее непрочный сон. Ветер налегал из темноты с угрюмым гулом. Острые звезды белели в крошечном небе.

Батурин забылся; казалось, прошла минута, не больше, но ему приснилось множество снов. Кто-то тряс его за плечо. Он поднял голову и разглядел в темноте Нелидову. Пароход шел без огней. Батурин сел и вздрогнул,— с ревом катились мимо ветер и море. Корма взлегала, застилая звезды, и надала, окунаясь в чернильную воду. Труба яростно хрипела. Ветер рвал в клочья жирный дым. Лицо дрожало под его ударами и леденело. Тонкое и короткое пальто Нелидовой ветер трепал и бил им по лицу Батурина. Он услышал легкий и свежий запах ее платья.

Нелидова наклонилась и крикнула:

— Вы с ума сошли, вас снесет! Идите в кают-компанию, там никого нет. Смотрите, что творится!

— Полный шторм! — крикнул в ответ Багурин.— Чудесно! Как вы думаете, дойдем до Новороссийска?

— Не знаю... Не все ли равно? Подвиньтесь, я сяду. В каюте мне страшно.

Берг и Глаз проснулись. Нелидова села между Бергом и Батуриным, и они закрыли ее полами пальто. Она сильно вздрагивала. Пробежал матрос с мокрым плащом, наклонился и крикнул:

— Эй, пассажиры, смывайтесь в каюту,— зальет!

Берг пошевелился.

— Не надо,— сказала Нелидова.— Посидим еще. Спать все равно не будем.

Шторм гремел и надвигался с востока стенами, закрывая звезды.

— Не смотрите на восток,— посоветовал Берг Нелидовой,— страшно. Смотрите на палубу, на нас, на свои руки, вообще на простые и знакомые вещи,— будет легче. Глогайте воздух, иначе укачаетесь.

Так они сидели тесно и тихо, изредка перекидываясь сло-

вами, потом сразу вздрогнули: сквозь рев шторма доносились странные оборванные звуки. Глан пел незнакомую песню:

Уходят в море корабли,—
Пылают крылья,
В огне заката крылья-паруса.
А на берег блистающе пылью
Ложится-падает вечерняя роса

— Вот сумасшедший,— прошептал Берг, но сразу стало спокойнее; человек поет: значит, шторм не так страшен, как кажется. Глан пел тонким печальным тенором.

Бегер засвистел в снастях с нарастающей яростью, испуганные звезды скачками понеслись к горизонту. Голос Глана сорвало, унесло в ночь, и пушечным ударом на пароход обрушилась водяная гора. Шторм крепчал.

— Пойдем, смоем.— Батурин встал, качнулся и схватил Нелидову за плечо.

Ветер обрывал пуговицы на пальто, по ногам несло брызги.

В кают-компании мутно светила лампочка. Пароход валился с борта на борт, трещал и хрипел. Чемоданы с шорохом ездили, цепляясь за привинченные стулья, в умывальниках, за стенами кают, плескалась вода. Шторм трубил за наглухо завинченными пллюминаторами с космической силой.

— Ну, попали,— пробормотал Берг.— Разобьет, пожалуй, эту коробку.

— Вы боитесь моря? — спросила вскользь Нелидова. Она сидела с ногами на красном бархатном диване. Лицо ее было измучено. Серое пальто потемнело от брызг.

— Нет,— резко ответил Берг.— Я бывал и не в таких переделках. Хоть я и еврей, но ни моря, ни воды не боюсь.

Нелидова усмехнулась. Глан дремал, сдувая со щеки назойливую муху, вздрагивал и осоловело поглядывал на тусклые лампочки.

Батурин сидел около Нелидовой. Для устойчивости он оперся локтями о колени, положил голову на ладони и, казалось, глубоко задумался. Он прислушивался к шуму шторма и думал о Вале. Он нащупал в кармане ее записку, вынул и, качаясь, теряя строчки, прочел:

«Раз я любила, но не так, совсем не так, больше дурачилась. Я спасла ему жизнь, после этого он сказал, что ненавидит меня, и ушел».

«Может быть, мы погибнем,— думал Батурин, и его пугала не смерть, а лишь то, что перед смертью мокрое платье прилипнет к телу и свяжет движения.— Стоит ли спрашивать,— пожалуй, бесполезно».

Но все же он спросил Берга, глядя на пол каюты:

— Берг, отец той женщины, о которой мы недавно говорили, был профессор?

— Да.

— Что он читал?

— Он был профессор-клиницист, врач.

В каюту вошел капитан. Вода капала с его плаща на пол. Он отогнул рукав, посмотрел на часы, хмуро взглянул на Нелидову, закурил и сел к столу. Все молчали.

— Четыре часа,— сказал хрипло капитан и закашлялся.— Штормяга крепчает, и барометр падает,— получается паршивая комбинация!

— Выдержим? — спросил Берг.

Капитан не ответил, бросил папиросу в полоскательницу и вышел.

— Берг,— позвал Батулин,— садитесь здесь.

Он показал на диван рядом с собой. Берг сел, привалился на бок. Слова капитана ему не понравились, началась тоска.

— Он ничего вам не ответил?

— На такие вопросы моряки не отвечают.— Глан открыл глаза.— Зря вы спросили. Откуда он может знать: слышите, как крушит?

— Берг,— продолжал Батулин, будто пропустил мимо ушей весь этот разговор,— может быть, утром мы будем в Новороссийске. Так? А может быть, к утру нас вообще не будет. Поэтому я и спрашиваю вас,— хотите вы знать, что случилось с той женщиной и с вашим сыном?

Берг подозрительно взглянул на Батулина и хрипло ответил:

— Что вы знаете? Если вы хотите шутить, то это гадость. Я лучше думал о вас, Батулин.

— Какие тут шутки.— Батулин поднял голову и поглядел на Берга спокойно и ласково.— Скажите сами, способны вы шутить на этом разваливающемся корабле?

Берг закурил, руки его тряслись. Он не мог ничего ответить и только помотал головой.

— Не печальтесь, Берг,— сказал Батулин,— ваш сын, ему было два года, сгорел в Ростове во время пожара в госпитале. Женщину зовут Валя. Я могу подробно вам ее описать, но это не нужно. Она была проституткой. Месяц тому назад ее убил в Бердянске китаец.

Берг отвернулся от Батулина, плечи его опустились. Он слабо махнул рукой, будто отмахиваясь от кошмара.

— Берг! — сказал Батулин жестко.— Она любила вас, Берг, до последней минуты.

У Берга вырвался странный писк. Он прислонился к спинке дивана, и было видно, с каким напряжением он сдерживает спазмы.

Батулин хотел сказать, что Валя спасла его тогда,

на Неве, когда он сказал ей о ненависти, но Нелидова впилась ногтями в его руку, нагнулась вплотную к лицу и прошептала:

— Не смейте, иначе я буду кричать! Я не знаю, в чем дело, но я брошусь на вас. Чго вы дслаете? Вы одержимый.

— Нет, — ответил Багурип, — теперь ему будет не страшно умереть. А если мы выживем, он переболеет и выкинет к черту свое оскорбленное еврейство. Я хочу человечности! — почти крикнул он и повернулся всем корпусом к Нелидовой. — Чего вы бонтесь! Раны заливают йодом, а не фруктовой водой.

Нелидова вскочила. Почь, мутные лампочки, бледное и пьяное лицо Багурина, показавшееся ей прекрасным, плеск воды в коридоре, черный ураган, летевший с востока плотной воздушной стеной, — все это могло быть только сном. Захотелось проснуться, впустить в иллюминаторы жаркое неторопливое солнце.

Она вскрикнула, бросилась к Бергу, стала на колени перед диваном, судорожно гладила его спутанные волосы и что-то шептала, как шепчут обиженным детям. Батурип снова сел, опустил голову на ладони и тихо сказал:

— Берг, милый, не плачьте. Она простила все, она любила вас до последней минуты.

Глан сидел, уставившись в лужицу воды на полу. Она все росла и росла. Глан проследил, откуда идет вода, и вздохнул, — текли иллюминагоры. Ему было жаль Берга, но в словах Батурина он чувствовал большую выстраданную правду.

— Я не сержусь, — вдруг тихо сказал Берг. — За что я могу сердиться на вас, Батурип?

Через несколько минут Берг затих и, казалось, уснул. Нелидова уснула, стоя около него на коленях. Голова ее упала на красный вытертый бархат дивана. Глан дремал, просыпался, думал о том, что спать нельзя, — можно незаметно проспать смерть, — но не мог пересилить изнеможенья.

Батурип просидел до утра. На рассвете он вскочил: сквозь седую муть урагана, в темноте, слабо разбавленной волянистым светом, мрачно ревел пароходный гудок. Батурип оглянулся, — все спали. Он потушил лампочку и, хватаясь за поручни, поднялся наверх в рубку.

Горизонт ходил над головами, над ним лежали тяжелые грузные гучи. Батурип вгляделся, — это были горы, — их заносило ежеминутно пеной и дождем.

— Что это? — спросил он помятого официанта в расстегнутой рубашке.

— Новороссийск. — Официант безразлично посмотрел на Батурина. — Вон, глядите, порт видагь

Горы пыряли в волнах, и шторм гремел, не стихая; но Батурип знал, что через несколько часов будет милая теплая земля, и улыбнулся.



тормы провеивают сердце. Батурин явственно ощутил это. Он проснулся в холодной каюте. Яркий день леденел за иллюминаторами. Пароход скрежетал на стальных тросах и якорях, наглухо пришвартованный к пристани.

Они остановились в Новороссийске. Почти все пассажиры сошли и уехали дальше по железной дороге. Осталось их четверо, старик — пароходный агент из Батума, норвежец из миссии Нансена — доброжелательный и громоздкий — и несколько почерневших, как уголь, замученных морской болезнью грузин.

Батурин увидел знакомую картину — в густом небе сверкало льдистое солнце. Ветер обрушивался с гор испанским водопадом, — Батурин как бы видел тугие потоки воздуха. Свет этого дня был подернут сизым палетом. Солнце казалось восковым, тени резкими, как зимой. Воздух был изумительно чист: порд выдул все, унес в море всю пыль; он мощно полировал и вентиловал вымерший блестящий город.

Через молы широкими взмахами перекачивал и гудел прибой. Пароходы стояли на якорях, работая машинками. Дым так стремительно отрывало ветром от труб, что пароходы казались погасшими, бездымными. Краски приобрели особую яркость, даже ржавые днища шаланд горели киноварью и лаком.

В каюте пахло ветром и человеческим уютным теплом. Глан лежал на верхней койке и читал. Берг спал, подрагивая. Ему было холодно.

Батурин долго смотрел в иллюминатор, потом сказал Глану: — Хорошо бы отстайваться еще недельки две.

Глан рассеянно согласился, не отрываясь от книги.

Батурин чувствовал необычайную легкость. Платье как бы потеряло вес. На щеках появился сухой румянец.

«Осень!» — думал он, и у него замирало сердце.

По утрам перед чаем Батурин выпивал стакан холодной чистой воды, потом это стали делать норвежец и Нелидова. У воды был вкус осени. Она слегка горчила, как черенки опавших листьев, и освежала мозги глотком водки.

Берг много курил, играл в шахматы с норвежцем, временами беспомощно улыбался, и тогда Батурин думал, что он еще совсем мальчик и некому о нем позаботиться. У Берга снова

болело сердце, особенно на ветру,— он бледнел, и глаза его мучительно выцветали.

По вечерам Глан танцевал в кают-компании чечетку. На танцы собиралась команда. Глан выходил, вскрикивал: «Эх, Самара!» — и начинал выбивать такую бешеную дробь, изредка приседая и хлопая ладонью по полу, что у матросов захватывало дух. С Гланом состязался боцман Бондарь, тяжелый и черно-усый,— большой любитель пляски и пения. Норвежца танцы приводили в детское восхищенье. Он хлопал в ладоши и покрякивал в такт:

— Го-го-го, га-га-га...

Нелидова стала проще. В свитере она казалась девочкой. Плаванье ей нравилось. Просыпаясь, она тихо стучала в стенку каюты над голову Глана и спрашивала:

— Неужели вы еще спите?

Глан прикидывался спящим и начинал страшно храпеть, сотрясая каюту.

Вставать никто не хотел. Долго еще лежали, переговариваясь через стенку, потом Глан прыгал, как медведь вниз на все четыре лапы, и шел мыться — мохнатый и маленький.

Умываясь около камбуза, он рассказывал кокам китайские анекдоты и показывал несложные фокусы,— жал кулак, и из него текло полстакана воды. Коки крутили головой и удивлялись: ловкий какой человек! Глана сразу и крепко полюбили на пароходе. Матросы величали его по имени-отчеству: Наум Львович — и вели разговоры о многочисленных видах чечетки: ростовской, одесской, самарской, орловской и других, показывая иногда замысловатые колена.

Батурин начал писать. Пока получалось что-то неясное о морях, о великой легкости исцеления, когда земная тяжесть перестает давить на плечи и смерть кажется такой же нестрашной, как песня, осень, как сама жизнь.

Берг замечал, что Батурин пишет, но ничего не спрашивал. Самый процесс писания он считал вещью более интимной, чем любовь, чем самые сокровенные тайны, в которых не всегда признаются даже себе. Можно говорить только о готовых вещах, когда они отомрут и отпадут от писателя. Пока не перерезана пуповина, о вещи нельзя ни спрашивать, ни рассказывать,— эту идею Берг изредка развивал, сравнивая процесс писания с беременностью. Вещи, прочитанные в неоконченном виде, он называл «выкидышами» и сулил им судьбу мертворожденных. Батурин соглашался с ним,— для него процесс писания был мучителен и прекрасен.

Каждое утро Батурин вставал со страхом — не стих ли шторм, но, взглянув за окно, успокаивался: море бесновалось, вскидывая высокие гребни пены. Значит, можно писать. Шторм длился девять дней.

О Пиррисоне и капитане не говорили. Чувство оторванности

от мира, владевшее всеми, было чудесным облегчением. Мир был отрезан ветром, штормовым морем и тесными переборками парохода. Не могло быть ни телеграмм, ни писем, ни встреч.

— Эх, вот так бы жить и жить,— вздыхал Глан и погружался в чтение. Читал он Гюго «Труженики моря», некоторые фразы заучивал даже наизусть.

— Кто вы, собственно, такой? — спросил его однажды Батурин.— Вечно вы ездите, но куда? Есть же у вас цель, какой-нибудь конечный пункт.

— Ни черта вы не понимаете,— рассердился Глан,— моя профессия — попутчик. Вы, очевидно, думаете, что земля не шарообразная, а плоская и Коперник дурак. Мы живем на шаре. Какой, к черту, конечный пункт, когда у шара вообще нет концов. Я всегда двигаюсь вперед. Поняли? Знаете совет Джека Лондона: «Что бы ни случилось, держите на запад». Что бы ни случилось, я всегда покрываю пространство.

В ночь на седьмой день шторма Батурин проснулся от топкого стука в стену. Стучала Нелидова.

— Это вы? Что случилось?

Нелидова ответила, но он не расслышал: сотрясая палубу, гневно заревел гудок, ему ответили гудки с других пароходов. Ночь стонала от их тревожного и протяжного крика. Батурин повернул выключатель,— электричество не горело. Он быстро оделся, накинул пальто и поднялся в верхнюю рубку. За ним поднялась Нелидова. В темной и холодной рубке курил у окна, отогнув занавеску, старик агент.

— Что случилось?

— «Рылеева» сорвало с якорей,— ответил агент спокойно,— несет на скалы. Конечно, он не выгребет: у него машины дрянные. Сядет. Спасти его невозможно.

— Почему же гудят?

— Так, больше чтобы тем, рылеевцам, было легче. Может быть, и спасутся...

Нелидова стала на колени на диван и прижалась к окну. В черном гуле и реве, в выкриках пароходов надвигалась неизбежная гибель. Нелидова вскрикнула.

— Смотрите — огонь!

Во тьме был виден бьющийся под ветром столб тусклого пламени.

— Это из трубы,— сказал агент.— «Рылеев» работает машинами при последнем издыхании.

Долетел спокойный мужественный гудок,— океанский, в три тона. Он гудел с короткими перерывами, потом стих. Как по команде, стихли все пароходы. Глухая ночь и гром прибоя вошли в каюту и создали неожиданное впечатление глубокой тишины.

— Слава богу, спасся,— сказал агент.— Пароходы, вы знаете, гудками разговаривают. Это «Трансбалт» прогудел, что все благополучно.

Наутро узнали, что «Рылеева» проносило под самым бортом «Трансбалта». С «Трансбалта» успели подать буксиры. «Рылеев» принял их, ошвартовался у борта «Трансбалта» и, неистово работая машинами, спокойно отстаивается. В бинокль было видно, как он жался к «Трансбалту», будто детеныш к матерому киту. Оба согласно качались и густо дымили.

Нелидова отвернулась от окна и спросила Батурина:

— Скажите правду, вы и сейчас думаете так, как там.. в Керчи?

Батурин молчал.

— Что ж вы молчите? Не бойтесь, я не испугаюсь.

Батурин закурил. Она взглянула на него при свете спички. Он застенчиво улыбался.

— Я так и знала,— сказала она шепотом, чтобы не услышал старик агент.— Вы не могли решить иначе. Вы шли к смерти, как одержимый. Было страшно на вас смотреть. А теперь, правда, все прошло.

— Шторм проветривает голову. Убивать я не буду. Но обезвредить его надо.

— Я говорю не о нем,— значительно и медленно ответила Нелидова.— Я говорю о вас. Пиррисон для меня не существует. Слышите!

Агент чиркнул спичкой. Нелидова быстро отвернулась, встала и пошла в каюту. Батурин долго еще сидел вместе с агентом, курил и молчал. У агента была старческая бессонница. Часов в пять утра из темноты каюты Батурин услышал пение. Пел Глан.

Уходят в море корабли,—

пел он вполголоса,—

Пылают крылья,

В огне заката крылья-паруса

— Беззаботный человек,— вздохнул агент.— Вот кому легко жить.

Вечером, сидя в темной кают-компании, Глан завел странный разговор.

— У меня дурацкая память. Я помню преимущественно ночи. Дни, свет — это быстро забывается, а вот ночи я помню прекрасно. Поэтому жизнь кажется мне полной огней. Ночь всегда празднична. Ночью люди говорят то, чего никогда не скажут днем (Нелидова быстро взглянула на Батурина). Вы заметили, что ночью голоса у людей, особенно у женщин, меняются? Утром после ночных разговоров люди стыдятся смотреть друг другу в глаза. Люди вообще стыдятся хороших вещей, например, человечности, любви, своих слез, тоски, всего, что не носит серого цвета.

— По ночам легко писать,— подтвердил Берг.

— Принято думать,— продолжал Глан,— что ночь черная

Это чепуха! Ночь имеет больше красок, чем день. Например, ленинградские ночи. Сам Гейнс бродит там по улицам со шляпой в руке, честное слово. Листва серсет. Весь город залит не светом, а тусклой водой. Солнце поднимается такое холодное, что даже гранит кажется теплым. Эх, ничего вы не знаете!

Нелидова слушала, затаив дыханье: таких странных людей она встречала впервые.

«Только в России могут быть такие люди»,— думала она, всматриваясь в неясный профиль Глапа.

Папироса освещала его обезьянье лицо. Берг лежал на диване и изредка вставлял насмешливые слова.

«Чудесная страна и поразительное время»,— думала Нелидова. Вот этот Глан — романтик, поклонник Гюго и чечетки, бездомный и любящий свою бездомность человек — когда-то дрался с японцами на Дальнем Востоке. Он был ранен, вылечил рану какими-то сухими ноздреватыми грибами и три недели питался в тайге сырым беличьим мясом. Батурин был в плену у Махно, спина у него рассечена шомполом, он был вожатым трамвая в Москве, может быть, возил ее, Нелидову, и она даже не взглянула на него. Он знал труд; труд сделал его суровым и пронизательным,— так казалось Нелидовой.

Берг воспитался у поэта Бялика, два года прожил в Палестине (был сионистом), арабы убили его брата. Потом Берг возненавидел сионизм и говорил, что всем — жизнью своей, резко переломившейся и сделавшей из него писателя, тем, что он понял цену себе, всем лучшим он обязан Ленину.

— А Ленин этого даже не знал,— смеялся Батурин.

— Никто не задумывался над тем,— отвечал Берг,— как громадно было влияние этого человека на личную жизнь каждого из нас. А об этом стоит подумать.

Больше всего поражало Нелидову то, что невозможно было точно определить профессию этих людей. Да вряд ли и сами они могли ее определить.

Глан говорил: «Я — попутчик». Батурин называл себя «ничем». Один Берг был писателем, но писал он мало, и в писательство его вклинивались целые полосы совсем иных занятий. В плохие времена он даже играл на рынке в шашки и зарабатывать этим до рубля в день.

Главное, что притягивало Нелидову к ним,— это неисчерпаемый запас жизненных сил. Они спорили о множестве вещей, ненавидели, любили, дурачились. Около них она ощущала тугой бег жизни, застрахованной от старости и апатии вечным их беспокойством, светлыми головами.

«А сколько бродит по земле мертвецов»,— думала она, перебирая прошлое, чопорный свой дом, мать, говорившую с детьми по-французски, матовый холод паркета, страх перед тем, чтобы не выйти из рамок общепринятых норм.

Утром Нелидова проснулась от непривычного чувства ти-

шины и засмеялась: синий и глубокий штиль качался над морем. Она открыла иллюминатор. Теплый воздух обдул каюту солью и миндалем. Гремели лебедки. Жарко сверкало солнце, блестели радугами стаканы, блестели горы, город. Моряки в белом переключались на палубе. Пароход готовился к отплытию. Забытый шум жизни взбадривал и веселил.

Она поднялась на спардек и зажмурилась от света. Капитан откозырял ей и оскалил зубы; Батурин сидел на планшире и, глядя на воду, пел какую-то немудрую песенку.

«БЕДНЫЙ МИША»



ипографские машины предсмертно выли, выбрасывая грязные и сырые листы газеты. Костлявый армянин в элегантно сером костюме стоял около них. Одной рукой он перебирал янтарные четки, другой держал капитана за пуговицу кителя и нараспев читал стихи:

Как леопарды в клетке, от тоски
Поэта тень бледна у вод Гафиза
О звездная разодранная риза!
О алоэ и смуглые пески!

Капитан отводил глаза и сердился. Чтение стихов вслух он считал делом стыдным. Ему казалось, что Терьян публично оголяется. Но Терьян не смущался.

Пылит авто, пугая обезьян,
Постой, шофер идет навстречу Майя,—
Горит ее подошва золотая
Как сладок ты, божественный Коран!

Терьян передохнул.

И катера над озером дымят
В пятнадцать сил Тропические шлемы
Александрийские прекрасные триремы
И Энзели холодный виноград

Метранпаж Заремба — русский и громадный, с выбитыми передними зубами, подмигнул капитану и почесал шилом за ухом.

— Ну как? — спросил Терьян.

— Собачий лай, — ответил капитан. — Что это за божест-

венный Коран! Что это вообще за хреновина! Неужели Мочульский напечатает эти стихи?

— Люблю с вами разговаривать,— Терьян шаркнул лаковой туфлей и поклонился.— Мочульский напечатает, будьте спокойны, и я получу за это турецкую лиру. На лиру я куплю доллары, на доллары лиры, на лиры доллары: я спекулянт, я перещеголяю Камхи. Потом в мой адрес будут приходить пароходы с пудрой, вязаными галстуками и сахарином.

— Идите к свиньям! Не паясничайте!

— Пойдем лучше к «Бедному Мише»,— предложил Терьян.— Заремба, мой лапы,— номер в машине.

Заремба подобрал с пола несколько свинцовых болванок — бабашек — и пошел к крану мыть руки. В раковине сидела крыса. Заремба прицелился в нее бабашкой, попал, крыса забижала и спряталась в отлив. Заремба развернул кран до отказа и злорадно сказал:

— Ну, погоди, стерва, я тебя утоплю!

Вода хлестала и трубила, Заремба вымыл жирные, свинцовые руки и натянул кепку. Крыс он решил истребить: каждый день они залезали к нему в кассу с заголовочными шрифтами, перерывали шрифт, гадили, грызли переборки. Потом оказалось, что тискальщик Сережка клал после ухода Зарембы в кассу кусочки хлеба и приманивал крыс. Когда Заремба узнал об этом, он показал Сережке волосатый кулак и сказал спокойно:

— Гляди, как кокну,— мокро станет!

С тех пор Сережка бросил баловаться.

Заремба работал в прежнее время цирковым борцом. Поддубный порвал ему какую-то жилу, и тогда Заремба вернулся к своему основному занятию,— с детства он был наборщиком. За спокойствие и отвращение к ссорам его сделали метранпажем.

Капитан в Батуме Пиррисона не застал. В конторе Камхи ему сообщили, что Виттоль (Пиррисон) уехал куда-то на Чорох и вернется оттуда не раньше недели. Капитан со скуки написал статью о механизации Батумского порта и отнес в редакцию «Трудового Батума». Редактор Мочульский принял ее и заказал еще несколько статей.

В редакции капитан познакомился с выпускающим Терьяном и стал навешать типографию. Воздух типографии ему понравился,— пахло трудом. Через три дня он был там своим чело-
век.

Пошли к «Бедному Мише». Духан стоял на Турецком базаре, на берегу моря; одна его дверь выходила на море, другая — на узкую улицу, запруженную арбами и ишаками. На окне духана густыми персидскими красками — оранжевой, зеленой и синей — был нарисован бледный и унылый турок. Трубка беспомощно вываливалась из его рук. Под турком была надпись «Бедный Миша». На другом окне краснел помидором толстяк со щеками, надутыми, как у игрока на валторне. Он держал в

руке вилку, с вилки свисал длинный шашлык, а с шашлыка оранжевыми каплями стекало сало. Сало расплывалось в затейливую надпись: «Миша, когда покушал в этом духане».

Толстяк смеялся, поджав круглые ноги, и умилял капитана. Около него черной пеной струилось из бочки вино.

В духане было душно. Вечер золотым дымом лег на море. Пароходы на рейде застыли в тусклом стекле. Их синие трубы с белыми звездами напоминали капитану Средиземное море. Он вытер платком обильный пот и сказал, отдуваясь:

— Ну и живоперня! Ну и климат, пес его знает. Сыро и жарко, как на Таити. Ночью плесень, днем жара, вечером лихорадка, тьфу! Дожди лупят неделями без единой пересадки. Черт его знает что! Недаром французские моряки зовут Батум: *Le pissoir de mer Noire*.

Терьян поперхнулся вином и засмеялся, отчего нос его, сухой и тонкий, даже побелел.

Турки в фесках и потертых до блеска пиджаках играли в кости. Из-под брюк бсели их толстые носки. Желтые мягкие туфли они держали в руках и похлопывали ими по пяткам. На стене висел портрет Кемаль-паши: он скакал в дыму по зеленой земле, обильно орошенной вишневым греческой кровью.

Кофейня для турок была отделена от общей залы стеклянной перегородкой в знак того, что турки не пьют спиртного и не едят поганой свинины, подававшейся в «Бедном Мише».

Капитан морщился от вина. Оно пахло бурдюком и переворачивало внутренности, но действие его он считал целебным. Вино было почти черное. Капитан посмотрел через стакан на свет и увидел в фиолетовом квадрате двери пышную от множества юбок нищенку-курдянку

Нищенка подошла, переливаясь желтыми юбками, красным корсажем, синим платком, бренькая десятками медных персидских монет, пылая смуглым и нежным лицом. Она остановилась около капитана и скороговоркой начала осточертевший всему Батуму рассказ, как у нее украли в поезде вещи, умер ребенок, персы убили мужа и она ночует на берегу в старом пароходном котле.

Капитан дал ей двугривенный; нищенка тотчас подошла к Терьяну и начала рассказ снова.

— Дорогая,— сказал ей Терьян по-турецки,— хочешь заработать — иди вечером на бульвар, пройди около меня, я буду играть в лото.

— Пошел, собака,— ответила равнодушно курдянка и, махнув множеством юбок, подошла к Зарембе.

По духану прошел теплый ветер.

— Не нужна мне твоя красота.— Терьян начал сердито вращать белками.

Курдянка издала гортанный клекочущий звук. Густой румянец подчеркивал гневный блеск ее глаз.

— Что ты к ней пристаешь? — сказал Заремба примирительно.— Оставь женщину в покое.

Терьян заговорил возбужденно, с сильным акцентом.

— Человеку хочу помочь,— понимаешь? — Он показал на капитана.— Женщина ходит всюду, все смотрит, всех видит. Дашь ей рубль, она тебе про Виттоля все расскажет. У дома его будет лежать, как собака.

План Терьяна был отвергнут. Он был действительно глуп,— впутать в дело дикую нищенку, в дело, требовавшее исключительной ловкости и осторожности. Капитан обжегся на Сухуме и теперь и по Батуму ходил с опаской,— как бы не столкнуться лицом к лицу с Виттолем. Первый раз в жизни ему даже приснился сон,— будто он встретил Виттоля в тесной улице, и они никак не могут разойтись, вежливо приподнимая кепки и скалясь, как шакалы.

Нищенка ушла Терьян посидел немного и пошел на бульвар к «девочкам». Капитан сказал Зарембе:

— Я дурака сваял. Не надо было рассказывать ему о своем деле. Боюсь, нагадит. Дурак ведь!

— Он и нагадить не способен. Вот что, товарищ Кравченко, есть у нас репортер Фигатнер. Вот кого бы пощупать. Он живет рядом со мной на Барцхане. Пойдем, поставим вина, позовем его. Может быть, чего разузнаем.

Капитан согласился. На Барцхану шли через порт,— у пристаней толпились синие облупленные фелюги. Трюмы их были завалены незрелыми трапезундскими апельсинами. Турки сидели на горах апельсинов и молились на юг, в сторону Мекки. На юге в сизой мгле всходила исполинская луна. Волны лениво перекатывали багровый лунный шар.

Стояла уже лиловая южная осень. Листья платанов не желтели, а лиловели, лиловый дым курился над морем и горами. В лавочках продавали черно-лиловый виноград «изабелла».

Заремба жил в дощатом домике на сваях. Вокруг тянулись кукурузные поля, в кукурузе рыдали шакалы. За садом шумела мелкая горная речка. Заремба сбегал в соседний духац, принес вина и сыра и пошел за Фигатнером.

Фигатнер был стар и плохо выбрит. Лицом он напоминал провинциального трагика. Желтые глаза его посматривали хмуро. Он сказал капитану, протягивая руку с бурыми от табака и крепкими ногтями:

— Очень, очень рад. Приятно встретиться в этом гнусном городе с культурным человеком. Двадцать пять лет я честно работаю репортером, как каторжник, как последняя собака, и вот — докатился до Батума и дрожу здесь перед каждой мальчишкой. А в свое время я был корреспондентом «Русского слова». Дорошевич сулил мне блестящее будущее.

Фигатнер вдруг подозрительно посмотрел на капитана и спросил:

— Как ваша фамилия?

— Кравченко.

— Вы хохол.

— Да, украинец.

— Вы зачем в Батуме?

— Приехал по делу к Камхи. Жду их агента Виттоля.

Он сейчас на Чорохе, скоро вернется.

— Поздравляю,— промычал Фигатнер.— Другого такого прохвоста нет на земном шаре. Низкая личность. Бабник, спекулянт. Как только советская земля его носит!

— Откуда вы его знаете?

— Я обслуживаю для газеты фирму Камхи. Сегодня я его видел, вашего Виттоля.

— Как? — Капитан повернулся к Фигатнеру.— Да разве он здесь?

— Конечно, здесь. Он вчера еще был здесь, приехал на фелюге с Чороха.

Капитан посидел минут десять, потом подмигнул Зарембе с таким видом, будто хотел сказать: все сделано, спасибо — и вышел.

Фигатнер был сварливый, но совершенно безвредный человек.

Впоследствии, вспоминая все, что случилось в Батуме, капитан рассказывал, что уже около дома Зарембы он ощутил тревогу. Он оглянулся. Было пусто, темно от высоких чинар. Недалеко бормотала река. Капитан замедлил шаги, что-то темное метнулось под ногами,— капитан вздрогнул и выругался.

— Чертова кошка! Обабился я с этой американской вольной! Пора на море.

Он остановился и прислушался. Стояла звонкая ночная тишина. Море дышало едва слышно, как спящий человек. Вдали виднелись огни Батума.

«Далеко еще»,— подумал с сожалением капитан и зашагал вдоль железнодорожного полотна, потом быстро оглянулся: ему показалось, что кто-то идет сзади. В тени чинар остановилась неясная тень.

— Чего боишься, кацо? — сказала тень гортанно и возбужденно.— Иди своей дорогой, не трогай меня, пожалуйста!

— Я тебе покажу — боюсь! Иди вперед!

Тень юркнула за живую изгородь и пропала. Капитан стоял, подождал. Со стороны Махинджаур нарастал гул,— шел поезд из Тифлиса. Далеко загорелись два белых его глаза. Это успокоило капитана, и он двинулся вперед. У него было ощущение, что лучше всего слушать спиной: малейший шорох передавался ей легкой дрожью.

«Истеричная баба,— обругал себя капитан.— Сопляк!»

Он шел быстро, несколько раз оглянулся,— никого не было

Шоссе светилось мелом и лунным светом. Поезд догонял его, мерно погромыхая.

Когда поезд поравнялся с капитаном, в грохот его ворвался резкий щелчок. Капитан спрыгнул в канаву и огляделся,— из-за живой изгороди блеснул тусклый огонь, хлопнул второй выстрел, кепка капитана слетела. Капитан начал вытаскивать из кармана браунинг,— револьвер запутался, он вывернул его вместе с карманом, высвободил и выстрелил три раза подряд в кусты. Там зашумело, гортанный голос что-то крикнул, но за шумом поезда капитан не расслышал слов.

Он схватил кепку, нахлобучил, побежал, спотыкаясь, рядом с поездом, изловчился и вскочил на площадку. На ней было пусто, под ногами валялось сено. Капитан сел, вынул из обоймы оставшиеся пули и выбросил их.

Поезд шел по стрелкам, у самого лица проплыл зеленый фонарь. Капитан снял кепку, пригладил волосы: в кепке на месте якоря была широкая дыра. Он засунул кепку в карман и пробормотал:

— Его работа. Ну, погоди ж ты, гадюка. Я тебя достукаю!

Непривычный страх прошел. Капитан краснел в темноте,— он три раза погибал на море, дрался с Юденичем, сидел в тюрьмах, ожидая смертного приговора, но никогда не испытывал ничего подобного.

«Слабость,— думал он.— От жары от этой, от сырости распустил нюни».

Он решил обдумать все спокойно. Выстрелы не были случайными,— за ним следили от дома Зарембы. Он это почувствовал тогда же. Кто стрелял? Голос в кустах был как будто знакомый, но чей — капитан никак не мог вспомнить. Ясно, что работа Пиррисона. Если он решил убить капитана, значит, дело гораздо серьезнее, чем казалось вначале. Нужно захватить его сейчас же, по горячим следам.

«Портачи»,— подумал капитан о Берге и Батурине. Неделю назад он послал им телеграмму, но до сих пор их не было. Придется работать одному.

Он соскочил с площадки, когда поезд медленно шел через город. Была полночь. Темнота казалась осязаемой,— хотелось поднять руку и потрогать шерстяной полог, висевший над головой. Редкие фонари вызвали смутное опасение: капитан их обходил. В переулке он задел ногой крысу, она взвизгнула и, жирно переваливаясь, побежала перед ним. Капитан остановился, прислушался и сказал:

— Вот паршиво! Скорей бы конец!

Около общежития для моряков, где он остановился (общежитие носило громкое имя «Бордингауз»), капитан заметил у дверей сидящего человека. Он полез в карман, нащупал револьвер, но вспомнил, что выбросил пули, и, решившись, быстро подошел.

Море тихо сопело. Вода, булькая, вливалась в щели между камнями и выливалась с сосущим звуком. На ступеньках сидела нищенка-курдянка.

Она подняла на капитана смуглое и нежное лицо и улыбнулась. На глазах ее были слезы.

— Пусти ночевать. Я красивая, жалеть, дорогой, не будешь.

— Ты чего плачешь?

— Маленький мальчик такой...— Курдянка показала рукой на пол-аршина от ступеньки.— Измет, мальчик, зачем умер! Доктор не мог лечить, никто не мог лечить. Теперь хожу, прошу деньги. Каждый человек хватает меня, ночуй с ним.

Она скорбно закачала головой.

— Ай-я-я, ай-я-я! Я тебе зла не желаю, пусти меня ночевать. Ты смотри.

Курдянка распахнула платок,— груди ее были обнажены и подхвачены снизу черной широкой тесьмой. Капитан смотрел на нее, засунув руки в карманы. Смутное подозрение бродило у него в голове.

«Хороша»,— подумал он.

Смуглые и маленькие ее груди казались девичьими.

«Наверное, врет, что был ребенок».

Такие лица капитан где-то уже видел: с густыми бровями, с полуоткрытым влажным ртом, с тяжелыми ресницами.

— Слушай, девочка,— он неожиданно погладил курдянку по блестящим волосам.— Ты мне не нужна. Вот, возьми,— он дал ей рубль,— а переночуешь здесь, в коридоре, никто тебя не тронет.

Ощущение теплых женских волос было потрясающим. Капитан знал женщин,— независимых и рыжих портовых женщин, ценивших силу, жадность и деньги. Об этих женщинах он не любил вспоминать. После встреч с ними он долго вполголоса ругался. Сейчас он испытывал смятение. Ему казалось, что он должен сказать что-то очень хорошее этой женщине — дикой, непонятной, плачущей у его ног. Он поколебался, шагнул к двери, но курдянка схватила его за локоть.

— Слушай,— сказала она тихо и быстро.— Слушай, дорогой. Ходи осторожно, с тобой в духе злой человек сидел. Он давал мне деньги, говорил — смотри за ним, каждый день приходи, рассказывай, спи, как собака, у его дверей

Капитан обернулся, потряс ее за плечи:

— Какой человек?

— Молодой, по-турецки который говорит.

«Терьян»,— капитан невольно оглянулся. Он чувствовал себя как затравленный зверь. Ну, попал в переплет.

Он не вернулся к себе в гостиницу. Впервые в жизни он испытал тяжелое предчувствие, противную тревогу и пожалел о том, что нет Батурина и Берга.

«Азия,— думал он,— будь она трижды проклята!»

Он пошел с курдюнкой к маяку в пустой корабельный котел. Котел лежал у самой воды. Он врос в песок, был ржавый, но чистый внутри. Капитан зажег спичку: в котле были павалены листья, было тепло и глухо. Отверстие было завешено рогожей.

Он лег и быстро уснул. Курдюнка взяла его голову, положила на колени, прислонилась к стенке котла и задремала. Ей казалось, что вернулся муж, спокойный и бесстрашный человек, что он подле нее и она скоро уедет с ним в Курдистан, где женщины полощут в горных реках нежные шкуры ягнят.

Когда капитан проснулся, из-под рогожи дул прохладный ветер. Над самым своим лицом он увидел смеющиеся губы, ровный ряд зубов, опущенные ресницы. Он сел, похлопал курдюнку по смуглой ладони и сказал:

— Ничего, мы свое возьмем. Жаль мне тебя, девочка. Дика ты очень,— зря красота пропадает!

Он выполз из котла и пошел в типографию к Зарембе, выбирая улицы попустынные. Он думал,— как хорошо, если бы у него была такая дочка, и как глупо, что ее нет. А жить осталось немного.

На душе был горький хмель, какой бывает после попойки. Он огогнал назойливую мысль, что курдюнка очень уж дика, а то бы он женился на ней.

«Ну и дурак»,— подумал он.

По пути он зашел в кофейню, долго пил кофе, глядел на яркое утро. Ему не хотелось двигаться. Сидеть бы так часами на легком ветру и солнце, вспоминать тяжелые ресницы, смотреть на веселую, зеленую волну, гулявшую по поргу, выбросить из головы Пиррисона к чертовой матери!

В типографии капитан застал волнение. Фигатнер сидел за столом и крупным детским почерком писал заметку. Около него толпились наборщики и стоял Заремба, почесывая шилом за ухом.

— Вот какое дело,— сказал он смущенно капитану.— Терьяна подстрелили.

Капитан подошел к столу и через плечо стал читать заметку. Фигатнер сердито сказал:

— Не висите над душой, товарищ!

«Вчера на шоссе в Барцхану,— читал капитан,— был найден с огнестрельной раной в области голени правой ноги сотрудник «Трудового Батума» С. К. Терьян. Терьян возвращался пешком в город из Махинджаур, причем на него было произведено нападение со стороны необнаруженных преступников. Терьян, уже раненный, не потерял присутствия духа и начал отстреливаться, заползши за живую колючую изгородь, где и был обнаружен поселянином Аметом Халил Нафтула, 52 лет, несшим на рынок виноград. Пострадавший отправлен в городскую больницу. К розыску бандитов приняты меры.

Неоднократно мы указывали на небезопасность батумских окраин. О чем думает милиция! Гром не грянет — мужик не перекрестится, — так говорит мудрость широких рабоче-крестьянских масс. Долго ли будем терпеть эти хищничества на больших дорогах и не пора ли прокурору Аджаристана крикнуть свое резкое и громкое «нет!» На седьмом году революции жители рабочих окраин тоже имеют право спать спокойно.

К ответу бесхозяйственников и склочников из милиции. К ответу административный отдел Совета, который не считается с жилищной нуждой граждан и не только обрекает их на спанье на улицах под угрозой бандитов, но дает им проходные, нежилые комнаты, беря плату как за жилье. Долой кумовство!»

Фигатнер подумал и приписал:

«Покойный С. К. Терьян объяснял нападение целью грабежа. Бумажник его чудом остался невредим. Редакция «Трудового Батума» выражает ему свое соболезнование, возмущенная по поводу неслыханного преступления, и пожелание скорейшего восстановления нарушенного здоровья».

Фигатнер поставил наконец точку. Капитан растерянно поглядел на Зарембу:

— Ну, что ты об этом думаешь?

Заремба снова почесал шилом за ухом.

— Пожалуй, его дело, — ответил он с сомнением, — Виттоля дело, надо полагать.

Капитан отвел Зарембу в сторону и рассказал ему вчерашнюю историю. Заремба сощурил глаза, поковырял шилом стол и наконец ответил:

— Ну, и сукиного же сына... Жаль, что ты его не кокнул. То-то он около нас вился глистом. Раньше все «товарищ метранпаж», а потом «Евсей Григорьевич». Теперь слушай. Я сегодня заболел лихорадкой денюка на три, и за эти три дня мы должны его взять — этого сволочугу Виттоля — голыми руками.

Во время этого разговора в типографию прибежал редактор Мочульский. Он правил заметку Фигатнера, фыркал, как кот, и возмущался.

— При чем тут «причем»? — фыркал он и черкал снизу вверх карандашом. — Что это «заползши за живую изгородь»? Зачем эта «рабоче-крестьянская мудрость и проходные комнаты»? Когда вы научитесь грамотно писать?!

Фигатнер стоял у стола и бубнил:

— Двадцать пять лет работаю, как арестант, и в результате — неграмотный. Стыдно вам, товарищ Мочульский. Если вы, конечно, боитесь, так вообще выкиньте эту заметку в корзину. Выкиньте к черту, всю, чтобы ничего не было, пожалуйста, выкидывайте, будьте настолько добры!

— Отстаньте,— махнул Мочульский рукой,— не зудите над ухом.

Капитан спустился с Зарембой вниз в машинное отделение. Они сели на подоконник и задумались: надо было выработать план действий решительных и быстрых.

— Вот что,— придумал наконец Заремба.— Я схожу в больницу к Терьяну, прикинусь дурачком. Может быть, совпадение, черт его знает. Может, тот самый, что стрелял в тебя, и в него ахнул. Как думаешь?

Капитан с сомнением покачал головой. Он думал было рассказать о курдянке, но спохватился,— этой темы он касаться не хотел. Он понимал, что есть вещи, о которых говорить нельзя,— иначе тебя сочтут или лгуном, или помешанным.

— Ну что ж,— согласился он.— Валия.

— Иди ко мне.— Заремба дал капитану здоровенный ключ.— У меня оно как-то безопасней. Я приду часа через два.

Капитан пошел на Барцхану. На шоссе его обогнал пароконный извозчик. В фаэтоне сидели турчанки в черных, глухих чадрах. Извозчик оборачивался с козел и ссорился с ними, показывая кнутом в сторону гор.

Обогнав капитана, он остановился, повернул и помчался обратно в Батум. Турчанки колотили его по спине, визжали и дергали за плечи. Капитан с любопытством наблюдал эту сцену.

Извозчик снова повернул и промчался мимо капитана к Барцхане. Турчанки сидели спокойно. Потом шагах в ста от капитана экипаж остановился. Капитан подумал: уж не охотятся ли за ним, и замедлил шаги, разглядывая турчанок. С воплями и слезами они вылезли из экипажа. На земле они были неуклюжи и тучны, как откормленные куры. Капитан осторожно подошел, турчанки повернулись к нему спиной. Извозчик зло выговаривал им, скручивая папиросу.

— В чем дело? — спросил капитан.

— Торгуются! — закричал извозчик.— Сговорились в Орта-Батум за два рубля, в дороге старуха начала торговаться. Дает полтинник. Я их повез обратно, опять согласились, я повез в Орта-Батум, опять торгуются, я опять в город — плачут, дадим два рубля. Что такое! Высадил их. Иншаллах! Пусть сидят здесь до вечера.

Подошел крестьянин, похожий на галку,— черный и страшный. Он сказал капитану:

— Что делать? Турецкая женщина не может пешком ходить: муж убьет. Нельзя пешком ходить, ва-ва-ва, чего теперь делать!

— Что ж ты, сукин сын,— сказал капитан извозчику,— смеешься? Вези сейчас, а 'то номер спишу.

Извозчик что-то гневно заговорил по-турецки. Старуха повернулась к капитану и завывала скрипучим голосом.

— Тебя ругает, кацо,— перевел крестьянин — Зачем ты, гяур, трогаешь турецкую женщину. Увидят гурки — худо будет. Капитан плюнул и пошел дальше, сказав напоследок извозчику:

— Ты чего там наплел, обезьянщик. Номер твой я запомнил. Вот Азия, будь она четырежды проклята!

Около дома Зарембы извозчик с турчанками догнал его, остановился и сказал:

— Видишь, везу. Ты в милицию не ходи, ничего с ними не будет.

— Ну, валяй, валяй, пес с тобой.

Одна из турчанок подняла чадру и взглянула в лицо капитану. Чернота чадры оттеняла ее жаркий румянец. Удлиненные глаза ее смеялись.

«Вот чертовка!» — капитан снял кепку и помахал ею в воздухе. Экипаж пылил, качаясь и дребезжа среди чинар, турчанка кивала ему головой.

Капитану стало весело. Сидя в комнате Зарембы, он думал, что нелепая эта и пестрая, как цветные нитки, Азия начинает ему нравиться.

Он вышел во двор и долго без нужды, но с большой охотой мылся у крана, потом подставил лицо теплomu ветру и неожиданно сделал открытие, что молодеет.

Ему захотелось что-нибудь выкинуть: переплыть на пари Батумскую бухту, жсниться на курдюнке, устроить пирушку и зажечь головокружительный фейерверк. Захотелось созвать старых друзей — коричневых и беззаботных моряков, слоняющихся по портам Тихого океана, опять увидеть их крепкие руки, светлые смеющиеся глаза, пощупать новые паруса, побродить по раскаленному Брисбену.

Там во время стачки товарищи приковали его цепью к фонарному столбу, чтобы полицейские не помешали ему сказать зажигательную и веселую речь. Пока полицейские сбивали цепь, он успел накричать столько, что премьер-министр выслал его из Австралии, а газеты напечатали его портрет с подписью: «Бандит Кравченко, призывавший разрушать железные дороги и умерщвлять грудных детей».

Прошлое вспыхнуло в памяти капитана. Оно было окрашено в три цвета: сирий, белый и коричневый. Это был океан, паруса и белые корабли, коричневые люди и плоды. Он посмотрел на сирий свой китель, с которым не расставался уже восемь лет,— это был единственный свидетель всего, о чем капитан сейчас вспоминал.

Тоска по запаху тропических плодов приобрела почти физическую силу. Освежающий и яркий их сок, казалось, опять просветлял его голову, толкал к поискам все новых и новых встреч, новой борьбы и кипению воли.

Смутные размышления капитана прервал Заремба. Он быст-

ро шел по шоссе, поднимая пыль, махал руками, лицо его было покрыто красными пятнами. Он говорил сам с собой, спотыкался и кепку нес в руке, вытирая ею потное лицо.

— Слушай! — крикнул он капитану, сидевшему на крыльце его свайной хижины. — Слушай, Кравченко, ты какими пулями в него стрелял?

Капитан сделал страшное лицо и зашикал. Заремба спохватился, покраснел, вошел в комнату и повторил свой вопрос шепотом.

— Никелированными, из браунинга. Такие пули теперь нигде не достанешь.

— Вот, значит, верно. Его это дело, Терьяна. Сиделка рассказала, что из него вытащили пулю с никелевой оболочкой. К нему меня не пустили. Да теперь и не нужно. Дело ясное.

Заремба посопел, потом решительно встал.

— Нет, брат, — это не спекулянты. Они или контрабандисты, или еще почище — шпионы. Спекулянт на мокрое дело не пойдет. Понял?

— Понял.

— То-то и вот! Раз Виттоль здесь, надо его брать. Пошли в город!

Когда шли в город, капитан думал, что Заремба слишком просто решает вопросы. «Надо его брагь, надо его брагь, — передразнивал он Зарембу. — А как его возьмешь? Пойдет он за тобой, как теленок!»

В городе зашли к «Бедному Мише» обдумать дальнейшие планы. Капитан оглядел посетителей, но ничего подозрительного не заметил. Сидя за кофе, он неожиданно рассказал Зарембе о курдянке. Заремба хмыкнул. Капитан побагровел, отвернулся и полез в карман за портсигаром. Мельком он взглянул за окно и обмер, — на пристани среди гурок-фелюжников стоял Пиррисон. Серый его плащ гусклой чешуей блестел под солнцем. Он был без шляпы, русые волосы бледно отсвечивали. Стоял он спиной, и капитан узнал его тяжелый затылок.

Капитан стиснул руку Зарембы, показал на фелюжников глазами и сказал хрипло и невнятно:

— Гляди, — он!

Виттоль говорил с турками. Турки слушали хмуро, качали головами. Очевидно, шел неудачный торг.

— Заремба! — Заремба по тону капитана понял, что тот решил действовать стремительно. — Если он увидит меня — крышка. Стрельбу на улице не подымешь! Следи за ним. Надо выследить его до гостиницы. Как только он войдет в номер, — стоп, тут будет другой разговор. Ты войдешь первым, скажешь пришел, мол, от Терьяна, принес письмо. Я войду следом. Чуть что, хватай его за руки, кричать он не будет.

— Понял. — Заремба вспотел, медленно встал и перешел за столик, стоявший на улице недалеко от турок. Виттоль-

Пиррисон повернулся и быстро пошел к «Бедному Мише». Капитан сжался, достал деньги, положил на столик и встал,— надо было выскочить в дверь на узкую улицу, запруженную ишаками. Пиррисон уже входил в кофейню.

Капитан рванулся к двери, зацепил мраморный столик. Столик упал с невероятным грохотом и разлетелся на сотни кусков. С улицы повалила толпа, жадная до скандалов, зрелищ.

— Рамбавия! — закричал хозяин духана, жирный грузин.— Ради бога, что ты делаешь, дорогой!

Капитан обернулся, полез за бумажником, чтобы заплатить за столик, и столкнулся лицом к лицу с Пиррисоном.

— Вот чертова лавочка! — сказал капитан, красный и злой.

Пиррисон вежливо приподнял шляпу и прошел мимо. Заремба прошел следом и тихо сказал:

— Эх, ну уж сидите здесь, дождитесь!

Капитан заплатил за разбитый столик (хозяин содрал с него полторы лиры), снова заказал кофе и сел за деревянным столиком на улице. Злоба душила его. Налитыми кровью глазами он смотрел на веселых посетителей и бормотал проклятья.

«Неужели я стал «иовом»,— подумал он и с отвращением выплюнул на тротуар кофейную гущу.

У австралийских моряков было поверье, что есть люди, приносящие несчастье. Звали их «иовами». Один такой «иов» плавал с капитаном, и капитан отлично помнил два случая Первый,— когда «иов» зашел к нему в каюту, и со стены без всякого повода сорвался тяжелый барометр и разбил любимую капитанскую трубку; и другой,— когда «иов» подымался по трапу в Перте, с лебедки сорвалось в воду десять мешков сахара. Матросы потом купались у борта, набирали полный рот воды и глупо гоготали,— вода была сладкая. После этого случая «иов» списался с парохода и занялся разведением кроликов, но кролики у него додохли и заразили кроличьей чумой весь округ

В последний раз капитан видел его в Сиднее. «Иов» стоял под дождем и продавал воздушные детские шары. Дрянная краска стекала от дождя с шаров и капала красными и синими слезами на его морщинистое лицо. Прохожие останавливались и насмешливо разглядывали его. В глазах «иова» капитан увидел старческое горе.

«Неужели я «иов»,— подумал капитан и с горечью вспомнил цепь неудач: прикуренную папиросу в Сухуме, дрянного шкиперушку, привезшего его из Очемчир в Очемчиры, предателя Терьяна, выстрел, испуг свой перед курдянкой и, наконец, разбитый столик.

Капитан закурил и с угрозой сказал смотревшему на него с радостным изумлением восточному человеку, сидевшему рядом:

— Ты чего скалишься, здуля!

Человек испугался, встал и ушел.

«Рассказать Бергу и Батурину — засмеют. Не дело гонять за американцами. Пора на море».

Быстро подошел Заремба, подсел, сказал, задыхаясь.

— Плохо дело, Кравченко. Он договорился у биржи с извозчиком, подрядил его на вокзал к тифлисскому поезду. Надо спешить.

— Когда поезд?

— Через час.

Капитан вскочил, ринулся на улицу, на ходу крикнул Зарембе:

— Прощай. Тут наши приедут, расскажи все как было

— Куда ты?

— В Тифлис.

Хозяин «Бедного Миши» неодобрительно покачал головой: «Какой беспокойный человек этот моряк, ай какой беспокойный!»

Заремба вышел на улицу. Выражение недоумения и горечи не сходило с его лица. Капитан бросился в «Бордигауз», схватил чемодан, выскочил, остановил извозчика, сел и крикнул:

— Гони!

— Куда тебя везти? — спросил извозчик и испуганно задергал вожжами.

— На Зеленый Мыс. Чтобы через полчаса быть там. Пошел. Даю две лиры.

Извозчик понял, что дело серьезное, и поджарые лошади понеслись, пыля и раскатывая легкий экипаж. На шоссе капитан обогнал Зарембу, махнул ему рукой; потом увидел испуганно отскочившего в сторону крестьянина, похожего на галку. На Зеленом Мысу он купил билет, вышел на платформу, когда тифлисский поезд уже трогался, и вскочил в задний вагон.

Поезд прогремел через туннель, и по другую сторону его открылась иная страна, — тропики свешивали к окнам вагонов влажные и зеленые стены листвы. Кудряво бежали по взгорьям чайные плантации. Сырой блеск равнин был пышен и праздничен.

Капитан расстегнул китель, купил десяток мандаринов и сразу же съел их. Он чувствовал необычайное облегчение, — до Тифлиса можно было спать спокойно.

ЗОЛОТОЕ РУНО



урки, отступая из Батума в 1918 году, оставили в складах множество ящиков с боевыми ракетами. Ракеты лежали, сохли, в них происходили таинственные химические процессы, грозившие самовозгоранием и взрывом

Поэтому ракеты было решено уничтожить. Этим и объяснялась пышность фейерверков, в которых внезапно стал утопать город осенью того года, когда в Батум приехала Нелидова и ее спутники.

Первый вечер был особенно пышен. Трескучая заря занялась над плоским и темным городом. Переплетение огней и шипящих ракетных хвостов создавало впечатление сложного и сверкающего кружева.

Взрывы белого пламени выхватывали из темноты и снова бросали в нее живые груды листвы, широкие окна кофейен (их желтый свет трусливо гас при наглых вспышках бенгальского огня), фелюги, дрожавшие в воде, пронизанной до дна светом и серебром.

Иногда наступал желтоватый, пахнущий порохом антракт, и отхлынувшая было ночь накатывалась исполинской стеной крошечной тьмы. Но через минуту пламя со шелканьем и свистом опять раздирало ее, бросая мутные отблески на маяк и набережные.

Пустынный, казалось, порт при каждой вспышке оживал. Была видна давка фелюг, цепи, крутые бока пароходов, высокие, как бы театральные мостики, разноцветные трубы, палубы, с которых стремительный свет не всегда успевал согнать темноту.

Казалось, что пароходы фотографировались с редким терпением. Один из них — оранжевый английский грузовик — даже улыбался: по сторонам его носа торчали из клюзов клыками бульдога лапы гигантских якорей. Это создавало впечатление вежливой, но деланной улыбки. Некоторые пароходы улавливали быстрое пламя стеклами иллюминаторов.

Нелидова с Гланом и Батуриным шла на Барцхану к Зарембе. Берг остался в гостинице. Ему нездоровилось: опять болело сердце. Со сладкой горечью он думал, что ему, быть может, суждено умереть в этих серебряных потоках огня, в пограничном городе, и теплая женская рука потреплет перед смертью его волосы.

О смерти сына и Вали он думал редко. Каждый раз при этой мысли пустота в груди наполнялась гулким сердечным боем и кончалась обморочной, вязкой тошнотой.

Берг сидел на балконе на полу, чтобы с улицы его не было видно (это была любимая его поза), и украдкой, прячась от самого себя, курил короткими затяжками и прислушивался к растрепанной работе сердца. Оно то мчалось вперед, дребезжа, как разбигый трамвай, то внезапно тормозило. От этого торможенья кровь прилиwała к вискам.

На Барцхане ночь, бежавшая из Батума, была гуще и чернее. У берега, выполняя наскучившую повинность, шумели волны. С гор дул бриз. В свежести его был холод виноградников, хранивших в своих кистях обильный сок. Глан ел виноград

и уверял, что ночью он делается сочнее и слаще. Звезды плавали в море. Волны разбивали их о берег, как хрустальные детские шары.

С Зарембой Батуриным познакомился днем в типографии. Сейчас шли к нему просто так,— поболтать, выпить вина и еще раз ощутить ночное своеобразие этих мест. В окне у Зарембы пылала лампа. Свет ее, пробиваясь через черные лапы листы, делал ночь высокой и как бы осязаемой.

— Таитянская ночь,— прошептал таинственно Глан, мелькая в пятнах света и тьмы.— У здешних ночей есть заметный оттенок густой зелени. Вы не находите?

— Я не кошка,— ответил Батуриным.— В темноте я краски не различаю.

Нелидова, когда попадала в полосу света, старалась миновать ее возможно скорей. Каждый раз при этом Батуриным замечал ее бледное лицо. От тьмы и белых гейзеров пламени, бивших над Батумом, от теплого прикосновения листы и безмолвия он ощущал легкую тревогу, похожую на нарастающее возбуждение.

Батуриным сказал:

— Принято думать, что в жизни все переплетено и нет поэтому нигде резких границ. Чепуха все это. Еще недавно жизнь была совсем другой.

— А теперь? — спросила из темноты Нелидова.

— Теперь мне кажется, что я стою под душем из ветра и мельчайших брызг. Вы не смеетесь. Это серьезно...

— Н-да...— протянул рассеянно Глан.— «Растите, милые, и здоровейте телом» — это чье? Забыли? Вот черт, тоже не помню.

Заремба встретил их на крыльце. Рот его с выбитыми во время французской борьбы зубами был черен и ласков, как у старого пса.

— А мы, знаете,— он сконфузился,— дожидаясь вас, уже выпили. Приятель у меня сидит, куплетист. Знакомьтесь.

Куплетист — желтый и жирный, с лицом скопца, — был одет в синюю магросскую робу. Он сломал через окно ветку мандарина с маленьким зеленым плодом и положил перед Нелидовой.

Нелидова перебирала темные листья мандарина, мяла их пальцами, — от рук шел пряный запах. Изредка она подымала глаза и смотрела на Батурина и Зарембу, — они тихо беседовали.

Заремба расстегнул жилет, откидывал со лба мокрую прядь. Его большие серые глаза смотрели весело, хотя он и был явно смущен. Смущение его нарастало скачками. Он все порывался что-то рассказать Батуриным, но останавливался на полуслове. Наконец рассказал.

Лицо Батурина осветилось легкой улыбкой.

— Послушайте,— Батуриным обращался, казалось, к одной Нелидовой.— Вот любопытная история. Жаль, что с нами нет Берга. Заремба подобрал на улице нищенку-курдянку. Он го-

ворит, что эта курдянка спасла капитана (Батурин запнулся,— обо всем, что случилось с капитаном в Батуме, Нелидовой он не рассказал, рассказал лишь, что Пиррисона капитан разыскал в Тифлисе и в Тифлис нужно выехать возможно скорее). Одним словом, курдянка живет здесь. Заремба хочет отдать ее в школу и сделать из нее человека.

— Молодая? — спросил Глан.

— Вроде как бы моя дочка, — ответил, смущаясь, Заремба. — Лет двадцать, а мне уже сорок два.

Он мучительно покраснел, — ему казалось, что никто не поверит, что вот он, крепкий мужчина, взял в дом молодую женщину и не живет с ней, а наоборот, возится как с дочкой.

— Наглупил на старости, — пробормотал Заремба. — Скучно так жить без живого человека. Жаль мне ее. Теперь взял, лечу...

Заремба окончательно сбился и замолчал.

— А что с ней? — спросил Глан.

— Ну, знаете, обыкновенная болезнь, не страшная. Слава богу, что хоть так отделалась от чертовой матросни.

— Где же она? Почему вы ее прячете?

Голос Нелидовой прозвучал спокойно, без тени волнения. Заремба вышел и вернулся с курдянкой. Она кивнула всем головой, смутилась, села рядом с Нелидовой, погладила шелк ее платья на высоком колене, опустила глаза и почти не подымала их до ухода гостей.

Глан отгонял рукой дым папиросы и смотрел на курдянку. Ему казалось, что он осязает красоту, как до тех пор явственно осязал прикосновение к своему лицу теплого ветра, черной листы, всей этой оглушившей его новизной и необычайностью ночи.

Куплетист решил разогнать общее смущение и тонким мальчишеским тенором спел свою новую песенку. Песенки эти он писал для эстрадных артистов. Артисты всегда его надували, — платили в рассрочку и недоплачивали.

На столе моем тетрадка
В сто один листок
В той тетрадке есть закладка —
Беленький цветок.
Этот беленький цветочек
Мне всего милей:
Шепчет каждый лепесточек
О любви моей.

«Чем не Беранже?» — подумал Глан и оживился. Он носил в своей голове тысячи песенок — бандитских, колыбельных, бульварных, песенок проституток и матросов, страдательные рязанские частушки и хасидские напевы. Он коллекционировал их в своем мозгу. Иногда, всегда к случаю, он очень удачно извлекал то одну, то другую, поражая слушателей то глупостью, то подлинной их наивной болью.

Вина пили мало, но оно быстро ударило в голову. Батурина казалось, что это черное вино действует на него совсем не так, как другие вина. Неуловимые его настроения оно вдруг закрепило,— они ожили, крепко вошли в сознание. От них в душе рождалась вот-вот готовая прорваться детская радость.

Курдянка гадала Нелидовой по руке. Нелидова наклоняла голову и смеялась. Вино сверкало в ее зрачках черным блеском,— она верила гаданью и стыдилась этого. Она медленно обрывала с ветки мандарина черные листья. На лице куплетиста Батурин заметил страдание. Он подошел и незаметно отнял у нее ветку. Она изумленно подняла глаза, улыбнулась, и в прозрачной глубине ее глаз Батурин увидел все то же — эту ночь, взявшую их в плен стенами живой высокой листвы. Через окна проникал ровный и усталый ветер.

— Напомните мне, когда будете идти в город,— я расскажу вам одну историю,— сказал Батурин.

Нелидова кивнула головой.

Глан, Заремба и куплетист расплывались в табачном дыме воспоминаний. Долетали слова о Шанхае, шушинских коврах, ротационных машинах, табаке.

В город шли с куплетистом. Заремба и курдянка провожали их до порта. Шли длинной цепью, взявшись под руки. Опять море разбивало о песок сотни звездных шаров. Иллюминация догорала. Ветер приносил театральный запах пороха и потухших бенгальских огней.

— Я напоминаю вам,— сказала Нелидова.— Что вы хотели рассказать?

— Маленький сон,— ответил Батурин и рассказал ей о поезде и китайце со змеей. Нелидова слушала молча, потом легко пожала его руку и спросила тихо:

— Вы не болтаете? Может быть, вы выпили больше, чем следует.

Батурин решил было обидеться, но раздумал. Ему неудержимо хотелось рассказывать причудливые истории, смысл которых так же радостен, как пожатие женской руки.

Было в Батурине нечто, что заставляло Нелидову насгораживаться; его странные рассказы, неожиданные постуки, суровые глаза, ощущение, что этот человек все время думает свое и никому об этом не говорит.

Он часто бывал рассеян и отвечал невпопад. Когда Батурин, сидя за столом, низко наклонял голову и разглядывал скатерть, Нелидова знала, что у него опять подымается тоска по Вале. Тогда судорожная тревога заставляла ее беспрерывно болтать, не слыша даже своих слов, всячески стараться отвлечь его мысли от прошлого. Спустя часа два Батурин успокаивался, в глазах его блестели быстрым огнем самые смехотворные истории. Он говорил о привычных вещах, как о чем-то необычайно

интересном. Нелидова сознавала, что он прав. В каждом дне, уличной встрече, во всем она начала замечать новое, не замеченное раньше.

Это давало жизни ощущение полноты. Мир был очищен, как старинная картина от вековых наслоений почерневшего лака, и заиграл наивными и пышными красками.

Нелидовой нравилось, что Батуриным любил ветер, свежесть, штормы, простых людей — все, к чему невольно тянется человек после бессонницы и духоты, как пьяница после попойки к стакану крепкой содовой воды.

— Во время шторма в Новороссийске, — сказал Батуриным, — я видел второй сон. Его стоит рассказать. Хотите?

— Конечно.

Рассказать этот сон было очень трудно. Как и во всяком сне, в нем было главное, оставившее глубокий след в памяти, но главное это нельзя было передать никакими словами.

Батуриным приснился дощатый бар в ночном порту. Сквозь щели в стенах были видны красные огни пароходов. Когда пароходы давали гудки, бар вздрагивал и со стропил слетала пыль. Была ночь. В баре сидели пассажиры, дожидаясь посадки. Среди наваленных горами чемоданов почти не видно было деревянных столиков с букетами простых цветов — ромашки и резеды. Казалось, родная старая земля провожала запахом этих немудрых цветов всех уезжавших за океан.

Океан шумел в косматой портовой темноте. Над ним, очень далеко, там, куда пойдут корабли, дни и ночи сменялись страницами однообразной книги. Зелень вод, туманы, неуют великих мировых дорог приводили к странам, чуждым, суетливым, ненужным живой душе человеческой. Уезжавшие казались безумцами, обреченными на преждевременную старость, на вечную тоску по оставленной милой земле, куда вернуться им будет нельзя.

Батуриным узнал, что из этого порта уезжает Нелидова. Он мчался туда в экспрессе, спешил застать ее. Ночи гремели мостами и обжигали лицо снопами искр. Дни проносились светлой пылью. В портовый город он приехал за полчаса до отхода корабля.

Он бросился в бар, нашел Нелидову. Он помнил, что она должна простить ему перед отъездом какую-то смертельную обиду. Они говорили о безразличных вещах, потом Нелидова взглянула на него, в глубине ее глаз он увидел прозрачные и синие слезы и оглянулся, — за раскрытой дверью бара стоял холодный и голубой рассвет.

Нелидова попросила его купить на дорогу папирос. Он вышел. С деревьев капал туман, капли стучали по древним тротуарам, кое-где уже гасили огни. Он долго искал ларек. Во время поисков он услышал, как мощно прокричал пароход, может быть, тот, на котором должна была уехать Нелидова.

Он заторопился, но у него было такое чувство, что без папирос он вернуться не смеет.

Когда он пришел в бар с коробкой папирос «Осман» — синей и вычурной, как турецкий киоск,— Нелидовой не было. Бар был пуст. Пароход отошел и был виден в море тучей рыжего дыма.

Батурин остался жить в портовом городе, где старина вторгалась в каждый шаг, где океанские корабли приобретали вид фрегатов и камни зарастали мхом, заглушавшим шаги. Он знал, что Нелидова его простила, но горечь ее отъезда, горечь того, что он не услышал слов прощенья от нее самой, была невыносима. Вот и все.

— Я бы предпочла,— сказала Нелидова,— чтобы вы видели во сне не меня, а кого-нибудь другого.

— Почему?

— Такие сны обязывают. После этого я буду казаться вам скучной.

В город пришли ночью. Было решено на следующий же день выехать в Тифлис.

На рассвете Глан проснулся от ровного шума. Шел дождь. За черными окнами он казался седым. Глан закурил и выругался,— о батумских дождях он кое-что слышал.

Потом он разделся догола и осторожно вылез на плоскую крышу под окном. Ливень хлестал его. Глан жмурился и вертелся,— небесный душ был прекрасен. После Глана на крышу слезил Батурин, потом Берг.

К полудню дождь стих. Город блестел под солнцем, вода пахла снегом.

Пошли в турецкую чайную. В чайной ливень настиг их снова. Он бил в потные стекла; улицы и порт за ними приобрели фантастический вид: они струились и расплывались. На рейде серые волны мылили борта пароходов.

Всех радовала пустяковая мысль, что они заперты в чайной, может быть, до самого вечера, что весь город вымер и только ливень гремит и скачет по крышам.

— А как же Тифлис? — спохватился Глан.— Надо узнать точно, когда поезд.

Он спросил хозяина-турка. Турок вежливо ответил, глядя на Глана, как на беспомощного иностранца, что поезд вряд ли сегодня отойдет в Тифлис: такие ливни всегда размывают полотно. Хозяин провел Глана в заднюю комнату к телефону. Глан позвонил на вокзал,— ему ответили, что путь за Кобулетами размыт и движение прекращено.

— Везет как утопленникам,— пробормотал Глан, но втайне подумал, что против ливня он ничего не имеет. Пусть его лупит,— в Тифлис всегда успеем.

В чайной зажгли свет. С запада вместе с густыми и медленными тучами шла тьма. День приобрел сизый цвет пороха.

Вошел человек в клеенчатом плаще, принес с собой лужи, хриплый кашель. Он откинул капюшон, оглянулся и радостно крикнул:

— Ага, Берг, вот я где вас застукал!

Это был Левшин.

— Скотина вы, Берг,— сказал он, присаживаясь к столику. Запах дождя, исходивший от него, смешался с дымом крымских папирос.— Куда вы удрали? Сестра искала вас целый месяц, вся извелась.

— Зачем я ей? — буркнул Берг.

— Как зачем! Да хотя бы поглядеть на вас, какой вы есть человек. Я ушел в рейс, она мне наказала,— ищи, найди и привези в Одессу. Для пушей крепости даже письмо вам написала. Вот!

Левшин вытащил мятый конверт. Пока Берг читал, он рассказал Нелидовой, Батурину и Глану одесскую историю. Берг краснел и ерзал, папироса его ежесекундно тухла.

«Я вас не знаю,— писала Левшина.— Я смутно помню, как вы позвали меня в больнице. Письмо я пишу наугад, без адреса, без города,— в пространство. Я даже не знаю вашего имени. Приезжайте. Вы боитесь, что разыграется обычная история,— благодарности, слезы, растерянность. Ничего не будет. Я не буду ни благодарить вас, ни плакать, ни вообще разыгрывать мелодраму».

Берг скомкал письмо и засунул в карман.

— Ну что? — спросил Левшин.

— Ладно. Я приеду, но не сейчас. Из Москвы.

— Когда хотите.

В чайной просидели до вечера. Хозяин принес им обед — горячий, полный перца и пара. Вечером турки достали всем плащи, Нелидову закутали в бурку и кое-как, прячась под дырявыми навесами, добрались до гостиницы. На перекрестках Левшин (он был в высоких сапогах) переносил всех на руках через улицы, шумевшие, как горные реки.

В Батуме прожили два лишних дня. На третий день ливень прошел. К вечеру в стекла ударил влажный солнечный свет. Улицы зашумели. Глан предложил пойти к Левшину.

На пароходе в каюте у Левшина пили кофе, в никелированном кофейнике умирал в пламени закат. Сусальным золотом были залеплены стекла. Пальмы на Приморском бульваре напоминали Африку,— они казались черными и неживыми на кумаче грубого заката. Белая толпа шумела в сырой зелени. Вымытые ливнем огни ходили столбами в воде, разламываясь и выпрямляясь в длинные дороги.

На следующий день уезжали. Заремба взял отпуск. Он напросился ехать вместе со всеми в Тифлис. Свайную свою

хижину он оставил на поечение курдюнки. На вокзале провожал Левшин, а после первого звонка пришел Фигатнер и сказал Зарембе мрачно:

— Смотри, они тебя обворуют,— подозрительные типы.

— Брось трепаться!

— Прошу со мной в таком тоне не разговаривать.— Фигатнер зло уставился на Зарембу.— Я двадцать пять лет честно работаю, как последний сукин сын, и ты передо мной щенок. Связался с какими-то типами и институткой.

— Кто это? — спросила Нелидова Зарембу.

— Репортер один, ненормальный. В каждом городе, знаете, есть свои чудачки, так это наш, батумский чудак. Черт его принес.

Фигатнер возвращался с вокзала на Барцхану, подозрительно поглядывая на встречающих детей и собак, и бормотал:

— Скотина. С нищенкой связался. А еще партиец! «Сделаю из нее человека». Тыфу! — Фигатнер плюнул и оглянулся.— Обворует она тебя, как последнего идиота, туда тебе и дорога. Метранпаж, а тоже лезет в партию.

Фигатнер окончательно расстроился, зашел в духан и заказал стакан вина. Поданный стакан он злобно повертел, позвал хозяина и сказал, что все это — лавочка и сплошное безобразие: в прошлый раз давали большие стаканы, а сейчас черт его знает что — в микроскоп такой стакан и то не увидишь.

Вскоре Фигатнер вышел, пообещав завтра же написать заметку о сволочуге-духанщике,— пусть знает, как обманывать посетителей.

— Азиат,— бормотал он.— Я тебе покажу швили-швили, ты у меня поплачешь.

В это время поезд уже прошел Чакву. Глан завалил купе мандаринами. Ему все здесь нравилось — и контролеры, кричавшие на пассажиров страшными голосами: «А ну, покажи билет», — и черные поджарые свиньи, бегавшие по вагонам в Колбукетах, визжа и выпрашивая подачку, и бродячие музыканты, жарившие под говор горбоносых пассажиров всё одну и ту же песенку:

Обидно, эх, досадно,
Да черт с тобой, да ладно!
Что в жизни так нескладно
Мы встретились с тобой.

Музыканты ехали без билетов на свадьбу в Натанеби. Контролер накричал на них и позвал двух смущенных парней с винтовками. Пассажиры сразу вскочили, закричали. Глан слышал только одно слово:

— Натанеби, Натанеби...

Музыканты махали смычками, яростно выворачивали рваные карманы, парни с винтовками скалили зубы. Потом музыканты сели и, закатив глаза, вытянули из скрипок жалостную

и берущую за душу «Молитву Шамиля». Мелодия крепла, через минуту она достигла чудовищной быстроты, и парень с винтовкой, отдав ее беззубому испуганному старцу, пустился в пляс.

— Ах-ах, ах-ах,— кричал весь вагон, похлопывая в ладоши.

За Кобулетами поезд шел через обширные, затопленные ливнем лагуны. В воде сверкало солнце. Праздничная страна открылась за окнами вагона.

Нелидова стояла у окна, Берг высунулся в соседнее окно и крикнул ей, показывая на слюдяной широкий огонь за зарослями тростника:

— Прощайтесь с морем!

Нелидова вдохнула ветер: с гор дуло счастьем.

ГОЛУБЯТНЯ В СОЛОЛАКАХ



о Верийскому спуску муши несли рояль, поскользнулись, и рояль рухнул на землю, наполнив воздух громом и звоном. Собралась толпа. Худые и рьяные милиционеры непрерывно свистели, не зная, что делать дальше. Муши стояли, отирая пот. Рояль упал на трамвайные рельсы и остановил движение.

Капитан, будучи любопытным, влез в гущу толпы и ввязался в спор,— должны или нет муши отвечать за рояль. Чернорусые люди в широких штанах притопывали на тротуарах и жалостно чмокали жирными губами: «Ай, хороший рояль, богатый рояль». Извозчики остановились, слезли с козел и пошли расследовать дело.

Толпа росла пчелиным роем, качалась и гудела. Хозяин рояля, сизый и страшный, рвался из рук милиционеров к старшему муше и хрипел, потрясая кулаками:

— Отдай деньги, отдай семьсот рублей, кинтошка! Ты живой ходить не будешь, собака!

Муши невозмутимо слушали вопли и сплевывали. Сочувствие толпы было на их стороне. Крышка рояля отлетела, обнажив стальные порванные нервы. Сухость дерева, из которого был сделан рояль, вызывала представление о погибшей звучности, гуле педалей и приглушенном звоне бемолей.

Капитан оглянулся,— ему почудилось, что его окликнул знакомый голос. Из пролетки ему кто-то махал. Капитан взгляделся прикрывшись рукой от солнца,— это был Берг.

Капитан рванулся, создавая в толпе ущелья и водовороты. Около извозчика стоял Батури́н, худой и загорелый, и Заремба шерил беззубый рот.

— Здорово, свистуны! — гаркнул капитан, расцеловался со всеми и потряс Батурина за плечи.— Здорово, Мартын Задека!

— Погодите.— Батури́н взял капитана за локоть и повернул к извозчику.— Идемте, я вас познакомлю.

— С кем?

— С Нелидовой.

Капитан сдвинул кепку на затылок и уставился на Батурина.

— Что ж вы ни черта не написали!

Но ругаться было некогда. Батури́н тянул его за рукав, и капитан подошел к извозчику. Первое, что он увидел,— маленького человечка, похожего на обезьяну. Он сидел, поглядывая на толпу, и посмеивался. Рядом с ним капитан заметил молодую женщину и остановился. Чем-то она напомнила ему батумскую курдянку — легким ли своим телом, нежным загаром или темными и прозрачными глазами. Капитан представлял себе артисток пышными и капризными дамами, с лицами, ярко раскрашенными и обсыпанными пудрой, с множеством колец на пухлых пальцах. А эта была совсем девочка.

— Здравствуйте, капитан,— сказала она молодым голосом. В нем капитан услышал горькую ноту, говорившую о не изжитом еще и утомившем страдании. То, что она назвала его капитаном, ему понравилось,— в этом было признание его дальних плаваний, штурманских познаний, штормов — всей, маячившей за его спиной большой и пестрой жизни.

Капитан улыбнулся, снял кепку (это он делал в самых исключительных случаях) и крепко потряс руку Нелидовой. Он забыл, что она была женой Пиррисона — настолько это казалось неправдоподобным. С Гланом он поздоровался сухо и корректно. Около извозчика произошел короткий разговор.

— Сейчас о деле говорить не будем.— Батури́н предостерегающе взглянул на капитана. Капитан кивнул головой.— Прежде всего надо устроиться.

— Да едем ко мне. У меня чудесно!

Капитан жил у приятеля Зарембы, наборщика Шевчука в Сололаках. Шевчук снимал две комнаты,— одна осталась от жены, недавно его бросившей. Дом был похож на голубятню,— с пристройками, лестничками, узкими дверьми, куда с трудом протискивался человек, балконами над обрывом и каменным тесным двором. Как голубятню, этот дом на горе свободно обдувал ветер; небо казалось совсем близким.

Капитан ходил по дому с опаской: ему казалось, что он

залез внутрь хрупкой игрушки. Все трещало, прогибалось и жалобно стонало от каждого его движенья.

«Как жук в часовом механизме»,— думал о себе капитан.

Под капитаном провалились две ржавые железные ступеньки на лестнице и слетела с петли дверь,— капитан ее легонько толкнул. Во время ветра дом качался, как старый корабль. Лопались газеты, заменявшие во многих окнах стекла, хлопали двери, с пола подымалась пыль, по крыше ветер гонял тяжелые кегельные шары. Голубятня посвистывала и трещала, и у жильцов весело замирало сердце.

В день приезда был ветер. Синее небо блестело полосами, будто ветер проносил над городом сверкающие ткани. Голубятня пела и позванивала шеколдами дверей. На висячей террасе капитан варил кофе. Батурин сидел рядом с ним на корточках, и они тихо беседовали.

— Пиррисон здесь,— говорил капитан, опасливо поглядывая на окно, за которым была Нелидова.— Это не человек, а дьявол. Крутится, как бешеный кот, унюхал слежку. Я свалю дурака. Вместо того чтобы влезть ему в нутро, я ошетинился. Но иначе нельзя,— если бы вы видели эту лошадиную морду! Втроем мы его пристукнем. Я думаю, он — спекулянт, если не хуже. Вы говорите, что дневник он увез еще из Москвы. После этого все ясно. Ведь там чертежи. Ну, а как она?

— Хорошая женщина... Она его бросила.

— Зачем же она болталась по югу?

Батурин пожал плечами.

— Не знаю. Это человек со странной настройкой. Она наша, но... — Батурин поглядел на лысую гору Давида, потрогал пальцем чайник,— она надломлена. Вы представляете,— три года прожить с отъявленным негодяем, это чего-нибудь да стоит. Она, мне кажется, с усилием отбивается от апатии, старается вернуть себя прежнюю... Конечно, это трудно...

— Так... Как думаете, она нам поможет?

— Безусловно.

Капитан закурил, сплюнул, прищурился хитро на Батурина.

— Что и говорить,— девочка славная. И этот обезьянщик,— он говорил о Глане,— наш в доску. Ну, а как проделать махинацию с Пиррисоном?

Думали они долго. Кофе сбежал, и капитан не сразу это заметил.

— Сделаем так. Он живет в гостинице «Ной», на Плехановской, номер сорок девять, на четвертом этаже, окна в переулок. В номере он бывает только вечером. Я думаю, к нему должна пойти она и отобрать дневник. Соседний номер свободен,— я сегодня утром узнавал. Вы могли бы там поселиться на всякий случай. Будет вернее. А?

— Ну, дальше.

— Дальше ничего. Я уверен, что выйдет и так... В крайнем

случае придется вмешаться. Я буду караулить в переулке. В случае чего вы дадите знак в окно,— позовете, что ли. Возьмем Зарембу и Глана. Берг будет сидеть напротив «Ноя» — там есть духанчик. Если Пиррисону удастся удрать, он двинет за ним, чтобы не подымать шума в гостинице. С Нелидовой поговорите вы. Действовать будем завтра. Сейчас я их сплавлю, а вы берите чемадан и дуйте к «Ною». Она не должна знать, что вы будете рядом в номере.

— Почему?

— Когда человек ждет поддержки, он всегда наделает кучу ошибок. Понятно?

— Пожалуй.

После кофе Заремба пошел к Шевчуку в типографию предупредить о нашествии. Нелидова, Глан и Берг пошли в знаменитые серные бани. Берга радовало, что в банях этих бывал еще Пушкин. Батулин сослался на головную боль и остался. Через полчаса он вышел с капитаном, взял извозчика и поехал к «Ною». Капитан был прав,— соседний с пиррисоновским номер был свободен.

В номере капитан и Батулин оставались недолго. Они тщательно осмотрели его: в комнату Пиррисона вела дверь, она не была заколочена, около двери стоял комод.

— В случае чего комод можно отодвинуть,— прикинул капитан.— Я буду сидеть в садике напротив. Когда понадобится, зажгите в своей комнате свет.

На обратном пути зашли в духанчик, где должен был сидеть Берг, и выпили белого вина. Батулин наклонился к рваной клеенке, пристально ее рассматривал. Капитан сказал тихо:

— Бросьте волноваться, все обойдется.

— Я не о том. Вы дадите мне револьвер?

— Зачем?

— Пиррисон — человек опасный. Мало ли что может случиться...

— Стрелять все равно нельзя.

— Мне револьвер нужен,— трудно, запинаясь, сказал Батулин,— для самообороны. Вы подумали, что, может быть, он из шпионской шайки?

Капитан постучал пальцами по столу, зорко взглянул на Батурина.

— Вы точно знаете?

— Я предполагаю.

— Завтра узнаем. Если это так, то, конечно, разговор будет особый. Ладно, я дам револьвер. После истории с Терьяном я предполагаю то же, что и вы.

— Какой истории?

Капитан рассказал о выстреле, показал заштопанную кепку. Батулин слушал безразлично.

— Напрасно вы уверены, что все обойдется. Может, обой-

дется, а может быть, завтра он хлопнет кого-нибудь из нас. Я к этому готов.

Весь день Батури́н пролежал в солалакском доме, — у него всерьез разболелась голова. Он закрывал глаза и старался вызвать представление о громадном озере, сливающимся с небом. Это давало отдых и ослабляло боль. Лежал он на походной кровати, предназначенной для Нелидовой, — койка была узкая, теплая. В комнате стоял запах тонких тканей, запах молодой женщины.

Батури́н протянул руку, поднял с полу оброненную перчатку, сохранявшую еще форму узкой кисти, и закрыл перчаткой глаза. Стало легче. Морщась, он подумал, что они зря втягивают Нелидову в это дело. Как было бы хорошо, если бы дневник нашелся где-нибудь на улице или его удалось бы украсть у Пиррисона без сложнейших и неверных комбинаций, без суеты, подслушивания, без необходимости собирать в комок свою волю и шури́ть для зоркости глаза.

Боль медленно проходила. Он вспомнил керченские ночи, когда решил убить Пиррисона.

«Это бесполезно, — подумал он теперь. — Таких людей надо уничтожать организованным порядком, а не поодиночке».

Разговор с Нелидовой был поручен Батури́ну. Батури́н предложил вместо себя Берга, но капитан был неумолим.

— Вы не винтите, — в этом деле нужна тонкость... Кому ж, как не вам.

Как ей сказать? До сих пор Батури́н не знал толком, как она относится к Пиррисону, — женщина может прогнать и любить. Слезы ее в Керчи, детский ее ответ, что она плачет «просто так», были загадочны. Он вспомнил слова Нелидовой — «он убьет вас прежде, чем вы успеете пошевелиться» — и подумал, что револьвер берет не зря.

В соседней комнате ужинали. Пришел Шевчук, — русые усы его были мокрые от вина. Он зашел для храбрости в духан и был поэтому излишне предупредителен. Заремба рассказал капитану о курдянке. Капитан кусал папиросу и слушал молча, краска залила его шею, поползла к ушам.

— Береги девочку, — сказал он с угрозой. — Из нее можно сделать такую женщину... — Капитан спохватился. — Коллонтай сделать курдянскую. Понял, дурья твоя башка! Только полировка нужна. Смотри, не свихнись.

Заремба почесал за ухом. Слова капитана его взволновали и обидели.

— Свихиваться мне не с руки. Пусть подучится в Батуме, потом отправлю в Москву, в Университет трудящихся Востока, а дальше дорога открытая. Верно, товарищ Кравченко?

— Ну, пес с тобой. В Москве мы тебе поможем.

Нелидова примолкла. Из-под опущенных ресниц она осторожно разглядывала капитана. Этот шутить не любит. Крутой,

определенный, как жирная черта, проведенная по линейке: две точки и прямая. Две точки — рождение и смерть, прямая — жизнь. Но капитан улыбнулся, и сразу показалось, что за столом сидит мальчишка, дожидаящийся, чтобы кто-нибудь сказал глупость, после чего можно прыснуть со смеху. Кепка, сдвинутая на ухо, говорила о смелости, отпетой голове. В капитанском возрасте это было странно. Поражало Нелидову и любопытство капитана. Казалось, нет в мире вещей, которые он считал бы не заслуживающими внимания. Вот и теперь он был в восторге от Тифлиса, от здешнего богатства. К этому богатству он причислял все — и фрукты, и ковры, и кукурузу, и руды, и горные реки, и даже Сионский собор и могилу Грибоедова. Его занимала мысль об устройстве в Москве большой закавказской выставки. От этой выставки, по его мнению, глаза у всех полезут на лоб и в истории Союза будет открыта новая страница.

Берг ходил по комнате в светлом возбуждении. Тифлис он называл пушкинским городом. Судьба Пушкина была, по его словам, особенно приметна здесь, в Тифлисе. Он мечтал, что завтра же достанет «Путешествие в Эрзрум» и будет медленно, фраза за фразой, его перечитывать. Глаз был спокоен, — перемена мест еще усиливала общий пестрый тон его жизни, но не казалась событием.

На следующий день утром Батурин пошел с Нелидовой в Ботанический сад.

— Надо поговорить, — сказал он ей коротко.

Нелидова посмотрела на него с укором. До сада шли молча. Лицо ее опять стало холодным и бледным, как в Керчи.

В саду остановились на висячем мосту над водопадом. На турецком кладбище рыдали женщины. Из-за гор ползли тугие облака.

— Ну, говорите, — промолвила Нелидова, комкая в руке перчатку. — Что, время уже пришло?

— Да. Пиррисон в Тифлисе. Я думаю, что ему не вырваться. Нам нужно добыть дневник. Если бы он взял его из Москвы случайно, это была бы пустяковая задача, но он взял его сознательно. Он украл его. Это осложняет дело. Без борьбы он его не отдаст.

Нелидова уронила перчатку, — серый ручей затянул ее под камни. Батурин посмотрел вниз и спросил:

— Вы согласитесь пойти к нему и отобрать дневник?

Она отрицательно покачала головой. Батурин сказал тихо:

— Требовать мы не можем. Раз вы не согласны, будем действовать сами. Это гораздо рискованнее. Кто-нибудь да заплатится головой.

— Почему?

— Вы знаете, кто Пиррисон?

Нелидова натянуто улыбнулась.

— Спекулянт. Это его профессия.

- Мало. Кроме того, еще и шпион.

Они встретились глазами. Взгляд ее был темен и полон вызова

- Я не пойду к нему,— сказала она глухо и твердо.— Я любила этого человека. Он первый видел мои слезы, мой стыд. Я хочу одного — поскорей отсюда уехать. Я думала, что у меня хватит сил, согласилась ехать с вами. Теперь мне противно. Поймите,— вы, пятеро смелых, находчивых, сильных мужчин, подсылаете женщину, бывшую жену. Вы хотите сыграть на том, что, может быть, он еще любит меня и отдаст дневник, из-за которого вы подняли столько шума. Я не ждала этого. Вы называете его шпионом,— где доказательства? Вы понимаете, что говорите! Вы рыщете по всей стране, у вас развился прекрасный нюх, вы ловко его выследили и хотите поймать в заднюю на лакомую приманку — на меня. Ради чего это делается, я не могу понять. Вы входите с черного хода там, где есть пути прямые и верные

Например?

Пойдите к нему, скажите, кто вы, и потребуйте дневник. Кажется, просто.

Батури улыбнулся.

- Зря улыбаетесь. Это совсем не глупо. Вы вбили себе в голову, что охотитесь за опасным преступником, шпионом. Может быть, вы даже носите револьвер в кармане. Конечно,— это очень романтично. У пионеров от этих историй разгорелись бы глаза,— но вы-то, вы ведь не пионер. Пиррисон — опасный преступник! — Она засмеялась.— Пиррисон — ничтожество из ничтожеств. Разве такие бывают шпионы! Вы наивные мальчики вместе со своим капитаном. Вы забываете, что я человек, а не манок для птицы

Нелидова замолчала.

-- Это все?

Все

Хорошо. Мы действуем глупо, мы фантазеры и мальчишки. Но почему же вы согласились искать его вместе с нами? Вы этого не знаете? — Нелидова метнулась к Батурину, подошла почти вплотную.

-- Нет

- Тогда мне вам нечего и говорить.

Она отвернулась и пошла в глубь сада. Батурин поколебался и пошел за ней. В густой аллее она села на скамейку и, не глядя на него, сказала резко:

Ну, договаривайте. Давайте кончать.

— Давайте. Конечно, нельзя бы втягивать вас в это дело. Это план капитана. Капитан спросил меня, согласитесь ли вы сегодня вечером пойти к Пиррисону, взять дневник и передать его нам. Я ответил — да, безусловно согласится. Во всем виноват только я, — ни капитан, ни Берг, ни Глан — никто не давал за

вас никаких обещаний. Я неправильно понял вас в Керчи. Я вообще не понимаю половинчатого отношения к людям. Если я считаю человека заслуживающим уничтожения, то не буду охранять его от опасностей. Это — азбука. Я приписал свои свойства вам, — конечно, это глупо. Но я плохо соображаю последнее время, — вы должны меня понять. Помимо дневника, у меня есть свои счеты с Пиррисоном. Я сведу их сегодня же.

Батурин замолчал.

— Ну, дальше.

— Дальше ничего.

— Вы опять говорите об убийстве?

Батурин пожал плечами.

— Я считаю, что наш разговор бесцелен.

— Ну, идите, — сказала Нелидова вяло, не подымая глаз. — Вы — неистовый человек. Вы неистово ненавидите и неистово любите. Его смерть — ваша смерть. Мне все равно. Делайте как знаете. Пусть не ждут меня там, в Сололаках. Вечером я приду за вещами.

Батурин медленно вышел из сада. Снова, как в Москве, в голову лезли дурацкие мысли.

— Жарок день тифлисский, жарок день тифлисский, — повторял он, спускаясь по каменным лестницам в город.

День, бледный и серый — с гор нагнало густые облака, — был неуютен и вызывал апатию.

Дома Батурин сказал капитану:

— Я ошибся. Она отказалась. Я беру все на себя. Сигнал только будет другой, — если вы понадобится, я погашу свет не у себя, а в комнате Пиррисона.

— А что с ней?

— Не выдержала. Уезжает.

Он ждал сердитых вопросов и ругани, но капитан был спокоен:

— Куда ей, — совсем девчонка. Конечно, страшно.

Берга история с Пиррисоном, видимо, мало интересовала. Глан погрыз ногти и пробормотал:

— Да, жаль, жаль... Ну, что ж, в конце концов это не наше дело.

К вечеру Батурин пришел в гостиницу. В номере стояла духота, сдобренная запахом застоявшегося табачного дыма. Батурин открыл окно и выглянул: в садике уже сидели, покуривая, капитан и Заремба.

Батурин осторожно отодвинул комод, прислушался, — Пиррисона еще не было.

Он лег на кровать, закурил. В садах рыдали певцы — ашуги. Над Курой загорались звезды, — их пламя было как бы новым, ослепительным. Кура несла обрывки этого пламени в мутной воде. Батурин лежал и думал, что вот через час-два случится неизбежное; отступать теперь поздно.

— Слава богу, конец,— прошептал он. Жизнь в Пушкине, Миссури, желтое солнце на снегу казались замысловатым детством.

«Если бы он убил меня»,— подумал Батурин.

Душно, противно дуло из окон. Валя умерла, прошлые дни шумели штормом, давили тоской по всему, что, конечно, никогда не вернется.

Сегодняшний разговор с Нелидовой показал Батурину, как плохо он вдумывался в жизнь, как мертвы его мысли. Как плоско он отвечал ей,— совсем не то, что нужно. Он понял, что, как и все, он боится говорить о главном. Невысказанность мучила его. В ней, в этой невысказанности, в трусливости перед самим собой — главное несчастье его жизни.

— Пустой болтун,— сказал он громко и покраснел.— Ну, все равно. Сегодня все решится.

От волнения, от множества тугих и запутанных мыслей он задремал. Проснулся он внезапно, как от яркого света, и похлодел: за окном густо синела ночь. Он поднес к глазам часы,— было половина одиннадцатого. Он проспал больше двух часов.

За дверью были слышны голоса. Батурин сел на кровати и прислушался. Судорога дергала его лицо. Сердце стучало гулко, на всю гостиницу,— казалось, бой его несся по пустым коридорам.

За стеной была Нелидова и «он». Пиррисона Батурин в мыслях теперь называл «он».

Батурин осторожно встал с кровати, подошел к двери, нащупал в кармане револьвер,— сталь была теплая. Он прислушался.

— Редкая случайность,— говорил мужской голос с легким смешком. Голос был ровный, без интонаций,— так говорят люди, глубоко уверенные в себе.— Я очень рад, что это случайность.

Нелидова отвечала тихо. Батурин придвинулся к самой двери. Говорила она запинаясь, казалось, что она ждет, прислушивается.

— Об этом нечего говорить. Совершенно неожиданно я узнала, что вы здесь, в Тифлисе. Я не искала вас... Я знаю вас слишком хорошо, чтобы делать такие глупости. Я еще не сошла с ума...

— Вот как! Но зачем же вы все-таки пришли сюда? От кого вы узнали, что я живу здесь?

Нелидова молчала. Послышались шаги, потом в двери щелкнул замок.

— Говорите, не бойтесь. Это меня интересует больше всего. Голос Нелидовой прозвучал глухо и страстно:

— Это не важно. Я нашла вас. Я пришла задать вам несколько вопросов.

— Пожалуйста.

Мужчина остановился и насвистывал. Очевидно, он засунул руки в карманы брюк и насмешливо глядел на Нелидову.

— Вы жили в Ростове с проституткой? Ее имя Валя.

Свист за дверью стал громче.

— Ну и что же? Что с ней?

— Она умерла.

В комнате что-то упало.

— Сядьте, — сказал приглушенно мужской голос, — сядьте и слушайте. Вы — моя жена. До сих пор мы формально не развелись. Вы, я вижу, знаете многое. Я сопоставляю два факта, — вы знаете о смерти этой уличной девки и о том, что я в Тифлисе. Вы разыскали меня здесь. Говорите дальше, — что вы еще хотите?

— При чем тут жена?

— Сначала спрашивайте, я отвечу сразу на все вопросы.

— У вас тетради моего брата?

В комнате было тихо.

— Где Ли Ван?

Батурин услышал как бы новый мужской голос, — он хрипло сказал:

— Достаточно! Тетради вашего брата здесь, в портфеле. Это интереснейший документ. Насколько я помню, вы его не читали. Теперь оказывается, вы им сильно заинтересованы. Ваше любопытство подозрительно. Слушайте. Но... спокойно. Да, я жил с проституткой, и ее убил Ли Ван Ли Ван здесь. Надеюсь, что для вас этого довольно. Повторяю, вы все еще — моя жена. За каждый мой шаг вы ответите вместе со мной. Я играю ва-банк. Ваше появление говорит, что игра моя может сорваться. Я не знаю, кто вас подослал, но я догадываюсь. Вы пришли как враг. Было бы глупо выпустить вас, не получив никаких гарантий, что вы будете молчать. Какие же вы можете дать мне гарантии? Я жду.

— Отдайте мне тетради и выпустите меня. Я не сделаю вам зла.

Мужчина засмеялся и опять начал насвистывать. Батурин вынул револьвер и перевел кнопку на «огонь».

— Я жду...

После минутного молчания Батурин услышал звенящую и ясную фразу:

— Вы — подлец, Пиррисон! Вы убили эту девушку!

— Не кричите. Всегда убирают тех, кто слишком догадлив. Бросьте глупости. Девушка много знала.

Пиррисон говорил теперь горячо и неосторожно.

— Боюсь, что вы тоже слишком догадливы. Я — солдат, я каждый день рискую головой. Это чудовищное сплетение обстоятельств, не больше, что вам удалось узнать так много. Я согласен отдать вам часть тетради. Вам нужна память о вашем брате, — он был храбрый и умный человек. Вот, берите

(на стол что-то упало). Уходите сейчас же. Завтра вас не должно быть в Тифлисе. Каждый ваш шаг я прослежу и в случае...— Пиррисон остановился,— но вы понимаете сами. Я сказал, что Ли Ван здесь. Даже больше, я ждал вас к себе в ближайшие дни,— дом в Сололаках вот-вот развалится. Здесь вы могли бы устроиться с большим комфортом. Можете передать этому дураку в морской фуражке, что он кончит плохо. За это я ручаюсь. А теперь — вон!

Пиррисон, видимо, волновался. Темная кровь ударила Батурина в голову,— на секунду ему показалось, что он ослеп.

— Так вот что...— Нелидова говорила громко.— Ну, ладно же...

Батурин услышал легкий крик, возню. Пиррисон быстро прошептал:

— Тише, ты, дрянь!

Упал стул. Батурин услышал тяжелый стон и сильно ударил плечом в дверь. Она распахнулась легко и бесшумно. Полутьма комнаты ослепила его. Пиррисон стоял спиной к нему, навалившись на стол и зажимая Нелидовой рот,— с пальцев его текла кровь. Нелидова полулежала на столе, упираясь в его грудь руками, глаза ее были закрыты.

Первое, что ясно заметил Батурин,— шнур от настольной лампы. Он наклонился и рванул его,— лампа с грохотом упала и погасла.

— Кто там? — крикнул Пиррисон, и голос его сорвался.

— Стоп! — Батурин до боли сжал в руке рукоятку револьвера.— Тихо... или я буду стрелять.

Пиррисон повернулся и медленно отступал к окну. Круглые и взбешенные глаза его перебежали с раскрытой двери на Батурина,— из комнаты Батурина падал желтый свет.

Батурин поднял револьвер. Первый раз в жизни он так близко целился в человека. Не спуская с Пиррисона глаз, он осторожно шел к столу. На столе лежал желтый, тугой портфель.

Нелидова сидела на столе, глаза ее были широко открыты, она что-то беззвучно шептала, глядя на Батурина, губы ее были в крови.

В зеркало Батурин заметил, что Пиррисон тянет руку к заднему карману брюк.

— Ну, где же Ли Ван? — Батурин не узнал своего голоса.— Вернул он вам вашу простыню?

Пиррисон молчал,— было слышно его хриплое и прерывистое дыхание. Батурин потянул к себе портфель и в ту же минуту в дверь громко и требовательно застучали. Пиррисон присел. Батурин выстрелил,— в руке Пиррисона он заметил крошечный черный револьвер, похожий издали на дамский портсигар.

«Стой, не уйдешь!» — подумал Батурин. Кто-то сильно толкнул его в плечо. Глухо хлопнул дамский браунинг, в четырех-

угольнике открытой в соседний номер двери метнулась квадратная спина Пиррисона.

Батурин увидел вдруг исполинские звезды, ему показалось, что на плече у него переломили толстую бамбуковую палку. Он споткнулся и упал вниз лицом. Последнее, что он помнил,— сильный ветер и женский крик.

Потом его долго и мутно качало, и лампочки, множество лампочек слепило глаза.

— Все кончилось,— прошептал он и вздохнул.— Нет, ничего, все кончилось... Не сердитесь...

Очнулся он через сутки в больнице на Цхнетской улице. В белой палате стоял синеватый вечерний свет,— еще не зажигали ламп.

Батурин хотел повернуться к стене,— слезы подступили к горлу: левое плечо хрустнуло и горячо заныло. Он искоса взглянул на него,— оно было забинтовано, и рука накрепко прибинтована к туловищу полотняными бинтами. Пахло йодом, больницы чистотой.

Тишина была прекрасна. Батурин прислушался и не услышал ничего — ни мягкого шарканья туфель, ни хлопанья дверей, ни отдаленных голосов. Казалось, что он покинут в этой белизне и пустынности, что капитан, Берг и Глан ушли в небытие, их нет... Нет беспорядочной жизни, не надо думать о чужих и загромождающих душу вещах.

Правой рукой он осторожно провел по лбу,— испарина выступила на нем. Невесомая пустая усталость лежала в теле; хотелось горячего крепкого вина.

«Лежать бы месяц-два,— подумал Батурин.— Лежать, засыпать, просыпаться и думать о Вале, о старинном портовом городе, откуда уехала Нелидова, может быть, так и умереть в этом белом молчании».

— Никого не хочу,— прошептал Батурин.— Не хочу никого, даже ее, Нелидову. Девочка запуталась в жизни. Она любит этого негодяя. Ну и пусть. Пусть он душит ее, бьет, пусть она дрожит перед ним, как собачонка.

Он мстил за Валю, за мучительные мысли о счастье, о чистоте человеческих помыслов. Новую свою веру в человека, в вечную его молодость он как бы укрепил своей кровью.

Он догадывался, что Пиррисон ускользнул, но думал, что дни его можно пересчитать по пальцам.

«Жаль, что ушел,— подумал он о Пиррисоне.— Как это я промахнулся!»

Он вспомнил о Ли Ване, забеспокоился, дотянулся до кнопки на столике и позвонил. Звонка не было слышно,— он потонул в глубине вечернего безмолвия. Пришла молоденькая грузинка-сестра и сказала ласково:

— А... вы очнулись. Хотите горячего?

— Да...— Батурин задыхался от слабости.— Да... Мне нуж-

но срочно видеть капитана Кравченко. Запишите адрес и вызовите его ко мне.

До конца приемного времени оставалось больше часа. Батурин тревожился, смотрел на дверь. Ему казалось, что сестра забыла послать за капитаном.

Вместо капитана пришел Берг. Он боялся громко говорить, поглядывал на Батурина и мял в руках кепку.

— Ну, слава богу,— сказал он шепотом.— Наконец вы очнулись. У вас прострелено плечо, рана несерьезная. Обморок у вас был из-за нервного потрясения. Лежите, не двигайтесь. Я сам расскажу вам все по порядку.

— Погодите...— Батурин поднял голову и поглядел в глубь блестящего линолеумом коридора.— Погодите... Сейчас очень опасно... С ним в Тифлисе его слуга, китаец, ну... тот самый, о котором я говорил на пароходе... помните, конечно... Они из одной шайки. Ли Ван убил Валю за то, что она слишком много знала. Понимаете, Берг, она слишком много знала.

Берг положил холодную руку на его локоть и попросил:

— Потом расскажете, лежите тихо.

— Нет... постойте... Ли Ван здесь... Он страшнее Пиррисона. Вы не знаете сами, под какой опасностью ходите. Бросьте дом в Сололаках, уезжайте... Скажите капитану,— нужна крайняя осторожность, особенно на улицах...

— Успокойтесь, Батурин. Сегодня ночью арестовали и Пиррисона, и этого самого китайца. Их захватили в Мцхете. Все в порядке.

Батурин закрыл глаза, лоб его покрылся испариной.

— Как?!

— Очень просто. Капитан сообщил властям. Они уже сидят, и, конечно, не вырвутся. Разговор с ними будет короткий. Вчера было паршиво. Мы ждали с семи до одиннадцати часов, пока потух свет. Первыми бросились в гостиницу капитан и Заремба. В коридоре они столкнулись с Пиррисоном,— он выскочил из соседнего, вашего номера. Он был без пиджака, с дамским браунингом в руке. Капитан понял, что случилось неладное. Он дал ему подножку — совершенно детский прием — выбил револьвер, но Пиррисону удалось бежать. Он вскочил в трамвай на ходу, трамвай шел к Муштаиду. Я пришел в номер, когда там была уже милиция. Первое, что я увидел,— это вас. Вы лежали ничком, в крови; у вас с трудом разжали руку и вынули револьвер.

Нелидова была там. Это было так неожиданно, что капитан до сих пор ходит как чумной. Как, почему она там оказалась! Она сейчас в Сололаках, но ее страшно спрашивать. Она всю ночь проплакала,— мы не спали, ходили кругом нее, а чем помочь — не знаем.

Даже капитан с ней нежен. Вы представляете капитанскую нежность,— нужны железные нервы, чтобы выдержать его заботу.

Она сказала капитану только одно: «Я пришла к Пиррисону, чтобы помочь вам,—довольно вам этого?» Капитан ответил: «Еще бы...» — и спасовал. Кажется, это первая женщина, с которой он считается всерьез. Дневник у нас. Я кое-что прочел, есть поразительные вещи. Насчет моторов, конечно, я ни черта не понял. Дело сделано. Вы поправитесь, и тогда мы двинем в Москву. Вот только за нее страшновато. Уж очень она ходит чудная.

Берг помолчал.

— Да... вот... Нелидова просила узнать,—ничего, если она придет сюда завтра вечером?

Батурин молчал. От слабости у него кружилась голова. Берг добавил, глядя в пол:

— Когда Пиррисон выхватил револьвер, она толкнула вас в плечо, иначе кончилось бы хуже: он целил вам в голову. Вы должны повидаться с ней.

— Берг,—голос Батурина звучал глухо и печально,—Берг, я не скажу ей, что ненавижу ее. И вы теперь не сказали бы этого Вале, если бы можно было вернуть прошлое. Правда?

Берг наклонил голову

— Мы друзья,—сказал он тихо.—Жизнь переплела мою судьбу с вашей. Я думаю, что мне осталось жить совсем не долго: сердце свистит, как дрянной паровоз. Сейчас не будем говорить об этом, но потом, когда вы поправитесь, вы расскажете мне все о Вале. Она не могла простить меня. Такие вещи не прощают. Она любила вас,—скрыть этого вы не можете. Ну, что ж. Одним дано, чтобы их много любили, другим... Но не в этом дело. Жизнь раздвигается. Никогда я так не тянулся к жизни, как вот теперь. Мне нужно все, понимаете, все. Из этой жизни я создам хорошую повесть, и в этом будете виноваты вы.

Берг слегка потрепал руку Батурина.

— Ну, что же ей сказать?

— Можете сказать все, что придет вам в голову. Она должна прийти,—поняли? И капитан, и Глан, и Заремба — все!

Берг ушел, насвистывая. Сестра сделала ему замечание,—в больнице не свистят. Берг покраснел и извинился. На Головинском он купил жареных каштанов. По улицам бродил ветер и перебирал сухими пальцами дрожащие яркие огни.

Ночь, стиснутая горами, казалась гуще и непроглядней, чем была на самом деле. Батурин смотрел за окно, считая звезды, насчитал тридцать и бросил. Мысли его разбегались. Тонкий свет ложился квадратом на пол у самой кровати,—в коридоре горела слабая матовая лампочка. Батурин дремал, множество снов сменялось ежеминутно. Тело тупо ныло, хотелось повернуться на бок, но мешала забинтованная рука.

Утром ему делали перевязку. Он стиснул зубы, побледнел, но промолчал.

Утро пришло пасмурное. Сестра сказала, что на улице холодно. Около кровати потрескивало отопление. Батурин уснул, его будили два раза — давали чай и мерили температуру. Батурин покорно позволял делать с собой все, — сестра даже пригладила его волосы, он только устало улыбнулся.

Врач, перевязывая его, удивлялся его сложению, говорил ассистенту: «Смотрите, какое хорошее тело!» Батурин краснел. Ему казалось, что тело его налитое жаром и болезнью, каждый нерв дрожал и отзывался на прикосновение прохладных рук врача.

В сумерки он задремал и не заметил, как вошла Нелидова. Он дышал неслышно. Нелидова наклонилась к его лицу, — ей показалось, что он не дышит совсем, у нее замерло сердце. Потом она ощутила на своей щеке горячее его дыхание, села на белый маленький табурет и долго смотрела за окно. Ветер качал деревья. Сумерки казались уютными от освещенных окон.

Батурин открыл глаза, туманные от множества снов, увидел Нелидову и спросил тихо:

— Что ж вы не разбудили меня?

Нелидова резко повернулась, тревожные ее глаза остановились на его лице. Она молчала, потом с ресниц ее сползла тяжелая слеза.

— Не надо плакать. — Батурин говорил очень тихо, задыхаясь. — Я причинил вам много горя. Если бы я мог, я давал бы таким людям, как вы, только радость... много радости, столько радости, что ее хватало бы на весь мир.

— Нет, нет, — Нелидова схватила его здоровую руку, щеки ее залил румянец. — Вы должны простить меня за Керчь, за разговор в Ботаническом саду.

— Я знаю все, что было там... в сорок девятом номере.

Он улыбнулся. Казалось, эта улыбка решила все, — годы тревоги, тоски, одиночества были позади. Она улыбнулась в ответ.

— Зачем вы пришли к Пирриону?

Нелидова помолчала, потом нервно рассмеялась:

— Затем, чтобы оберечь вас от смерти.

Батурин закрыл глаза, — голова опять сильно кружилась.

— Вот вы спрашивали, почему я уехала на юг. Бежала. Бежала от кинорежиссеров, от сотрудников киножурналов, от операторов, от всех этих кинолюдей. Они носят толстые чулки, черепаховые очки, «работают» под американцев, в большинстве — они наглы и самомнительны. В провинции люди проще и человечнее. В провинции можно читать и гораздо острее чувствуешь. Даже заботы приятны: принести из колодца воды, пойти на рынок ранним утром, когда море спит глаза. Я хотела отдыха, — не санаторного, а действительного отдыха: тишины, книг, любимой работы, неторопливости. Надо было разобраться в прошлом. И в Керчи я вас встретила враждебно, потому что вы принесли это прошлое.

Выздоровление свое Батури́н ощущал как безмолвие, как осторожные шаги друзей — капитана, Берга, Зарембы, Глана, приносившего в кармане плоскую флягу с коньяком. Нелидова никогда не приходила одна — всегда с Бергом или Гланом. Движенья ее были порывисты, она боялась молчанья.

Вся жизнь теперь сосредоточивалась вокруг больницы: Берг приходил и читал отрывки из своего нового романа. Капитан, успокоенный и иронический, снова обрел свой стержень и вращался вокруг него, как огненное колесо, разбрызгивая острые словечки и смехотворные истории. Глан бродил среди всех, как добрый дух сололакского дома.

Батури́н выписался через две недели. За ним приехали Нелидова и Берг. Похудевший, он вышел на крыльцо, опираясь на плечо Нелидовой. Осень пронесилась в прозрачном небе. Крепкий ее воздух обжигал губы.

— Обопритесь на меня крепче, — сказала Нелидова, — у вас кружится голова.

Она заглянула Батури́ну в глаза, и он подумал: «Как много в этом городе солнца».

РОДНИКОВЫЙ ВОЗДУХ



а станции Казбек испортился руль. Седой шофер натянул синюю замасленную куртку и полез под машину. Серый и низкий «фиат» был еще тепел от стремительного бега над пропастями, шиферная пыль покрывала его лакированные крылья.

Внизу переливался через камни мутно-зеленый Терек. Казбек был в тумане.

Стояла осень. На днях должны были закрыть Военно-Грузинскую дорогу. В долинах Арагвы глаз отдыхал на багряных виноградниках.

Перевалы напоминали о море в синий зимний день, — так же чист был воздух, и снега ослепляли зернистой белизной.

В это время года дорога пустынна. Встречались только скрипучие арбы, нагруженные камнями, и молчаливые всадники в потертых бурках. Они косились на машину и сдерживали поджарых коней.

Машина гулко неслась, стреляя щебнем в парапеты, и не-

затишающее ее движение создавало впечатление неподвижности: седой и стареющий к зиме Кавказ вращался вокруг громадами хребтов, багрянцем долин, тишиной и невесомым небом.

Север приближался с каждым километром: впереди были степи, оттуда задувал временами ледяной ветер, и шофер натянул после перевала меховую рыжую куртку.

Нелидова зябла, от холода лицо ее побледнело. В Пассанаури к машине подошел грузин-пастушонок, крошечный и печальный. Ему было не больше семи лет; он держал за ремень и тянул по земле старинное кремневое ружье. Козы блеяли на скалах. От земли шел запах высохшей травы.

Нелидова вышла из машины. От глубокого безмолвия, от тесноты гор и ясного ощущения осени у нее сжалось сердце. Она подняла пастушонка на руки и поцеловала в тугую, смуглую щеку. Пастушонок вырвался, подобрал ружье, отошел в сторону и долго смотрел на машину и на странных людей, пивших на террасе духана вино и горячий чай. Люди эти были веселы и старались заманить его поближе, особенно один — высокий, с золотой бляхой на кепке. Он протягивал пастушонку шоколад в серебряной бумаге и говорил хриплым и страшным голосом: — Ну, иди, иди, чего ж ты боишься!

Пастушонок не выдержал, подошел, схватил шоколад и побежал к своим козам. Ружье скакало и гремело по камням.

В Казбеке задержались. Починка была сложная, и шофер чинил не спеша: близился вечер, а ночью ехать было все равно нельзя. Пришлось заночевать в пустой и холодной гостинице, — двери в ней не закрывались.

Хозяин — лодырь и, видимо, неудачник — пил вино с аробщиками и не обращал внимания на посетителей. Пусть устраиваются, где хотят, все комнаты свободны, — пожалуйста, выбирай, что нравится. Глан походил по гостинице, поднялся по скрипучей лесенке наверх и выбрал самую холодную комнату, окнами на Терек и Казбек.

Густел вечер, горы стали мрачными. Казалось, из ущелья нет выхода, и всю жизнь будет этот сизый сумрак, пустынность, холодное небо, где плыли красные предветренные облака.

Когда все легли на кошме, укрывшись плащами и бурками, Батурин достал дневник Нелидова, сел к столу, открыл наугад и начал читать.

«На большой высоте хорошо бы остановить мотор, добиться, чтобы аппарат парил над землей, и дышать. Люди давно потеряли ощущение дыханья. Ни одно чувство не может сравниться с ним. Во время полета из Тифлиса в Москву я сел в горах: началась течь в бензиновом баке. Я чуть не свернул себе шею. Вдали были горные пастбища. У самых колес аппарата шумела по камням вода, я опустил в нее руку, — рука заледенела. Было раннее утро, незнакомая страна дымилась в долинах. Над ее

дымом стоял этот воздух, пахнувший снегом и молодостью. Я дышал медленно, с наслаждением, и мне казалось, что я глотаю синий лед. Голова свежела с каждой минутой. Я разделся, облился водой, закурил и лег у колес аппарата, укрывшись пледом. Я спал очень долго и, проснувшись, понял, что лучшее, что есть в мире,— родниковый воздух и горная тишина...»

Батурин перевернул несколько страниц.

«Қосматый осенний рассвет над Парижем. Внизу только мутный блеск аспидных кровель. В дожде — запах вянущих и пышных парков — всех этих Версалея, Сен-Клу, Монсо. Дождь мелко и тепло бьет в лицо, — я лечу в бесконечном душе. Справа как будто угадывается дымящаяся туманом Англия.

Аэродром скользкий, пустой. Дождь шуршит в боскетах. Люди под зонтиками спешат к аппарату. Я жму мокрой рукой их теплые земные руки, — в них еще сохранилось тепло постелей и комнат, наполненных кофейным паром.

Сонный, зябкий, я еду на машине в полпредство, рядом со мной сидит сотрудница его, московская девушка, платье не закрывает ее круглые маленькие колени. Она смотрит на меня смущенно из-под мокрых ресниц и не знает, о чем говорить. Париж блестит, тонет в черном асфальте, в росе этого чудесного дождя, и я дремлю, сползаю на кожаные подушки сиденья, вижу, как вверху проносятся голые ветки платанов и окна мансард, освещенные изнутри, — раннее утро похоже на сумерки. Девушка трогает меня за рукав и говорит: «Потерпите еще немного, милый, уже скоро». Так говорят сестры или любимые женщины. Я с изумлением смотрю на нее. Я ничего не понимаю, — мне кажется, что только сон разрешит эти странности жизни, без которых жить все же невысказано.

Так я провел в Париже два дня в легком волнении. Впервые мне не хотелось летать. Я почувствовал привязанность к земле, к мокрым дорожкам в садах, к вкусу жареных каштанов, к круглым девичьим коленям и к веселым глазам парижских шоферов. В этих днях было смешение диккенсовского уюта с новейшими моторами «ситроена». Мне нестерпимо хотелось поехать в Бретань, в эту страну, похожую на детские переводные картинки. Там клейко и старо пахнет зеленью и морем. В такие дни жизнь казалась мне сделанной игрушечным мастером, — от нее шел запах свежих опилок, краски и снега...»

Батурин закрыл тетрадь, задул свечу и подошел к окну. Над горами полыхали звезды. Монотонно гудел Терек, да слышался пьяный храп неудачника-хозяина.

Батурин осторожно лег рядом с Бергом. От холода у него ныло плечо, он не мог заснуть. Берг к утру проснулся, поглядел за окно. Сизый, как бы налитый мутной водой рассвет неуютно

вползал в комнату. Берг согрелся, и ему хотелось, чтобы ночь тянулась бесконечно. Он тихо спросил Батурина:

— Скажите мне правду,— она простила меня?

— Да.

— Как вы думаете,— спросил еще тише Берг,— лет через сто люди найдут способ вылечивать раны, которые теперь считаются смертельными?

— Конечно.

— Мы рано с вами родились, Батурин.

Капитан повернулся на другой бок и проворчал:

— Бросьте разводить философию. Вот невозможные типы! Берг затих.

Утром машина вынесла их из ущелья,— горы остались позади дымной стеной. Они прямо подымались из серой по осени степи. Над равниной висело реденькое, русское небо, дул теплый ветерок, пахло дымом соломы.

На западе глыбой ломаного льда синел Эльбрус. Кавказ отодвигался в туманы, в нескончаемые дали.

ЭХ, РОССИЯ, РОССИЯ!..



ароход из Москвы опаздывал. Паромщики разожгли на мокром берегу костер,— в осеннем дне зашумел огонь. Над Окой потянуло легким дымком. Приокские луга стояли в росе дождя, съеденные ненастьем. Бурые листья падали со старой ветлы у пристани.

Глан предложил пойти дожидаться в чайную. Нелидова и Батурин согласились. Они пошли через рыжие пески в Верхний Белоомут. С черных веток ветер стряхивал отстоявшиеся капли. За чистыми окошками краснела герань; казалось, воздух был пропитан назойливым сладким запахом ее листьев.

В трех верстах от Белоомута в сельце Ивняги жила нянька Нелидовой — бабка Анисья. Муж ее — огородник — все время пропадал по ярмаркам. Новый дом со светлой горницей весь год стоял пустой,— старуха жила на черной половине. Теперь в горнице поселились Нелидова, Батурин и Глан. Глан бывал в горнице только днем, ночевал он на сеновале. Батурин спал в клетушке около горницы, из окна была видна Ока, а по ночам — редкие береговые огни. Приехали они сюда на неделю, но жили уже две — ждали Берга.

В чайной на втором этаже, на закоптелых стенах были наклеены портреты вождей — Ленина, Калининна. За узкими окнами стучали о стену худые березы. Накрапывал дождь. Среди площади чернели дощатые ларьки — место густо унавоженных и сытых базаров.

— Эх, Россия, Россия! — промолвил Глан и задумался, глядя, как по верхушкам берез дует мокрый ветер.

Поздняя осень здесь, в Рязанской губернии, была холодна. Бодрили рассветы, съедавшие листву крепкой росой.

Глан любил ходить за покупками из Ивнягов в Белоомут через березовый лес. Идти и слушать, как шелестит дождь, насвистывать, смотреть на туман над Окой. Вода в реке была железного цвета.

Отогревшись в чайной, среди пара и белых фарфоровых чайников, Глан возвращался всегда в сумерки. Дни стояли короткие, похожие на серые и медленные проблески. Волчья тишина залегала в полях. С востока ползла густая и дикая ночь — ночь смутного времени, веков Ивана Грозного — косматая, ветреная, сдувавшая набок рыжие бороды паромщиков.

На пароме пахло прелой лошадиной шерстью и рыбой. Фонарь на шесте был беспомощен. При взгляде на него казалось, что никакой Москвы нет, — нет ни электричества, ни железных дорог, ни книг, ни театров, а есть только этот хриплый собачий лай, храп лошадемок, ослизлые телеги, хлопанье воды в сапогах да вот эти прибитые к земле, придавленные ночью Ивняги, Белоомуты, Ловцы и Борки. Жестяные лампочки за потными окнами вызвали мысль о тепле, заброшенности и желании спать, — спать до рассвета, когда моргающий денек прогонит ночную, непролазную тоску.

— Чудно! чудно! — пробормотал Глан и закурил.

Батулин спросил:

— Вам здесь не нравится?

— В том-то и дело, что нравится. Неожиданно все очень. Вчера на Оке встретил шлюпку, — идет под парусами к Москве. На шлюпке матросы-каспийцы. Шлюпка пристала у парома, матросы вышли, — всё молодежь, комсомольцы. Оказывается, — это переход из Баку в Москву. Я с ними чай пил, познакомился. Один из них рулевой Мартынов, он плавал на «Воровском» из Архангельска во Владивосток, видел Сунь Ят-сена, много о нем рассказывал. Вспомнили с ним Шанхай. Чудно. Пастушонок Федька влез в наш разговор: «У меня, говорит, дядька был командующим Красной Армией на Дальнем Востоке. Во! Рабочий, говорит, с Коломенского завода. Видал! Вот в энтот, говорит, месте он прошлый год рыбу удил, приезжал на побывку». А старик Семен мне все уши прожужжал про Малявина. «Вот которые, говорит, обижаются на мужичков, — дикий, мол, народ, бессознательный, матерщинники. Неверно! Брехня! Ты слушай, тут вот недалече усадьба художника нашего Маляви-

на,— что с ей было. Как дали свободу, все усадьбы падали, а в его усадьбе даже наоборот, мужички охранение поставили. Я сам в ем стоял. Для охраны картин. Чтоб ни-ни.. Мы тоже не лыком смётаны, кое-чего и мы понимаем. Ты не гляди, что я серый. Серость-то моя не больно простая». На днях встретил огородника Гришина. Болтали о сем, о том — больше насчет ярмарок: где лучше — в Егорьевске, в Коломне или Зарайске, а потом оказалось, что у этого огородника племянница — скульпторша Голубкина, ученица Родена. Вот и разберись. Матерщина. Женщины, прекраснее которых я не встречал, болота, и среди болот в дрянной церковке — икона, может быть Рублева, не знаю,— таких красок и мастерства нет и на Западе. Черт знает что. Паромщик Сидор молчал, молчал, а вчера проговорился: он в тысяча девятьсот пятом году был комиссаром Голутвинской республики, Гершуни знал, историю его расскажет лучше, чем мы с вами. Идет вот такой мужичонка, порты подтягивает,— смотришь на него и дрожишь, может быть, в душе-то он Толстой или Горький. Прекрасная страна, а сила в ней — рыжая, тугая, налита она ей, как вот зимние яблоки, румянец в щеки так и прет.

С Оки глухо затрубил пароход. Пошли не спеша на пристань. Пароход трубил за разрушенными шлюзами, верстах в пяти. У пристани сбились телеги. Лошаденки, засунув морды по уши в полотняные торбы, жевали овес. Подводчики похаживали около, вздыхали, ругались о каких-то «кровяных сазанах». Вода на реке морщилась от дождя.

Пароход с непонятным названием «Саратовский Рупвод» долго и бестолково шлепал колесами, навалился на пристань, пахнул теплом и паром. Берг махал с палубы кепкой. Сгорбленный, с поднятым воротником, он показался Нелидовой родным и печальным.

— Как чудесно,— сказал Берг возбужденно, здороваясь со всеми.— Как хорошо на реке. Я отдохнул на два года вперед.

В Ивняги пошли пешком.

От голых кустов с красной глянцевитой корой пахло терпко и славно. Над лесом небо прояснилось,— бледное солнце пролилось на серые колокольни Белоомута. Рыхлый песок был напитан влагой. Берг шел и отискивал глубокие следы; они напивались водой, такой чистой, что ее хотелось выпить. Встретились подводы — огородники везли в Зарайск яблоки. После подвод остался крепкий запах яблок и махорки.

— Как хорошо, что вы приехали сюда отдыхать.— Берг улыбнулся.— Вот где все можно продумать. Теперь слушайте новости. Дневник капитан уже сдал,— инженер потрясен, он даже заболел от этого. Наташа ждет вас. Капитан нашел комнату в Петровском парке и перевез туда Миссури и все свое барахло. На днях он получает пароход, где — не знаю, еще неизвестно.

Берг помолчал.

— Вы читаете газеты?

— Редко.— Глан заинтересовался: — А что?

— Да...— Берг замаялся. Зачастил дождь, и они пошли быстрее. Нелидова шла легко, перепрыгивая через лужи.— Да... Есть крупная новость... Дело в том, что Пиррисон...

Нелидова шла, не подымая голову,— казалось, она тщательно рассматривает дорогу.

— Пиррисона расстреляли,— сказал быстро Берг, остановился и закурил. Они стояли на берегу Оки у красного перевального столба. Река мыла глинистый берег.

— Он оказался шпионом,— добавил Берг и посмотрел на Нелидову. В напряженных глазах ее был холод, брезгливая морщинка легла около губ. Глан и Батурич молчали.

— Расстрелян также и тот, китаец.— Берг поднял с земли бурый стебель щавеля и внимательно его рассматривал.

— Где? — спросил Глан.

— В Тифлисе.

— Пойдемте, вы промокнете.— Нелидова пошла вперед по береговой тропе.

В горнице бабка Анисья собрала чай. Нелидова накинула легкий серый плащ,— ей было холодно. Она изредка проводила рукой по волосам, потом взглянула на Берга и сказала, болезненно улыбаясь:

— Милый, милый Берг, вы боялись, что мне будет трудно узнать об этом. Все это прошлое, такое же скверное, как и у вас. Я совсем не та, что была в Керчи и в Москве. Эти места меня успокоили. Здесь все как нарочно устроено, чтобы оставить человека наедине с собой.

Батурич заметил совсем новые ее глаза. Один лишь раз они были такими: в Батуме, когда курдянка гадала у Зарембы и куплетист спел песенку о тетрадке в сто один листок.

Вечером Берг читал свой новый роман. Движение сюжета произвело на Батурина впечатленье медленного вихря. В простом повествовании Батурич улавливал контуры истории, прекрасной, как все пережитое ими недавно, и вместе с тем далекой, как голоса во сне. Он понял, что ночь, рязанская осень, дожди — все это хорошо, нужно, что жизнь переливается в новые формы.

На следующий день Берг подбил Батурина пойти купаться. Батурич взглянул за окно и поежился: от Оки шел пар.

Купались они около разрушенного шлюза. В голых кустах пищали и прыгали озябшие, крошечные птицы. Небо почернело,— того и гляди, пойдет снег. Батурич стремительно разделся и прыгнул в воду: у него перехватило дыхание, показалось, что он прыгнул в талый снег. Он поплыл к берегу, вскрикнул и выскочил. Растираясь мохнатым полотенцем, он понюхал свои руки — от них шел запах опавших листьев, ноябрьского дня. Он оделся, поднял воротник пальто; кепку он оставил дома.

Волосы были холодные, и по ним было приятно проводить рукой.

Берг одевался не спеша,— купанье в этот хмурый ледяной день доставляло ему глубокое наслаждение. Он поглядел на Батурина и удовлетворенно ухмыльнулся.

— Вы помолодели на десять лет,— сказал он, танцуя на одной ноге и безуспешно стараясь попасть другой в штанину.— У вас даже появился румянец. Вы — ленивы и нелюбопытны, до сих пор не могли раскататься. Купайтесь каждый день и пишите,— два лучших занятия в мире.

— Я пишу.

— Прочтете?

— Да, вот только кончу.

— Благодарите Пиррисона. Если бы не эти поиски, вы бы закисло в своем скептицизме. Очень стало жить широко, молодое. Вот кончу роман, поеду в Одессу, там у меня есть одно дело. Зимой в Одессе норд выдувает из головы все лишнее и оставляет только самое необходимое,— отсюда свежесть. Пойду пешком в Люстдорф мимо заколоченных дач: пустыня, ветер, море ревет — красота. Едемте. Есть такие старички-философы, мудрые старички,— с ними поговоришь: все просто, все хорошо. Так и одесская зима. Ходишь по пустым улицам и беседуешь с Анатодем Франсом.

— В Одессу я не поеду,— ответил Батурин.— У меня есть дело почище.

— Какое?

— Пойду в люди.

Обратно шли по тропе через заросли голых кустов. Ветер нес последние листья. Вышли в луга и увидели Нелидову,— она быстро шла к ним навстречу. Ветер обтягивал ее серый плащ, румяное от холода лицо было очень тонко, темные глаза смеялись. Она взяла Батурина под руку и сказала протяжно:

— Разве можно кидаться в ледяную воду? Эти берговские выдумки не доведут до добра.

Берг подставил ей щеку.

— Потрогайте,— горячая.

Нелидова неожиданно притянула Берга и поцеловала.

— Берг, какой вы смешной!

Берг покраснел. Шли домой долго, пошли кружным путем в обход озера. К щеке Нелидовой, около косо срезанных блестящих волос, прилип сырой лимонный лист вербы. Желтизна его была припудрена серебряной мельчайшей росой.

Около озера Берг остановился закурить и отстал.

Маленькие волны плескались о низкий берег.

Нелидова крепко сжала руку Батурина, заглянула в лицо — в глазах ее был глубокий нестерпимый блеск — и быстро сказала:

— Теперь-то вы поняли, почему я не могу бросить вас? Это началось у меня еще там, в Керчи, когда я потеряла браслет.

Батурин осторожно снял с ее щеки тонкий лист вербы.

— Мне надо было сказать вам это первому. Я, как всегда, опоздал.

Берг нарочно шел сзади и хрипло пел:

Прочь, тоска, уймись, кручинушка,
Аль тебя и водкой не зальешь!

В воздухе лениво кружился первый сухой снег. Пока они дошли до дому, земля побелела, и над снегом загорелся румяный рязанский закат.

ГОРЯЩИЙ СПИРТ



Поздней осенью 1925 года норвежский грузовой пароход «Верхавен» сел на камни в горле Белого моря. Команда и капитан, не сообщив по радио об аварии и не приняв никаких мер к спасению парохода, съехали на берег. По международному морскому праву пароход, брошенный в таких условиях командой, поступает в собственность той страны, в водах которой он потерпел аварию.

«Верхавен» перешел в собственность Советского Союза, и капитан Кравченко получил предписание принять его, отремонтировать и вступить в командование.

Капитан сиял: помогли «пачкуны-голландцы», подкинули пароход. Глава капитан брал с собой заведовать пароходной канцелярией. Первым рейсом «Верхавен» должен был идти в Роттердам.

Жил капитан в Петровском парке в двух комнатах вместе с Гланом, Батуриным и Бергом.

Был январь. Над Москвой дымили морозы, закаты тонули в их косматом дыму.

В дощатые капитанские комнаты, как и в Пушкине, светили по ночам снега. Растолстевшая Миссури спала на столе, и многочисленные часы тикали в тишине, заполняя комнаты торопливым звоном. Уезжая по делам, капитан оставлял комнаты, Миссури, книги и часы Батурина и Бергу.

Звон часов вызывал у Берга и Батурина впечатление, что звенит зима. Снега, короткие дни и синие, какие-то елочные ночи были полны этого мелодичного звона. Он помогал писать, вызывал стеклянные сны — чистые и тонкие, разбивавшиеся при пробуждении на тысячи осколков, как бьется хрустальный стакан.

Год отшумел и созрел в Батурине, Берге, в Нелидовой, даже в капитане новыми бодрыми мыслями. Батурин застал однажды капитана за чтением Есенина. Капитан покраснел и пробормотал:

— Здорово пишет, стервец! Вот смотрите.— Он ткнул пальцем в раскрытую книгу:

Молочный дым качает ветром села,
Но ветра нет, есть только легкий звон

Батурин улыбнулся.

Дождаясь назначения, капитан вообще пристрастился к книгам. Он зачитывался Алексеем Толстым и подолгу хохотал, лежа на диване, потом говорил в пространство:

— Дурак я, дурак. Всю жизнь проворонил; ни черта не читал.

Батурин замечал вскользь:

— Ведь это — лирика.

— Идите к свиньям, может быть, я сам лирик. Откуда вы знаете.

Когда назначение было получено, капитан устроил банкет. Февраль завалил Петровский парк высокими снегами. Голубые закаты медленно тлели над Ходынккой. Казалось, что весь день стоял над Москвой закат — так пасмурно и косо были освещены ее розовые и низкие дома.

Капитан купил вина, фруктов, достал чистого спирта — варить пунш. К вечеру приехала Нелидова с Наташей, потом Симбирцев. Он постарел за этот год, в волосах прибавилось седины.

Когда сели за стол, капитан зажег пунш и потушил лампу. Синий пламень тускло перебежал по окнам, за ними мохнато стояла зима. Звенели часы. Капитан встал. Лицо его при свете горящего спирта казалось бледным и взволнованным. Он оглядел всех, остановился на Глане и сказал:

— Друзья! Я ненавижу всякие сентиментальности. Запомните это. Я смеялся над лирикой, над выдумками писателей,— все это вранье не давало никакой пищи моей коробке,— он показал на свою голову.— После всего, что произошло с нами, я несколько изменил свои мысли. Наша страна стремится к величайшей справедливости, в конечном счете к тому, чтобы жизнь для людей стала сплошным расцветом. Вы понимаете, конечно, расцвет всех его физических и духовных сил, расцвет культуры, вот этой самой поэзии, техники.

Я думаю, что придет время, когда вместо вшивых железных гитар, теперешних пароходов, по морям будут плавать пароходы из стекла,— представьте, как это будет выглядеть в солнечный день: сам черт пустился в пляс.

Но не в этом дело. Время пачкунов и лодырей пройдет. Земля будет прокалена на хорошем огне,— тогда, вот в эту

эпоху расцвета, придет ваше время, друзья. Вы думаете, что я хрипун, бурбои и ни хрена не понимаю. Это неверно! Я — капитан дальнего плавания, поэтому я не могу быть таким дураком, как это некоторым кажется. Я тоже любил женщин, я часами простаивал на палубе, боясь шелохнуться во время тропических закатов. Я знаю, что жизнь без книг, творчества, блестящих идей, любви — это вино без запаха, морская вода без соли. Вот! Вы поняли, к чему я гну?

Я гну к тому, что нечего лаяться, если в большой давке вам наступили на ногу. Я не умею, конечно, так, как Батурина или Берг, излагать свои мысли. Я хочу сказать, что вот я, старик, требую, чтобы вы жили так, будто на земле уже наступила эпоха расцвета. Поняли?

Вы думаете, что я не читал и не знаю стихов. Черта с два! Беранже написал в свое время:

Если к правде святой
Мир дороги найти не умсет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

Не повторяйте этих плаксивых слов, — они недостойны современника Великой французской революции, они недостойны и нас, свидетелей величайших мировых потрясений. Я утверждаю, что мы нашли эту дорогу, и нечего насвистывать нам золотые сны.

Капитан медленно сел. Глаз смотрел на него прищурившись, — этот человек впервые вышел из своих грубых и резко очерченных берегов.

— Да, — капитан снова встал. — Я забыл. Я предлагаю выпить за летчика Нелидова, которого я считаю человеком будущего, за всех, кто встретился на нашем пути, — Зарембу, курлянку, Шевчука, даже за Фигатнера, за Абхазию и Батум с его проклятыми дождями. Сейчас мне, признаться, недостает этих дождей. Я предлагаю выпить и за тех людей, которых вы не знаете, за славных парней, моих товарищей, за моряков всех наций. Прежде всего за капитана Фрея, моего друга. Он один проводил пароходы в десять тысяч тонн через коралловый барьер. И за матроса Го Ю-ли, китайца, любившего больше всего на свете маленьких детей.

Я нарушил древние морские традиции. Если на корабле есть женщина, то первый тост за нее. Я пью за Нелидову, за девочку, посадившую всех нас в калошу своей смелостью, за женщину, которую не стыдно взять в самый гробовой рейс.

Капитан выпил и разбил свой стакан. Пунш горел все ярче. Внезапность этой речи поразила Батурина, — за словами капитана он почувствовал их невысказанный радостный смысл. Странная эта речь беспорядочно пенилась и шумела, как море.

Батурина встал. Пунш погас от резкого его движения.

Капитан зажег лампу Миссури сидела на стуле, положив лапы на стол, и плотоядно смотрела на ветчину. Глаза ее горели, как автомобильные фонари.

— Я пью за ветер,— сказал, краснея, Батурин,— проветривший наши мозги. Капитан понял цену тем настроениям, от которых полгода назад он был так же далек, как мы сейчас далеки от этого легендарного и милого чудака, что может провести любой пароход через коралловый барьер.

Мой скептицизм растворился в жизни, как кусок сахара в чае. Мне трудно говорить о прошлом. Нельзя жить в спичечных коробках. Прикрепленность к месту убивает, узость ежедневных мыслей, привычек и воркотни превращает нас в манекенов. Лучшее, что я испытывал в прошлом,— это ярость зверя, захлопнутого западней. Есть люди, всю жизнь топчущиеся в кольце Садовых. Разве можно дать человеку тридцать квадратных верст и не считать его приговоренным к пожизненному заключению?

Все должно принадлежать нам! Я требую права освежать свою жизнь, быть человеком, я требую права мыслить, создавать, наконец права бороться!

— От кого вы думаете это требовать? — спросил капитан.

— От самого себя, от окружающих, от жизни. Я пью за то, чтобы свежесть не выветрилась из нас до самой смерти.

Берг перебил его:

— Довольно тостов! Мое слово — последнее. Поэзия отныне признана в этом доме, и потому я смело предлагаю выпить за близкую весну. Когда из головы выброшен весь мусор, невольно ждешь небывалых весен. Жизнь представляется паровой конторой, где можно купить билет в Каир или Лондон, Нью-Йорк или Шанхай. Нет невозможного, надо только уметь желать. Выпьем же за это меньше!

К утру пошли провожать Нелидову и Наташу. Уже светало. От снега, от города в редких и острых огнях шел запах гавани, рассола. Около Триумфальных ворот их застало солнце. Оранжевый свет косо упал на нагромождение домов, купола, трубы. Берг поежился, закурил и пробормотал:

— Да, много было солнца.

Синее и высокое солнце Одессы, полное спектрального блеска, висело здесь густым и ржавым шаром. Тяжелой позолотой горело оно в глазах Нелидовой, потемневших от бессонной ночи и вина.

Над Москвой занимался один из сотен и тысяч обыденных зимних дней. Батурин дрожал от волнения и холода,— ему вспомнились слова капитана, сказанные хриплым голосом: «Я требую, чтобы вы жили так, будто на земле наступила уже эпоха расцвета».

Над урюжими дымами блистали облака. Они казались праздничными среди этого косматого утра. Их блеск проливался

на город воспоминанием о жаркой, неизмеримо далекой стране. Синева этой страны, затопленной выше гор белым солнцем, шумела морскими ветрами и веселыми голосами людей. Искристый ее воздух пропитывал легкие устойчивыми запахами, не имевшими имени. Стальные пути на сотни километров стремились среди зеленых водопадов листвы и тени. Горизонты ошеломляли сухим свечением. Древняя мудрость земли была видна здесь на каждом шагу,— в клейком запахе каждого листка и блеске песчинки, в радостных зрачках женщин и гудках кораблей, в звоне воздушных моторов, легко несущих свою серебряную и тусклую сталь над гулом океанского берега. Щедрость, богатство сочились из земли, кофейная ее сила, потрясающий запах.

Батурин знал, что вот к этому — к плодоносной земле, к шумным праздникам, к радостным зрачкам людей, к мудрости, скрытой в каждой, самой незначительной вещи,— он будет идти, звать, мучить людей, пока они не поймут, что без этого нельзя жить, бороться, тащить на себе скрипучие дни, задушенные полярным мраком и стужей.



Черное
море
новеллы

Придается все, лишь тебе не
дано примелькаться

Борис Пастернак



оздняя ночь. Море шумит за окном. Дует норд-вест. В старинной лоции, раскрытой на столе, красным карандашом подчеркнута строчка: «Ветры от норд-веста и веста всегда сопровождаются мрачной погодой и дождем».

Ночной дождь висит над Севастополем непроницаемым дымом.

У лоции — большие поля. Они сделаны для того, чтобы шкиперы и капитаны могли записывать наблюдения над огнями маяков, приметами на берегах, туманами и зимними бурями.

На полях своей лоции я записывал все, что видел и узнал у Черного моря.

Даже мальчишки перестали верить моряцким басням о бутылках, залитых воском и выброшенных на песок прибоем. По словам престарелых пристанских сторожей, в этих бутылках всегда были заключены жгучие тайны. Они были написаны карандашом на листках, вырванных из судового журнала.

Я, как и мальчишки, давно не верю в это. Времена легкокрылых фрегатов и летучих голландцев прошли. Тайны умирают, как ночные мотыльки, обожженные огнем дуговых фонарей. Мое неверие в тайны так велико, что я даже начал сомневаться в существовании голубых огней святого Эльма, пылающих над мачтами кораблей, хотя об этом я читал еще в гимназии в «Физике» Краевича.

Но все-таки о бутылках я вспомнил не даром. Море подарило мне эти рассказы. Оно выбросило их к моему порогу, как выбрасывало когда-то бутылки вместе с солнечным блеском, красными водорослями и медузами.

Плавучий бакен-ревун кричит за Константиновским фортом. Его мотают буруны и хлещет ветер. Когда он тяжело подымается над волной, мокрый и разъяренный, он видит тонущие в

неспокойной воде огни Севастополя. Тогда он мычит, как человек с завязанным ртом.

За окном ничего нет, кроме фонарей, сжимающихся в воде около крепостных утесов. Только встревоженная вода, стон ревуна и теплая осенняя ночь.

Я прислушиваюсь. Нет, не только они слышны тяжелые шаги по набережной и хриплый разговор рыбаков. Искры махорки прорезают плотную темноту.

Рядом со мной в комнате спит человек,— я слышу его дыхание и ласковые слова сквозь сон,— и вот книга о море, великих побережьях, о штилях и туманах наполняется людьми, смехом, спорами, борьбой и любовью. Только рядом с людьми приобретает смысл и значение все, что написано на дальнейших страницах.

Без людей нашего времени, полного побед и человеческой теплоты, нет прекрасного ни в цвете морей, ни в ветрах, ни в облаках, ни в полете птиц,— ни во всем, что называется жизнью.

НЕБЕСНАЯ АЗБУКА МОРЗЕ

Ураганам предшествуют мертвые штили и теплота

Довз, «Законы шторма»



ода звенела, как бы падая в медный таз с головокружительной высоты.

Этот звук будил Гарта. Он вызывал представление о солнечных зайчиках и безоблачном небе.

Гарт поворачивал голову к окну, и предчувствие сбывалось: безветрие и бледная осень стояли над городом.

Город был похож на театральный макет, где с домов осыпалась позолота и только редкие ее пятна остались на розовой штукатурке оград.

Город был полон осеннего сверкания. По утрам оно качалось над бухтами голубым серебрищимся дымом. В полдень оно подымалось к зениту желтым огнем, а вечером, окрашенное золотом облаков, оно долго боролось с блеском сигнальных фонарей, зажженных на рейде.

Гарт бежал в Севастополь от промозглой московской осени. Он с содроганием вспоминал черные тучи, волокущие по крышам свое мокрое тряпье, и сумрачные залы библиотек.

Все это осталось позади.

Гарт был писателем. У своей фамилии Гартенберг он отбросил окончание, чтобы целиком слить себя со своими героями — бродягами и моряками, жившими в необыкновенных странах.

Герои Гарта носили короткие и загадочные фамилии. Все они, казалось, появились из тех легендарных времен, когда над морями стояла вечная жара, вражеские линейные корабли, сходясь к бою, приветствовали друг друга криками «ура» и пираты, шатаясь по океанам, веселились как черти.

Если принять во внимание, что Гарт жил в Советском Союзе, то не только содержание его рассказов, но и внешность этого писателя не могла не вызывать недоумения.

Гарт ходил в черном просторном костюме, строгом и скучном, как у английского священника. Только порыжевшие швы и заплаты говорили о тягостных днях одиночества и нищеты.

Жизнь Гарта была бесконечно печальной и горестной жизнью бродяги и отщепенца.

Как ребенок зажимает в кармане единственную драгоценность — лодку, вырезанную из коры, или серебряную бумажку от конфеты, так Гарт прятал в себе веселый мир выдумок о несуществующей жизни. Ему казалось, что все вокруг враждебно этому миру. Чем насмешливее смотрели окружающие на выдумки Гарта, тем с большей, почти болезненной, любовью он охранял их от любопытства людей.

Гарт был тем, что принято называть «живым анахронизмом». Он выпал из своего времени. Внятный внутренний голос говорил, что пора просыпаться от пестрых снов, что пересоздание мира требует жертв и борьбы, но Гарт отмахивался от этого голоса, как спящий от настойчивого зова.

Гарт не понимал, что революция даст жизни веселое цветение и мудрость, о которых он так тосковал.

Гарт устал от прошлого, плохо сознавал настоящее, и, наконец, он не хотел ждать. Поэтому такая простая мысль никогда не приходила ему в голову.

Много времени спустя люди, близко наблюдавшие Гарта, начинали понимать доброту и талантливость этого заброшенного человека.

Первыми это поняли городские мальчишки. Сначала они преследовали Гарта свистом и кличкой «Недоверчивый». Но однажды Гарт остановился на улице около мальчишки со сломанным луком. С высоты своего роста Гарт нерешительно смотрел на слезы, размазанные по худым детским щекам.

Потом он взял мальчишку за плечо и повел в магазин «Динамо». Там он купил ему индейский лук из красного дерева с резиновой тетивой.

Весь тот день стрелы с куриными перьями на хвостах жужжали в желтом от известняка переулке. Ходить по переулку становилось опасно. Гарт нажил жестоких врагов — пронзительных хозяек с узлами бесцветных волос на затылке, проклинавших стрелы, мальчишку и писателя.

Ничто не распространяется так быстро среди детей, как слух о взрослом покровителе игр. Тогда дерзкие мысли о скучном характере родителей охватывают племя ребят.

Гарт был признан мальчишками своим негласным советником от Хрустальной бухты до Корабельной стороны и от Черной речки до Аполлоновой балки. Пожалуй, это событие было его первым столкновением с настоящей жизнью.

Несколько дней после этого он сидел в сухом саду и мастерил индейские луки для жадных и беспокойных ребят. Худые осы садились на тетиву и дрожали вместе с ней, разглядывая сутулую спину Гарта.

Гарт улыбался одними морщинами, сбегавшимися около воспаленных от чтения глаз.

В первые дни севастопольской жизни Гарт изучал топографию города.

Его радовала изорванность утесистых берегов, путаница глубоких бухт и повороты выветренных лестниц. Он подолгу рассматривал каменистые дворы, полные кошек, сухой листвы, платанов и голубоватых рыбачьих сетей. Его поражал причудливый план города, спрятанного в синий шар неба и моря.

Потом у себя в комнате Гарт рисовал карты выдуманных им приморских городов — Саванны и Капля — и отмечал места, где должны были произойти события из еще не написанных рассказов.

Вода звенела, как бы падая в таз с головокружительной высоты, и разбудила Гарта. Это мылся за стеной его квартир-ный хозяин — веселый и вспыльчивый старик Юнге.

В каждом городе есть свои чудачки и сумасшедшие. Юнге считался севастопольским чудачком. Он заведовал службой погоды в порту. Старик гордился своей профессией. Он любил повторять, что дело метеоролога заключается в том, чтобы растолковывать дуракам простой язык природы.

Гарт был рад, что поселился у этого шумного человека, дружившего с облаками и циклонами. Знание этих вещей было необходимо Гарту как писателю. А от старика можно было много узнать.

У Юнге была дочь Зоя — комсомолка и планеристка. Гарт ни разу ее не видел. Зоя почти все время жила в Коктебеле, где в тот год в сентябре шли, как обычно, планерные состязания.

Старик, уходя из дому, оставлял Гарту ключ от своей библиотеки.

Сегодня, как уже несколько дней подряд, Гарт погрузился в рваное кожаное кресло времен Севастопольской обороны. Он читал, засыпал, просыпался и снова перечитывал книги. Пыль роилась в солнечном луче.

Гарт много курил. Сухой дым подымался к потолку, завиваясь медленными кольцами. Так движется над материками антициклон.

Перелистывая метеорологические справочники, Гарт узнал о существовании грозового экватора и путях ураганов, о белых радугах и запахе юго-восточных ветров.

Сегодня Гарту повезло. В одной из книг он нашел пожелтевшее английское письмо, помеченное 1854 годом и неизвестно как попавшее к Юнге. Гарт с трудом перевел его. Язык письма был изыскан, но вместе с тем сдобрен хорошей дозой морского жаргона — того крепкого, как плевки, и безошибочного «слэнга», каким изъясняются английские матросы и бродяги.

С упорством исследователя Гарт восстановил не только содержание письма, но и его историю. Письмо принадлежало офицеру английского флота Джону Эллиоту. Оно было написано в Балаклаве, где стояла в 1854 году, во время Севастопольской кампании, английская эскадра.

Я приведу здесь перевод письма в переработке Гарта. Гарт считал, что им найдено точное описание морского урагана.

«В августе 1831 года, как вам известно, великий ураган, разразившийся в Вест-Индии, захватил своим крылом и Европу. Горячий воздух вторгся в наши широты. На берегах Средиземного и Черного морей наступила резкая жара, закончившаяся ливнями и тяжелыми штормами.

Мне посчастливилось, если можно так выразиться, быть в то время на острове Барбадосе, где стоял наш фрегат «Стирлинг Кастль».

Этот цветущий остров лежит в начале пути вест-индских ураганов и потому испытывает их наиболее сокрушительную ярость.

В связи с пережитым ураганом я имею сделать вам несколько замечаний. Быть может, они рассеют покров ужаса и таинственности, который окружает в представлении людей гремящие и стремительные перемещения обширных воздушных масс.

Одиннадцатого августа, в полночь, ветер в Барбадосе усилился до степени шторма. Молнии блистали непрерывно со всех румбов горизонта. Гром сотрясал океан до самого дна.

Мы стали на мертвые якоря и приготовились встретить ураган. Он зарождался вблизи, в пучине неопишимо страшной и душной ночи.

Мы помнили печальную судьбу эскадры достославного ад-

мирала Роднея. Она погибла от урагана у берегов Ямайки. Лучшие корабли — «Скарборо», «Барбадос» и «Феникс» разбились о скалы, а фрегат «Генри» был выброшен на берег в бухте Ментегю. До сих пор он служит дырявым жилищем для негров и приморского люда.

В два часа ночи шторм перешел в ураган. К тому времени мне с большим трудом удалось съехать на берег, где я получил приют в доме престарелого полковника Нокса.

Гул ветра так изнурял наши нервы, что мы вынуждены были укрыться в каменном погребе, где полковник хранил вино и провиант. Едва мы сели за деревянный стол и зажгли свечи, как прибежал испуганный слуга и доложил, что верхняя часть дома обрушилась от ветра. Мы не слышали грохота обвала.

Из этого вы можете сделать заключение о чудовищном реве бури в эту ночь.

Я выбежал на улицу, но вынужден был лечь и крепко держаться за каменную тумбу.

Я видел в те минуты, когда мне удавалось открыть глаза, величественное зрелище падения многих метеоров. Я не забуду этого во всю жизнь, или я буду проклят до самой могилы.

Метеоры летели не наискось, как это бывает всегда, а низвергались отвесно, пылая темно-красным мутным огнем. Вблизи земли они загорались белым светом, похожим на горение магниа. Метеоры имели цилиндрическую форму. Они были похожи на круглое стекло, каким жители Ангильских островов прикрывают от ветра пламя свечей.

Временами рев ветра стихал и переходил в глухое мычание. Я пользовался этим, чтобы осмотреться. Мне это вполне удавалось, так как блистание молний продолжалось иногда по полминуты и дольше.

Мои попытки осмотреться вызывали в душе леденящий ужас. То, что открывалось моему взору в свеге молний, было почти непостижимо.

Я видел, как качались от ветра стены домов, как летели, подобно осенним листьям, кровли и падали каменные ограды.

Но самым ужасным было зрелище садов. Ураган сорвал с них листву, и деревья яростно свистели голыми ветвями, как у нас, в Шотландии, в студеную зиму.

Океан бил в берега с такой силой, что земля дрожала на большом расстоянии от полосы прибоя.

Волны перелетали через утес в семьдесят футов высотой. Ветер уносил ливень соленых брызг внутрь страны на много миль.

Это, между прочим, причинило большие неприятности майору Лекоку. У него в Брайт-холле, в его поместье, были славные пресные пруды с прекрасными подводными растениями и королевскими сазанами. Ветер принес в эти пруды столько воды из океана, что пруды засолились и рыба в них уснула.

Воздух во время урагана так густо насытился электричеством, что я был свидетелем, как у негра, привратника Кодринг-

тонской коллегии, искры сыпались из волос, будто из трубы паровой машины.

«Стирлинг Кастль» погиб. Его сорвало с якорей и разбило о мыс, носящий название «Каменная шкатулка».

Многие из жителей города, боясь оставаться в разрушающихся домах, добежали до крепостных фортов и спрятались под тяжелыми пушками, укрепленными на колесных станках. Ветер сдвинул пушки с места и проволочил их на большое расстояние. Было искалечено много людей.

Страдали не только люди. После урагана берега острова покрылись множеством убитых и полумертвых морских птиц и рыб.

Тем, кто находился вдали от этой мучительной картины, невозможно составить себе представление о жестоких страданиях жителей Барбадоса.

Я хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, что при первом ударе урагана в домах с треском полетели внутрь все оконные рамы.

Объяснить это явление нетрудно. Всякий ветер, а тем более ураган, бывает вызван неравномерным нагреванием воздуха в разных областях земли.

Разогревшийся воздух жидок. Он образует пустоту. В нее яростно устремляются со всех сторон потоки более холодного, плотного воздуха.

Равновесие воздушных масс нарушается. Происходит великое возмущение атмосферы и стремительные ее перемещения.

Очевидно, ураган, обрушившийся на Барбадос, нес плотный воздух, тогда как в домах сохранился еще разреженный воздух, стоявший над островом перед ураганом.

Воздух урагана молниеносно всосался в дома и выдавил рамы и двери, как газ выдавливает пробки из бутылок французского шипучего вина.

Нет надобности объяснять даже школьникам, что ветры не могут дуть одновременно на пространстве всего земного шара.

Всегда существует граница между областью, охваченной ветром, и областью, где ветер отсутствует или дует ветер противоположного направления. Сходясь, эти бурные воздушные реки вызывают взаимное трение, и в этом месте образуются вихри или воздушные водовороты.

Быстро усиливаясь и подчиняясь законам, впервые указанным ученым Довэ и нашим соотечественником, господином Ридом, эти вихри превращаются в ураганы и тифоны. Они мчатся с ужасающей силой над океанами и материками, сметая все на своем пути.

Чрезвычайно любопытно, что ураганы под влиянием вращения Земли примерно на половине своего пути, как бы споткнувшись о невидимую преграду, поворачивают под прямым углом и медленно затаихают на огромном расстоянии от места своего зарождения».

Многие факты из этого письма показались Гарту настолько интересными, что он решил прочесть перевод Юнге.

Гарт преодолел обычное смущение и постучал вечером в комнату метеоролога.

Юнге пил чай за столом, покрытым черной бархатной скатертью. На ней было множество рыжих пятен, говоривших о старости Корки черствого хлеба валялись рядом с сухими лепестками желтых георгин. Цветы в вазах менялись только во время возвращений Зои. В остальное время они осыпались и наполняли комнату запахом гниющей воды и тления.

Гарт сдержанно осмотрелся. Комната очень подходила для любого из его рассказов.

Синие карты погоды на стенах были покрыты множеством стрелок, как бы пущенных армией веселых мальчишек. Стрелки показывали движение ветров над Европой.

Рядом с картами при свете лампы Гарт увидел несколько картин. Они изображали различные виды облаков.

Облака всегда привлекали Гарта. Он любил эти плавучие материки, пропитанные влагой. Он мог часами рассматривать средневековые города кучевых туч, воздвигнутые на границах стратосферы, и стаи перистых облаков — летучих рыб, заснувших в зеленоватом небе.

Но больше всего он любил грозовые тучи, затмевающие солнце. Трещины молний взрывались в дыму и темноте урагана. Гарт прислушивался. Ливни приближались в молчании. Вода не плескала у прибрежных утесов. Сухие травы стояли неподвижно, запутавшись в паутине. Только чайки металась с испуганным писком и искали в скалах забытые гнезда.

Юнге налил Гарту стакан крепкого чая. Гарт неохотно оторвался от картин и сел к столу.

Рядом с ним на полках поблескивали медью и стеклом метеорологические приборы.

Тогда как все было покрыто пылью и носило следы холостяцкой жизни, приборы были начищены до солнечного блеска.

Гарт мельком взглянул на барограф. Кривая шла вниз. Барометр падал. Гарт, вздохнув, подумал, что наступает конец сухим и солнечным дням.

Гарт, не решаясь заговорить, потянул к себе картушку старинного компаса. Черная многогранная звезда была окаймлена знакомыми и любимыми с детства словами: Nord, Ost, Süd и West.

Сколько раз Гарт представлял себе такую картушку, освещенную масляными лампами и светом Млечного Пути где-то там, по ту сторону экватора, где рыбы бьются о форштевни кораблей.

— Любуетесь? — спросил Юнге. В голосе его Гарт уловил легкую насмешку.

Гарт мельком взглянул на Юнге. Его синий морской китель был расстегнут, под ним виднелась белоснежная сорочка. Голубоглазый старик добродушно смотрел на Гарта и постукивал пальцами по столу.

Гарт ничего не ответил. Он развернул рукопись и прочел перевод о барбадосском урагане. Юнге слушал внимательно, прихлебывая чай. Иногда он усмехался.

— Хорошее описание урагана,— сказал он спокойно.— Я понимаю, почему вы им заинтересовались; парусные корабли, поэтические названия, гул бури— все это, конечно, прекрасно. На днях я перечитал ваши рассказы, достал их в Морской библиотеке. Но дело не в этом!

— А в чем же? — спросил оторопевший Гарт.

— Погодите.— Юнге прислушался.

В одном из приборов что-то жалобно зазвенело. Далеко на рейде тяжело стонал и взывал о помощи бакен-ревун. Значит, с моря подходила волна.

— Если бы я обладал вашим талантом,— сказал наконец Юнге,— я бы перевернул землю вверх дном. Вот, взгляните,— старик показал на барограф.— Идет норд-ост, самый проклятый ветер на Черном море. Он называется «бора». Почему бы вам не заняться его изучением?

— Зачем? — спросил Гарт.

— Тут двумя словами не отделаешься.— Юнге встал и заходил по комнате.— Ураган в Барбадосе! Блестяще! Я не верю, что описал его сухопарый английский моряк. Описали его вы.

Юнге прищурил глаз и хитро посмотрел на Гарта. Тот отрицательно покачал головой.

— Ну, ладно. Поверим на слово. У вас дар необыкновенной выдумки. Почему вы не хотите выдумать что-нибудь такое, что поселит величайшее и радостное смятение среди моряков, если не среди всего человечества?

— Что я должен, по-вашему, выдумать для человечества? — спросил, раздражаясь, Гарт.

— Ну, хотя бы найдите способ уничтожать эти ураганы. Гарт встал. Разговор начинал походить на издевательство. Шутка привела Гарта в состояние холодного негодования.

— Я говорю серьезно,— сказал Юнге.— Сначала выслушайте меня, а потом обижайтесь.

Он заставил Гарта сесть.

— Я бывший моряк.— Юнге придвинул Гарту коробку толстых папирос.— Курите и приготовьтесь слушать. Во время плаваний меня больше всего занимала погода. У вас, сухопутных, разговоры о погоде считаются признаком пошлости и дурного тона. Когда в так называемом обществе совершенно не о чем говорить, вы краснеете и бормочете несколько слов, что «вот, мол, идет дождь» или «удивительно, какая стоит в этом году

холодная весна». Окружающие смотрят на вас с сожалением, как на отпетого идиота. И они правы. Это действительно глупо. Такие разговоры я считаю насмешкой над сложными явлениями, происходящими в земной атмосфере. Если бы от погоды зависела ваша работа, жизнь и судьба ваших товарищей, как это бывает у моряков, вы бы не вели разговоры о ней так банально и невежественно. Поучитесь у рыбаков беседам на эту тему. Каждый рыбак расскажет вам о ветре или цвете неба такое, что вы закачаетесь!

— Я с большим уважением отношусь к явлениям природы,— заметил Гарт.— Поэтому я и перевел письмо о барбадосском урагане.

— Вы долго рассматривали рисунки облаков.— Юнге осветил лампой пыльные картины.— Облака! — воскликнул он.— Вы знаете, что облака — это совершенно точные сигналы о погоде! Это небесная азбука Морзе. Все дело в том, чтобы уметь ее разбирать. Меня научили этому турки — опытные и смелые шкиперы.

Каждый год восьмого ноября по всем прибрежным городам Анатолии собираются в кофейнях старые моряки. Они пьют кофе, поглядывают на небо и совещаются, а к вечеру объявляют фелюжникам и контрабандистам предсказание погоды почти на всю зиму.

Так повторяется из года в год. Это прекрасная традиция. Ни одна метеорологическая станция не дает таких верных прогнозов. Турки предсказывают по облакам.

В конце концов, это просто. Погода создается воздушными вихрями — циклонами и антициклонами. Каждый воздушный вихрь рождает свои облака. Ничто в мире не имеет такого великого разнообразия форм, как облака. Надо знать все оттенки их цвета, быстроту полета над землей, их высоту и плотность. Это сложное искусство. Почему бы вам не написать рассказ об этих турках, мастерах погоды? Они заслуживают рассказа не меньше, чем расщепление атома.

Гарт сидел на двигаясь. Он не заметил наступившей тишины, потому что видел со всей остротой подлинного зрения грязную набережную турецкого городка, вымощенную вперемежку то булыжником, то старыми плитами из красного мрамора, зеленое море, дождь, грубые паруса и стариков, читающих, как раскрытую древнюю книгу, свиток туч, несущихся над Черным морем, над этим беспокойным Кара-Денизом.

— Подумайте,— сказал Юнге.— А теперь вернемся к барбадосскому урагану. Меня считают чудачком. Эта слава ходит за мною по пятам тридцать лет.

Тридцать лет назад я осмелился высказать мысль, что все ураганы одинаковы, где бы они ни случались. Разнятся они только в силе. Причины их возникновения — циклоны и

антициклоны — всюду те же: и в Вест-Индии, и в Желтом море, и у нас. Такой вот барбадосский ураган вы можете увидеть на Черном море. Конечно, он не будет так жесток и поэтичен, как в тропиках. Нет надобности плавать в тропики, чтобы познакомиться с ураганами. Вы можете их изучить, стоя у мола в Одесском порту. За эти дерзкие мысли старые хрипуны-капитаны объявили меня сумасшедшим.

— Вы, кажется, обещали, — напомнил Гарт, — рассказать о способе уничтожения ураганов.

— Я к этому подбираюсь. У нас на Черном море есть несколько местных ветров. Они не подчиняются общим законам, и это дало повод капитанам смеяться над моими мыслями. Самый ужасный из местных ветров — новороссийская бора.

Гарт кивнул головой. Все, что рассказал Юнге о новороссийской боре, представилось Гарту в виде обрывков еще не написанного рассказа. До Гарта голос Юнге доносился издалека, будто из-за запертой двери.

Привел в себя Гарт телефонный звонок и сердитый голос Юнге.

— Какая телеграмма? — спросил Юнге. — Относительно штормовых сигналов? Не поднимайте тарарам. Я сейчас приеду.

Состояние глубокой задумчивости, которое пережил Гарт во время рассказа Юнге, случалось с ним часто. Может быть, ему он в значительной мере был обязан своими рассказами. Он записывал все, что узнавал и думал в таком состоянии, не полагаясь на память.

Я видел некоторые записи Гарта, не предназначенные для печати. Иногда они были интереснее его напечатанных рассказов. В них отсутствовала выдумка. Но ее заменял необыкновенный, присущий Гарту, подбор реальных, даже на первый взгляд скучных фактов.

Запись Гарта о новороссийской боре была коротка.

«Впервые наши моряки узнали, что такое черноморская бора, в 1848 году. Это было через десять лет после основания на берегу Цемесской бухты, у подножия темных и безлесных гор Новороссийского укрепления.

В августе этого года бора разметала в Новороссийске эскадру адмирала Юрьева и потопила несколько кораблей. Особенно трагичной была гибель «Струи».

Окрестности Новороссийска отличаются жалкой растительностью. Бора калечит и убивает все. Выживает только сухая трава и кусты колючего держидерева.

Как начинается бора? Над голым хребтом Варада показываются белые клочья облаков. Они похожи на рваную вату. Облака переваливают через хребет и падают к морю, но ни-

когда до него не доходят. На половине горного склона они растворяются в воздухе.

Первые порывы ветра бьют по палубам кораблей. В море взвиваются смерчи. Ветер быстро набирает полную силу, и через два-три часа жестокий ураган уже хлещет с гор на бухту и город.

Он подымает воду в заливе и несет ее ливнями на дома. Море клокочет, как бы пытаясь взорваться. Ветер швыряет увесистые камни, сбрасывает под откосы товарные поезда, свертывает в тонкие трубки железные крыши, качает стены домов.

Бора дует при ясном небе. Зимой она всегда сопровождается крепким морозом.

Корабли превращаются в глыбы льда. Лед, срываясь со снастей, калечит и убивает матросов. Он закупоривает наглухо двери домов. Он забивает печные трубы. Во время боры жители города страдают от жестокого холода. Человек, застигнутый борой на улице, катится по ветру, пока не задержится у какого-нибудь препятствия.

Один из моряков эскадры Юрьева писал о боре:

«Матросы, обрубая лед, сменялись непрерывно, язвимые в лицо морозной водяной пылью. Платье на них леденело. Тело ныло от боли. На корабле из-за оглушительного свиста ветра и треска снастей не было никакой возможности отдавать приказания. Мы не слышали даже пушечных выстрелов с соседних судов, моливших о помощи.

Залив покрылся мрачною мглою. Сквозь нее никакое зрение не могло разобрать предметов даже в нескольких сажнях. Иногда только в зените был виден клочок чистого неба.

Ночью от густоты воздуха и невыразимой быстроты его течения звезды как бы дергались в небе.

Двое суток мы находились в авральной работе. Мы сбивали лед ломami, раскаленным железом, обливали его кипятком. Тонкие снасти превращались в ледяные бревна.

Когда ураган достиг наивысшего напряжения, мы обрубали реи, утлегарь и весь такелаж на мачтах, но это нисколько не помогло. Хотели выбросить за борт пушки, но и это сделать было невозможно, — пушки вместе со станками приросли к палубам, образуя глыбы льда.

Волны свободно ходили через корабль».

Эскадра Юрьева погибла оттого, что лопнули все железные якорные цепи. Корабли были разбиты о подводные камни.

С тех пор некоторые капитаны, застигнутые борой, начали отдавать якоря не на цепях, а на пеньковых канатах. Железные цепи делались слишком хрупкими от жестокого мороза — неизменного спутника боры — и легко ломались на перегибах около клюзов.

Эскадра погибла, разбившись о берега. Только один корабль «Струя» потонул среди залива, не выдержав тяжести наросшего льда.

Он стоял, закрепив якорную цепь за бочку. Он не успел вовремя расклепать ее, чтобы ветром его могло выбросить на берег. Тогда часть людей могла бы спастись.

В газетах того времени много писали о судьбе этого корабля:

«Когда мрак бывшей бури прочистился, на месте, где стоял несчастный корабль, виднелась только верхушка мачты с реей, как крест над влажной и холодной могилой пятидесяти человек».

«В конце августа на Севастопольский рейд был приведен кузов корабля «Струя», поднятый со дна в заливе Новороссийском. Нельзя высказать того, что мы чувствовали, остановясь на шканцах корабля, растерзанного борой.

О, сколько дум и сколько чувств прекрасных
Не имут слов, глагола не найдут!»

«На этом корабле погибли отличные матросы. Они были обстреляны пулями черкесскими и ядрами арабскими, закопчены солнцем Африки, закалены в водах Нила и Иордана. Судьба их — одно из самых печальных происшествий на Черном море».

После 1848 года во время боры в Новороссийске погибло много рыбацких шхун, пароходов и даже военных кораблей.

Несколько слов о цвете этой бури. Все бури имеют свой цвет горизонта, воды и неба.

При боре небо блистает холодной синевой. Горизонт покрыт мглой свинцового цвета. Небольшие клочья белых облаков пролетают над самыми мачтами. Воздух режет кожу как бы осколками льда. Все краски кажутся совершенно свежими, еще не просохшими. Маяки светят ярче, чем всегда».

Это все, что Гарт записал после разговора с Юнге. Очевидно, старик читал ему выдержки из книги и газет и вообще говорил очень много. Запись Гарта напоминает короткий конспект обширного исследования о боре.

Гарт проводил Юнге до пристани. Старик на моторном катере уехал на метеорологическую станцию подымать свои штормовые сигналы.

По дороге на пристань, на улицах, освещенных только из окон и потому немного таинственных, Юнге рассказал наконец Гарту свою, на первый взгляд сумасшедшую, идею об уничтожении новороссийской боры.

Чтобы понять мысль Юнге, Гарт должен был точно представить карту Новороссийской бухты.

За хребтом Варада, замыкающим бухту, лежит высокая долина, похожая на громадную чашу. Она открыта к северу и защищена горами с юга. Поэтому в ней всегда собирается холодный и плотный северный воздух.

Он медленно накапливается, ползет вверх, доходит до гребня Варада и начинает переливаться вниз, в сторону Новороссийска. В Новороссийске воздух теплый и разреженный. Холодный воздух из долины обрушивается всей тяжестью на Новороссийскую бухту, как в пустой сосуд.

Начинает действовать гигантский воздушный водопад — бора. Он прекращается не раньше, чем воздух по обе стороны хребта приобретет одинаковую плотность.

— Ну как? — спросил Юнге. — Вы не догадываетесь, какую пустяковую вещь надо проделать, чтобы уничтожить бору?

Гарт пожал плечами.

— Очень просто, — сказал Юнге. — Надо прорыть у подошвы хребта два-три туннеля. Они дадут постоянный и незаметный сток холодного воздуха из долины в бухту, и бора кончится на вечные времена. Напишите о боре так, как вы умеете писать о всяческих невероятных происшествиях. Нанесите удар по нелепостям природы. Мы добьемся, что туннели пророят. На одном из них будет высечено ваше имя и надпись под ним: «От благодарных моряков всего мира».

Юнге засмеялся. Гарт молчал.

— Ну как же? — спросил, еще не отсмеявшись, Юнге.

— Я подумаю, — ответил Гарт.

Они попрощались. Гарт пошел домой. Он не мог собрать разбежавшихся мыслей. Разговор с Юнге вызвал смятение.

«Почему?» — спрашивал себя Гарт, злился и не мог найти ответа. О чем они говорили? О самых обыденных вещах — циклонах, боре, облаках и турках. В этом не было ничего особенного, а самый разговор был даже беспорядочен и длинен.

Только у себя в саду Гарт понял причину волнения. Ветер шумел в сухих айлантах и акациях. За открытым окном соседнего дома, в закоулке, обнесенном ветхой балюстрадой, слышался голоса.

Впервые Гарту захотелось подслушать чужой разговор. После беседы с Юнге он ждал от каждой встречи с людьми неожиданных открытий.

Гарт посмотрел на небо. Звезды бились и сверкали серебряной чешуей, как бьется в сетях пойманная камса.

С моря неслись облака, легкие, как туман. Около облаков звезды сверкали сильнее, чем на чистом небе. Они переливались белым, синим и желтоватым огнем. Гарт не знал, что это предвещает бурю.

Гарт устал и крепко уснул этой ночью. Он не слышал, как ветер прошумел над городом, и не видел легких теней, по-

сетивших его комнату на одно мгновение. Это пролетели за окном в свете поздней луны ломкие листья платанов. Тень листьев пробежала по книгам, забытым на столе, по начатому рассказу и по усталому лицу спящего Гарта.

О Ж И Д А Н И Е Б У Р И



Весь следующий день Гарт ждал бури, но она не пришла. Вопреки обыкновению, Гарта радовало, что не он один ждет ветра, а ждет вместе с ним весь город.

На сигнальной мачте Павловского мыса с рассвета висел штормовый сигнал — черный конус и черный квадрат. Сигнал означал приближение бури с норд-оста.

Каждый ждал шторм по-своему. Рыбаки торопились поставить на якоря смоленые байды. Перевозчики угоняли шлюпки в тихие затоны, где качались на воде щепки и мандариновые корки. Голубые военные корабли крепче швартовались к красным плавучим бочкам. С Северной стороны шныряли катера, спеша перебросить домой из города хлеб и бензин, сахар и картошку.

Серебряные гидропланы прятались в ангары, как пчелы заползают в улей. Маячные сторожа протирали суконками толстые линзы фонарей. Школьники клеили змеев. Хозяйки законопачивали бумагой щели в окнах. Одни только дворники ничего не делали, хотя и ждали ветра с гораздо большим нетерпением, чем остальные обитатели города. У дворников были свои соображения: ветер должен был вымести и продуть город насквозь с силой гигантского вентилятора.

Днем Гарт, устав от работы и бесплодного ожидания бури, поехал на Северную сторону.

Это место он любил больше всего в Севастополе. В пещерах, выбитых в желтых сухих утесах у берега бухты, жили рыбаки — загорелые оборванцы — с женами и полуголыми детьми. Пещеры были забиты фанерой. На ней то синими, то оранжевыми заплатами пылали разошедшиеся двери. Прозрачная вода набегала к порогам пещер, позванивая пустыми консервными жестянками. Серые сети и развешанная на канатах рваная роба дополняли пейзаж.

На заднем плане, за тонким лесом желтых мачт и свернутых парусов, похожих на полотняные листья бананов, за пу-

таницей турецких балконов, разбитых черепичных крыш, колючей проволоки и высохших акаций, желтела степь, поросшая пыльной травой. По ней бродили равнодушные псы — старожилы и владельцы этих рыбачьих и крепостных берегов.

Гарт сошел с ялика на ветхую пристань. Седоусые перевозчики стояли около облупившихся шлюпок и угрюмо покривали в пространство:

— Кому в город? Зыба нет! Нет зыба! Да разве это зыб, товарищи?

Гарт любил смотреть на разнообразных пассажиров, сдившихся в шлюпки. Но сегодня пассажиров почти не было. Сел унылый грек с миртовой веткой в руке, — должно быть, он принес ее с Братского кладбища. Грек с недоумением повертел ветку в руке и выбросил в воду. Села белобрысая девочка с черной мяукающей кошкой. Потом в шлюпку спрыгнул, навистывая, молодой краснофлотец. Он споткнулся, густо покраснел и отвернулся ото всех с обиженным видом.

Пестрые куры рылись в гнилых водорослях, выброшенных прибоем. На Северном рейде синели крейсера и миноносцы.

Шлюпка отчалила. Гарт пошел в поселок. Он заглядывал во все дворы. Почти в каждом он замечал интересные вещи. Дворы напоминали склады декораций. Казалось, лет сорок назад здесь под открытым небом ставилась веселая пьеса из жизни пиратов. Театр уехал, а декорации — поломанные и живописные — остались на вечные времена. Они заросли татаркой, покрылись шершавой пылью и выгорели под черноморским солнцем.

Белье на каменных оградах висело, как изорванные театральные костюмы. Их вывесил проветривать подслеповатый старик с чадающей трубкой.

Дети гоняли по крутым спускам железные обручи. Громкая эта игра свойственна всем широтам земного шара. Она осталась в наследство, вероятно, от доисторических времен, существовала с первых дней изобретения колеса.

Воздушные змеи косо дрожали в синеве и уходили, с жужжанием, в тень облаков.

На пустырях тоже валялись остатки театрального реквизита — разбитые кувшины, высохшие букеты и поломанные весла.

Стены старинных круглых фортов были наискось разрезаны тенью и солнцем. Сухая трава шелестела в бойницах.

Чайки с красными лапами сидели на чугунных шарах — пустых минах, изъеденных ржавчиной. Цвет ржавчины ничем не отличался от цвета птичьих лапок.

Гарт прислушивался к пisku чаек и пытался подобрать для него созвучия в человеческой речи. Казалось, чайки тревожатся и спрашивают себя: «Чьи мы? Чьи мы?»

На крышах фортов были укреплены сигнальные мачты. Тонкие тросы поддерживали их и весь день ныли от ветра.

На мачтах шумели флаги. Гарт был уверен, что эти куски цветной материи пахнут, как выстиранное белье. Недаром их неделями обдувал соленый ветер.

Вечером на мачтах загорались зеленые фонари, и казалось, что форты, как мониторы, неся сигнальные огни, тяжело шли в ночь навстречу невидимым вражеским эскадрам.

Эти давным-давно разоруженные форты остались на Северной стороне со времен Севастопольской обороны. Они придавали всему пейзажу облик старинного крепостного района, засыпанного вросшими в землю ядрами.

Крепостная жизнь привлекала Гарта. Он бы с наслаждением поселился в пустынных цитаделях. Бронзовые орудия и казематы мирно уживались здесь с играми детей, умыванием веселых котят и геранью, доцветавшей в старых снаряженных гильзах, набитых землей.

Гарт пошел вверх по шоссе, пока шум человеческих голосов не остановил его. Шум долетал из-за калитки, выкрашенной в синий цвет.

Гарт открыл калитку и смело вошел во двор. Он поймал себя на мысли, что месяц назад он не сделал бы этого — не из робости, а попросту из отсутствия любопытства к людям.

Неловкость своего появления Гарт решил объяснить очень просто, — хотя бы узнать у хозяина, как пройти на Братское кладбище.

Во дворе около белой стены валялась килем вверх тяжелая оранжевая лодка. Рядом стояло ведро со смолой. Часть днища была замазана липким дегтем.

Человек, только что смолвивший лодку, — тщедушный старик с косматыми бровями, — стоял, окруженный мальчишками, и держал в руке что-то беспомощно бившееся и издававшее болезненный писк.

Гарт с остротой зрения, никогда не изменявшей ему, заметил около стены ящик с масляными красками и сохнувший на стуле этюд. Он изображал происходившую здесь, видно, совсем недавно и чем-то прерванную сцену — старика, красящего оранжевую лодку.

Появление Гарта не произвело ни на мальчишек, ни на старика никакого впечатления.

Гарт подошел и заглянул через головы мальчишек. Старик держал в руках воробья, залитого смолой. Смола капала с крыльев на брезентовые штаны старика, но он не замечал этого.

Старик поднял глаза на Гарта и крикнул, — Гарт понял, что старик глухой.

— Га! Видали? Как оно залетело в ведро с дегтем, никак не пойму. Чи оно больное, чи слепое, — как вы думаете?

Глаза у старика были голубые, как у сибирского кота.

— Надо его обмыть керосином, — посоветовал Гарт.

— И теплой водой! — крикнул мальчишка с суетливыми глазами. — Обязательно теплой водой!

— Га? — снова крикнул старик и вопросительно посмотрел на Гарта. — Говорите крепче, потому я глухой еще с революции пятого года. Адмиралу Чухнину надо сказать спасибо, баранной шкуре, — через него я оглох.

Гарт насколько мог громко повторил совет о керосине.

— Так как же! — ответил старик. — Обязательно обмоем. Женщина пошла за керосином. Сейчас принесет. Пусть живет птичья душа.

Появление молодой женщины было стремительным. Она распахнула калитку, бурей ворвалась во двор и бросилась к старику. Из-за порывистости движений Гарт не успел ее рассмотреть.

Первое, что он увидел, — это руки женщины, сильные и быстрые. Она взяла у старика воробья и решительно вытерла ему ватой, смоченной в керосине, крылья и лапы.

Воробей поднял веко, взглянул на женщину желтым глазом и забился у нее в руках.

— Какой дурак! — сказала женщина.

Глядя на руки женщины, Гарт догадался, что набросок маслом принадлежит ей. Голос почему-то окончательно убедил его в том, что перед ним художница.

Гарт посмотрел на женщину и вспомнил: когда он подымался сюда, то встретил ее на шоссе.

Эта мимолетная встреча вызвала ощущение, будто он присутствует при завязке нового рассказа. Такое ощущение уже не раз бывало у Гарта. Оно всегда сопровождалось глухим волнением. Казалось, вот-вот в жизнь войдет то, что Гарт называл счастьем: неожиданность, сила человеческих чувств, полоса заманчивых событий, внятный и мимолетный стук чужого и потому особенно прекрасного женского сердца. Но это только казалось.

Гарт считал, что способность к счастью — такой же редкий талант, как способность к музыке, живописи или революционной борьбе. Себя он считал обойденным этим талантом.

У него не было ни сил, ни желания сживаться с чужой жизнью, а без этого, по мнению Гарта, счастье было невысказано.

Гарт хорошо чувствовал себя только с мальчишками. Их восприятие мира ничем не отличалось от гартовского. Фантазия поддерживала существование большинства этих восторженных и худеньких людей.

Гарт посмотрел на женщину и отвернулся. Если бы его спросили, что он увидел, он бы ответил: свет.

Свет моря и воздуха, свет солнца и блеск, присущий человеческой радости и уму, — именно это Гарт увидел в глазах женщины. Она улыбнулась. Ничто так не передает чистоты человеческих помыслов, как улыбка.

Гарт решил уйти. Он боялся, что эта встреча, если ее продлить, окончится тоской и тем сумбурным состоянием, когда человек перестает писать, думать и читать книги. А этого Гарт боялся больше всего.

Гарт взялся за ручку калитки.

— Вы куда? — спросила женщина.

Гарт остановился. Он досадливо посмотрел на женщину и не открыл калитки. Потом, вспоминая об этом, Гарт думал, что жизнь порой складывается совсем по-необыкновенному из-за сухих пустяков. Стоило ему пренебречь окликом, открыть калитку и выйти на пыльную дорогу — и ничего бы не случилось. Но, собственно говоря, и сейчас ничего не случилось.

— Вы в город? — спросила женщина.

— Да, — ответил Гарт. — Вы тоже будете переправляться в город?

— Конечно. Если вы не очень торопитесь, подождите меня. Я только соберу краски и кисти.

Гарт подождал. Он не представлял себе, о чем будет говорить с ней по дороге.

— Прощай, дед! — прокричала она старику, захлопывая ящик с красками. — Окончу тебя завтра. Сейчас я тороплюсь.

— Да как хотите! — крикнул старик. — Все одно я инвалид, какая с меня людям польза! Малюйте себе на здоровье! А у меня есть забота — выхаживать того пацана!

Старик разжал ладонь и показал воробья.

По пути к пристани Гарт заметил, что женщина совсем не торопилась. Она шла медленно, часто останавливалась и смотрела на Севастополь, вздымавшийся над бухтами.

— Я знаю, кто вы такой, — сказала женщина, когда они спустились к бухте. — Зоя Юнге рассказывала мне о вас. Но еще до этого я читала — не помню где, в каком-то журнале — ваши рассказы. Вы — Гарт, правда?

— Правда, — согласился Гарт.

Женщина назвала себя. Ее звали Сметаниной.

Говорили о приближавшемся шторме. Сметанина взяла Гарта за рукав и показала на море. От молочной воды до зенита небесный свод был окрашен в сизый цвет. На нем гудел гидроплан, похожий на оловянную игрушку. Закатное солнце осветило рыжие овраги и желтые дома.

Вся Северная сторона предстала перед Гартом с резкой до боли в глазах стереоскопичностью. Угрюмое освещение отчетливо показало неизмеримость воздуха, лежавшего между домами и далеким планом предштормового неба.

Над берегами и морем властвовала тишина. Только гидроплан нарушал своим рокотом всеобщее оцепенение перед бурей.

— Вот так всегда перед норд-остами, — сказала Сметани-

на.— Нет никакой возможности передать это оцепенение красками. Очень, очень трудно.

Она вздохнула, подняла с земли осколок синей простой тарелки и спрятала его в карман пушистого жакета.

— Очень трудно,— повторила она после долгого молчания.— Я всегда работаю на открытом воздухе и устаю, как каменотес. С этим стариком, с Дымченко, я бьюсь уже третий день. Очень добрый старик, очаковец.

— Очаковский рыбац? — спросил Гарт.

— Нет. Он участвовал в восстании на крейсере «Очаков» Помните Шмидта?

— Ах да, да, конечно,— спохватился Гарт.

Сметанина внимательно посмотрела на него.

— Вот Шмидт! — сказала она.— Почему вы все так мало пишете о человеческом мужестве? Шмидт — фантазер, неудачник, но он человек громадного личного мужества. Дед Дымченко хорошо его знал. Он может рассказать вам о Шмидте много интересных вещей.

— К сожалению, я не умею разговаривать с людьми,— ответил смущенно Гарт.

— А вы пробовали?

Гарт промолчал. Он подумал, что за последние сутки ему навязали три темы для размышлений — о предсказателях погоды, боре и лейтенанте Шмидте.

«Ну что ж,— сказал про себя Гарт и вздохнул.— Посмотрим».

В шлюпке Гарт молчал. Перевозчик греб стоя. Он лениво окунал весла в тихую воду.

Вечер медленно переходил в ночь. Она подымалась с востока сизым туманом.

Огни над водой горели по-разному. На востоке они сверкали напряженно и остро. На западе они переливались в оранжевой воде серыми столбами, почти не давали света и казались зажженными только для украшения этих замедленных сумерек.

Прощаясь с Гартом на пристани, Сметанина пригласила его к себе. Ей было жаль Гарта. Безошибочным женским чутьем она поняла одиночество этого человека.

Юнге не было дома. Гарт долго ходил по комнате. За открытым окном окуналась в море Большая Медведица.

Прожитый день был громаден, утомителен. Гарт долго сидел за столом, но написал всего две-три строчки. Он начал рассказ о человеческом мужестве. Тема эта была для него еще очень туманна.

В полночь над городом прокатился тяжелый гул. Раскатистые удары, похожие на пушечный гром, с размаху били по железным крышам. Свистели ветки акаций. Начинался норд-ост.



оследний раз я был в Севастополе зимой 1921 года.

Мы пришли из Одессы на единственном уцелевшем после белых пароходе «Димитрий». Пять дней «Димитрий» штормовал между Одессой и Тарханкутом. Дул ледяной норд-ост.

Два дня мы отстаивались в бухте Караджи, около бесплодных, покрытых сухим снегом, берегов Северного Крыма.

«Димитрий» был расшатанный, больной пароход. Котлы его выпускали на воздух половину пара. Пар шипел изо всех щелей. С стороны «Димитрий» был похож на плавучую китайскую прачечную.

Через несколько часов после выхода из Одессы мы попали в полосу полного шторма. Он доходил до одиннадцати баллов.

Океанские волны обрушивались на ветхие палубы, смывали груз и шлюпки, ломали планширы. Море — седое, зимнее, невыразимо угрюмое — ревело и несло за тонкими бортами, как Ниагара.

Ветер сбивал с ног, отрывал пуговицы на пальто. В каютах стояла вода. Она сливалась сюда с палубы. В ней плавали окурки и чемоданы. Женщины плакали, мужчины помалкивали и дрожали.

На второй день сдала машина: «Димитрий» потерял ход. Нас начало сносить к берегам Румынии, где немцы во время войны поставили «букеты» мин.

Так предполагал капитан, но сказать точно он ничего не мог. Не было возможности определить местонахождение парохода. Море походило на кипящий котел, покрытый холодным паром. Этот пар — моряки зовут его «испарениями» — был хуже тумана. Не было ни звезд, ни солнца, нельзя было взять пробу грунта.

На третий день в носу парохода открылась гечь. Начался мороз. Пароход обрастал льдом. Помпы едва выкачивали воду.

Матросы и пассажиры рубили лед топорами, кололи его ломами, срывая ногти, отмораживая руки.

«Димитрий» дал SOS. Но на призыв о помощи никто не ответил.

Среди пассажиров был оборванный, небритый матрос. Он единственный вел себя как на суше: спал, пел, ссорился с полумертвыми от страха мешочниками и внушал им правила никому сейчас не нужной корабельной дисциплины. Он один выходил

«гулять» на палубу, но долго там не выдерживал. Спускаясь вниз, он говорил пассажирам:

— Чем киснуть здесь, вы бы пошли посмотрели, что делается! Красота!

Пассажиры в ответ только стонали.

Я последовал совету матроса и до сих пор благодарен ему за это. Впервые в жизни я испытал красоту и смертельное отчаяние небывалого шторма.

На пятые сутки среди ночи заревел охрипший гудок. Над головой побежали матросы, топя сапогами. На баке ударили в колокол. Его звон был не громче тявканья щенка. Шторм заглушал все звуки своим неутомимым голосом.

Я поднялся на палубу.

— Что случилось? — крикнул я пробежавшим матросам.

— Берег! — прокричали они и показали в темноту бури. Там тускло мигал огонь маяка. До него казалось далеко, как до звезды. Это открылся Тарханкут.

Утром мы отдали якоря в бухте Караджи. Три дня «Димитрий» мотался на волнах около берегов, таких пустынных и печальных, что даже зрелище свинцового бушующего моря казалось веселым и праздничным.

Начался голод. Капитан вскрыл трюмы, но нашел там только прелую ячневую крупу. Ее роздали пассажирам. Мы варили жидкую кашу без соли на остатках пресной воды из цистерн. Вода была с мелким песком.

Мы ели кашу без хлеба. В голове с утра до вечера что-то гудело, как в телеграфных столбах.

Десять пассажиров-матросов в оглушительно хлопающих клешах — тогда таких матросов звали «жоржиками» — решительно пошли к капитану. Они спросили его, поигрывая маузерами, почему он стоит и не хочет ли он, гад, чтобы все пассажиры посыдохали от голода.

Капитан — унылый и тощий старик — ответил им, что это не их, пассажирское, дело.

— А с голоду дохнуть — наше дело? — закричали матросы, и на пароходе начался традиционный бунт.

До тех пор я был уверен, что такие бунты отошли в область преданий с исчезновением парусного флота. Я думал так, пока не услышал яростные крики матросов: «В море капитана! У нас найдутся свои капитаны!»

Капитан со скучающим лицом вытащил из кармана вместо традиционного револьвера измятую бумажку и показал ее матросам. Бумажка называлась «Предупреждение мореплавателям». В ней было написано, что вокруг Севастополя тянутся минные поля. Идти по ним в такой шторм — по меньшей мере безумие.

— Брехня! — кричали матросы. — Другие капитаны по минам идут напролом. Лучше мина, чем дохнуть без воды и без хлеба.

Капитан упирался. Матросы схватили его за ветхие рукава шинели, но тут — точь-в-точь как в старинных романах — пришло избавление. Оно появилось в лице рыжего комиссара Николаевского порта. Он оттолкнул матросов и сказал негромко.

— А ну, матросики, дай я с ним поговорю по-своему!

Он ушел с капитаном в штурманскую рубку и вернулся через две минуты.

— Успеете,— сказал он матросам.— Успеете выкинуть его в море. Пусть старик еще покрутится малость. Пошли в трюм выбирать своего капитана!

Комиссар оказался находчивым человеком. Он заманил матросов в трюм. Капитан, условившийся с комиссаром об этой военной хитрости, приказал закрыть трюм. Приказ был выполнен с непостижимой быстротой. Трюм не только закрыли дубовыми досками, но еще завалили сверху тяжелым грузом.

Матросы внизу бушевали до поздней ночи. Глухой рев десяти охрипших человеческих глоток доносился даже на палубу.

Ночью шторм стих. Мы снялись в Севастополь. Кроткий грек, пекарь из Феодосии, со странной фамилией Грамматика, измученный бедствиями бури, расстелил на крышке трюма одеяло и лег спать.

Через пять минут в трюме забухали выстрелы. Грамматика с плачем промчался по палубе в каюту врача. Ему прострелили ладонь. Матросы стреляли вверх, требуя освобождения.

Оборванный, небритый матрос, прислушиваясь к частой пальбе, крутил головой и удивлялся:

— Ну и здорово шуруют, духи!

Утром «Димитрий» подошел к Севастополю. Мы стояли на палубе небритые, окоченевшие и желтые от ячневой каши.

В синем дыму и жарком солнце разворачивались знаменитые севастопольские бухты. Росли над водой портики домов, разрушенные ограды, бронзовые памятники адмиралам и ржавые мачты затопленных кораблей.

«Димитрий» сигналами вызвал вооруженный караул. Десять краснофлотцев с черными винтовками поднялись на палубу «Димитрия», открыли трюм и арестовали бунтовщиков. Бунтовщики разыгрывали простецких и глуповатых парней,— они никак не могли понять, что с ними стряслось.

Пассажиров высадили, а «Димитрий» тихо побрел в Южную бухту, на пароходное кладбище. Котлы его развалились.

Мы поднялись с пристани в пустынный город, и нас взяла оторопь.

Голодные татары из Байдар и Бахчисарая валялись на улицах и просили хлеба. Они протягивали к нам костлявые пальцы и тихо сипели. Говорить они не могли.

Разоренный Врангелем, замученный Крым простирался вокруг — бесплодный и тощий. Стекла в окнах обледенелых домов слезились, как опухшие от голода глаза.

Вереницы серых старух бродили по мусорным улицам и тесному базару. Там торговали только сухой, как голодные клопы, барабулькой. Она стоила многие миллионы.

Старухи подбирали с мостовой раздавленные сапогами селедочные головы, рассыпанную кое-где рупу.

В бухтах гремел ураганный оружейный огонь, — рыбаки били из винтовок бакланов и чаек.

Туманы, изморозь, острые ветры налетали с Северной стороны.

Весь день я искал себе пристанища в мертвом городе. Только к вечеру я нашел его на Садовой улице, в школе для детей водников. Мне разрешили ночевать в пустом, холодном классе. В семь часов утра я должен был уходить и не возвращаться до вечера, пока в школе не кончались занятия.

Долгие часы я просиживал на Графской пристани, греясь под неопределенным солнцем января. Изредка я заходил на базар с отчаянной надеждой купить немного хлеба, но на базаре торговали розовыми цейлонскими раковинами, пепельницами, зажигалками и бязевым солдатским бельем. Все спрашивали хлеб, но ни одна живая душа его не продавала. Толкотня на базаре была совершенно бесцельной.

Дом, где находилась школа, принадлежал адмиральше Коланс. Эта решительная высокая и хромая старуха, ходившая с кочергой вместо палки, спаслась от выселения тем, что отдала под школу свой особняк. Сама она жила с сыном — бывшим мичманом — во флигеле во дворе.

Ко мне адмиральша благоволила, потому что считала меня моряком, скрывающим свое звание.

На третий день моих ночевок в школе адмиральша привела из Инкермана худую козу. Ее нечем было кормить. Адмиральша решила пасти козу на Историческом бульваре, где среди гранитных памятников на месте бастионов торчала сухая трава.

В одно туманное утро, после шумной ссоры между мичманом и адмиральшей, происходившей на чистейшем французском языке, мичман вышел из ворот и потащил козу на Исторический бульвар.

Я встретил его на спуске. Он тянул козу за гнилую веревку. Коза упиралась. Опорки болтались на ногах мичмана, но его английский пробор был, как всегда, безукоризнен.

— Здравия желаю! — сказал мне мичман и поднес грязную руку к голове. — Матап просит вас не заворачиваться по ночам в ковер. Она очень опасается вшей.

Я пренебрег этой просьбой и продолжал каждую ночь спать в ковре. Я ложился на него не раздеваясь и наворачивал его на себя шерстяной трубой. В ковре было душно, но тепло.

В комнате стоял мороз. Каждую ночь на окнах лопались бутылки с чернилами. Эти взрывы отдаленно напоминали звуки канонады, ставшие колыбельной песней тех лет.

Потом ко мне в комнату поселили начальника Скадовского порта Денисова, бывшего матроса с крейсера «Алмаз».

Он приносил под шинелью куски ломкого известкового хлеба и угощал меня. Хлеб мы резали громадным сапожным ножом.

Денисов был в бою под Чонгаром и брал у Врангеля Севастополь.

Однажды вечером он привел в школу высокого юношу в пенсне, накормил его хлебом и заставил играть на окоченевшем рояле.

Пылала коптилка. Юноша долго сидел, подложив руки под себя, чтобы согреть их, потом подошел к роялю. В дикую ледяную ночь ворвалась, как стая трепещущих птиц, мелодия Чайковского.

Адмиральша пришла и слушала, стоя в дверях с кочергой, прямая и грозная, как богиня возмездия.

Когда юноша ушел, Денисов, укладываясь спать на составленных партах, рассказал историю знакомства с этим пианистом.

Отряд Денисова первым вошел в Севастополь. На Морской улице из окна трехэтажного дома в бойцов денисовского отряда было сделано несколько выстрелов из винтовки.

Бойцы ворвались в квартиру. Они никого там не нашли, кроме хилого юноши в пенсне. Он сидел за роялем и собирал ноты. Его сочли за переодетого офицера и схватили

— Ты стрелял, собака?

Юноша отрицательно покачал головой.

— Покажи руки! — крикнул Денисов.

На руках не было никаких следов от затвора.

— Я музыкант, — сказал юноша. — Я музыкант из кино

— Раз музыкант, так пусть сыграет, — злобно засмеялись бойцы. — Играй, а не сумеешь — отправим в расход!

Юноша заиграл.

— Сердце у меня зашло, — рассказывал Денисов. — Видать, человек за жизнь свою старался. Одним словом, сели мы, кто куда, закурили и слушали. Такая печаль взяла за сердце — прямо руками, — будто мать нас провожает, плачет и идем мы добывать своей кровью новое счастье. Кончил он, а Васька Тихонов говорит: «Нет никакой возможности, чтобы этот человек стрелял. Айда искать, ребята!» Перерыли весь дом и на чердаке нашли какого-то фрукта, — он в нас стрелял. С тех пор я, как попаду в Севастополь, всегда музыканта найду и то денег ему дам, то хлеба. Очень я этого человека оберегаю.

С Денисовым у меня случилась неприятность. Он был контужен на фронте и страдал тяжелыми галлюцинациями. Тяжесть их усиливалась воющими от норда, как псы, севастопольскими ночами.

В одну из таких ночей Денисов пришел поздно. Он не постучал, как всегда, в окно, а долго скреб по стеклу пальцами и, прижав расплющенный нос, смотрел на меня с улицы дикими белыми глазами.

Я открыл ему дверь. Денисов вошел, шатаясь. Кепки на нем не было. Он запер дверь на ключ, застонал и сел на пол. — Что случилось? — спросил я, встревоженный его стоном.

— Ограбили! — закричал Денисов и вывернул карманы кожаной куртки. — Все! Деньги и документы. Все отобрали, нечистые души!

Он долго кричал об ограблении и потрясал в воздухе пачкой денег и всеми своими воинскими документами и мандатами.

— Кто ограбил?

— Кто? — переспросил Денисов и посмотрел на меня с леденящей кровью улыбкой. — Сейчас ты узнаешь — кто, любезный товарищ!

Он осторожно взял с подоконника сапожный нож, попробовал лезвие о подметку и начал медленно подходить ко мне, посмеиваясь и примериваясь, как бы удобнее всадить мне нож в сердце.

Ударом головы в живот я сбил его с ног, открыл дверь и выскочил в темный пустой двор. Ветер хрипло кричал над умирающим городом.

Я разбудил мичмана, и мы вдвоем пошли умирять Денисова.

Мичман дрожал мелкой дрожью.

В комнате Денисова мы не застали.

Окно стояло настежь. Ветер швырял на пол сухой снег. Сапожный нож был со страшной силой воткнут в филенку двери. Когда мы вошли, он еще дрожал.

Очевидно, Денисов только что выскочил через окно и ушел.

Появился он через два дня, смущенный и печальный. Он попросил прощения за то, что ему «помстилась такая чертовщина», и сказал, что на днях едет лечиться в Москву. Мы с ним помирились.

«ТРАВИАТА» НА КОРАБЛЯХ



двенадцать лет назад

Тогда в бухте стояли старинные броненосцы без брони, красные от ржавчины и грязные, как мусорные ямы. Весь флот состоял из нескольких замызганных катеров.

А сейчас я увидел голубые кряжи дредноутов и хищные носы крейсеров, нарядных и праздничных.

Весь день был заполнен громом гидропланов и торпедных катеров. Они носились в пене, синеве и флагах по прекрасной карте глубоких и неузнаваемых бухт. В бухтах уже не били бакланов.

Город готовился к празднику. На каменных оградах были наклеены афиши, — один из московских театров ставил на кораблях «Травиату».

Знакомые моряки достали мне билет на это необыкновенное зрелище. Актеры должны были играть на броневой палубе, загнутой по сторонам брезентом.

Перед моим приездом шли холодные дожди. Но потом, к ноябрю, наступил штиль с его запоздалым трогательным теплом. Такие штили здесь часто случаются даже зимой.

Я знал, что Гарт живет в Севастополе, и не удивился, встретив его на палубе крейсера среди краснофлотцев и командиров.

Я не удивился встрече с Гартом, но был поражен тем, что Гарт беседовал с молодой женщиной. Она была одета с простотой, выдающей внутреннее благородство.

Увидев Гарта рядом с этой женщиной, я за него порадовался. Любовь могла вернуть Гарту потерянный интерес к действительности.

Чему я был действительно удивлен, так это встрече с Денисовым. Он узнал меня. На рукаве его кителя я увидел широкие золотые нашивки, из чего заключил, что Денисов занимает крупный командный пост.

Он рассказал, что вылечился от своих галлюцинаций, работает на Черном море по подъему затонувших судов, а «для души» занимается внедрением среди краснофлотцев любви к музыке.

Он показал мне среди оркестрантов худого человека в пенсне. Я узнал в нем, несмотря на седые виски, юношу, игравшего Чайковского в обледенелой школе.

Темные грифы виолончелей были прислонены к серым орудиным башням. Музыканты говорили, что, к счастью, нет тумана и оркестр будет слышен не только на рейде, но даже на прибрежных улицах города.

Скрипки поблескивали лаком. Среди стали, блоков и орудий они производили впечатление живых существ.

Это театральное зрелище на палубе корабля перенесло меня на много лет вперед. Мелодии Верди, шемящие, как женский плач о неразделенной любви, звучали в торжественном, величавом безмолвии военного корабля.

Я сидел сзади и видел молодые и напряженные загылки моряков. Только раз все досадливо оглянулись, когда на рейде

заплакала сирена. Ее голос как бы подчеркнул всю горечь того, что неизбежно произойдет на сцене.

Волнение, похожее на приглушенный восторг, теснило дыхание сотен людей. Некоторые низко опускали головы. Я не знал, рассматривали ли они так внимательно свои матросские ботинки или пытались скрыть слезы, не свойственные этим, как они сами себя шуточно называли, «скитальцам морей».

Десятки яликов с керосиновыми фонарями на бортах качались около крейсера. Из них вверх, на броневую палубу, откуда долетал печальный голос Виолетты, смотрели загорелые люди — жители севастопольских окраин. Гребцы старались не плескать веслами.

Дым звезд роился над береговыми утесами. Гуманная стрела прожектора упиралась в созвездие Ориона.

Во время пауз я оглядывался, — казалось, Виолетта пела на родине Верди. Город отражался в воде рейда всеми своими огнями. Блеск пламени достигал морского дна — так прозрачна была вода севастопольских бухт.

— Что происходит? — спрашивал я себя.

Верди. Венеция. Старинный рояль и вино. Песенки студентов, седые актеры и молодая женщина с красной камелией, приколотой к корсажу.

Предательство, любовь, печальный поцелуй в висок.

Севастополь, красная эскадра, матросы-комсомольцы, якоря, цепи, советские гюйсовые флаги, тончайшая музыка — и слушатели, каким мог бы позавидовать Верди.

Все это произвело в душе радостное смятение. Только к концу спектакля оно сменилось ясным ощущением удивительного времени, переживаемого нами, и небывалого будущего, идущего ему на смену.

Я взглянул на Гарта. Шляпа лежала у него на коленях. Он откинулся на спинку кресла и, высоко подняв голову, сосредоточенно смотрел на сцену. Морщины на лбу разошлись.

Он обернулся, встретился со мной глазами и кивнул мне головой. Его улыбка была простодушна, как у любого из молодых матросов.

После спектакля я подошел к Гарту. Он потряс мне обе руки и тотчас же позвал к себе.

Он познакомил меня со своей соседкой. Эта была художница Сметанина. Недавно в Москве я видел ее картины. В них была сила мазка, свойственная, пожалуй, только мужчине.

Сметанина произвела на меня впечатление человека чистого ума и сильного темперамента. Она была красива той непосредственной врожденной красотой, которая распространяется на все — на лицо, глаза, волосы, манеру говорить, смеяться и сердиться.

Гарт познакомил меня еще со своим хозяином — метеорологом Юнге, румяным и беспокойным стариком.

Существуют старики, целиком состоящие из любопытства и желания спорить. Они бегают по лекциям, участвуют во всех экскурсиях, никому не дают покоя, но никогда не надоедают. Таким напористым, болтливым старичком мне показался Юнге.

В катере по пути к пристани он успел рассказать мне, без всяких понуждений с моей стороны, все, что знал о Верди, и, кстати, о Гарибальди. По его словам, они были друзьями. Гарибальди долго жил в Одессе и Таганроге. Он служил капитаном на итальянском пароходе и занимался перевозкой хлеба из наших степных портов в Италию.

— Вы знаете,—спросил Юнге,— что Гарибальди сказал о социализме? Нет? Социализм — это солнце будущего. Il socialismo é il sole del l'avenire. Il sole del l'avenire! — с восторгом повторил он. Лицо его вдруг осветилось струящимся блеском.

Я оглянулся. Позади нас на военных кораблях вспыхнула иллюминация.

Мы смотрели на нее из города. Золотые пчелы облепили военные корабли. Огненные контуры фантастической эскадры пламенели на рейде и переливались в воде осенних бухт.

Десятки прожекторов перепутали свои лучи с туманными созвездиями и извилистым течением Млечного Пути.

Музыка гремела на палубах и колебала воду. Желтые и белые, синие и зеленые огни прыгали на волнах, лопались, разлетались на сотни осколков и снова сливались в широкие световые дороги.

Черные громады грузовых пароходов пробирались сквозь дождь огней, зажмурив глаза, ослепнув от перебегающего света, и жалобно покрикивали сиренами — просили дать дорогу.

Дым иллюминации, как зодиакальный свет, очертил линию крутых берегов, похожих на крепостные стены, и верхушки сухих, облетающих деревьев.

Листья хрустели под ногами. Только этот звук напоминал о близости зимы.

Юнге рассказывал, что в садах набухают почки. Было очень легко поверить в наступление новой весны. Воздух дрожал от невидимых горячих течений.

С площади, полого спускающейся к морю, долетал мерный шорох сотен подошв. Матросы и командиры танцевали со смущенными девушками под знакомую песенку:

Плыли мы через лунный залив,
Голоса наши тихо звенели.

К берегу причалил катер.

— Командующий флотом,— сказал мне Гарт.

Из океана огней, с борта катера, сошел на пристань высокий человек с широкими золотыми нашивками на рукавах черной шинели. Свет блеснул на его седых висках.

Он медленно пошел через праздничную площадь, суровый

и улыбающийся. За плечами командующего были годы боев и работы ради того, чтобы наконец наступило время расцвета и веселья единственной в мире социалистической родины.

— Социализм — это солнце будущего, — сказал я Гарту.

— Я знаю, — ответил Гарт. — Я давно отказался от своей невозмутимости.

Плыли мы через лунный залив,
Голоса наши тихо звенели

— В своих прежних рассказах, — сказал Гарт и подчеркнул слово «прежних», — я часто описывал праздники в приморских городах. Плошки, пляски, драки и фейерверки. Но ничего подобного тому, что происходит, я, конечно, не мог выдумать. Я писал и не верил, что такие вещи возможны. Я писал с тоскою на сердце. Я очень сбивчиво говорю, но мне хотелось бы, чтобы вы меня поняли. Сейчас, когда мимо прошел командующий флотом, когда прошел через праздник человек, вынесший тяжесть революции, — праздник зазвучал по-иному. Если раньше к чувству праздника всегда примешивалась доля смущения перед кем-то за свое веселье, то теперь этого нет. Совесть чиста. Вы поняли меня?

— Понял, — ответил я. — Над чем вы сейчас работаете, Гарт?

— Я пишу о лейтенанте Шмидте, — неожиданно ответил он.

Мы проводили Сметанину до дома. Город шумел гулом молодых голосов. На каменных трапах росла полынь.

Сметанина жила в верхней части города, возвышавшейся, как остров, над морем. Там были тенистые улицы, очень пустынные, гулко повторявшие шаги прохожих и близкие к небу. На таких улицах хорошо было бы построить обсерваторию.

Сметанина затащила нас к себе. Она налила нам по стакану белого вина. Юнге сел к роялю и сыграл под сурдинку застольную песню из «Травиаты»:

Налейте, налейте бокалы,
И выпьем, друзья, за любовь

Мы медленно выпили вино. Я зачитался раскрытой на столе книгой — письмами художника Ван-Гога — и почти не слышал разговора, происходившего около меня. Долетали слова о норд-осте и каких-то туннелях, которые будут стоить гроши и спасут человечество. Старик Юнге горячился и обзывал Гарта трусом.

— Если вы не хотите об этом написать, — сердито сказал Юнге, — так я сам напишу. Вот сяду и напишу! Подумаешь!

— Я не могу сейчас заниматься этим, — мягко оправдывался Гарт. — Вы знаете, что я работаю над Шмидтом.

— Ну и черт с вами! — сказал Юнге.

Когда мы вышли, ночной воздух ударил в легкие, как сла-

бый электрический разряд. Казалось, город завалили по крыши только что вытащенными рыбацкими сетями и грудями желтой листвы.

Гарт потребовал, чтобы я у него ночевал.

В пустой квартире Юнге мы еще долго ходили, спорили и смеялись.

Дикий кот носился по темным комнатам, приседая и вытянув хвост. Он прыгал на полки с книгами. Глаза его горели зеленым огнем. Он угрожающе выл, перебирал когтями и готовился к отчаянным прыжкам. Кот играл сам с собой. Он чувствовал себя в джунглях, на опасной, увлекательной охоте. Потом он нам надоел, и мы его выгнали на кухню.

При свете свечи я долго пересматривал «Морской сборник» за старые годы, валявшийся на столе у Гарта.

Я читал о преимуществах службы на парусных кораблях, о нельсоновских капитанах и минах Уайтхеда. Я так увлекся, что уснул только перед рассветом.

МУЖЕСТВО

Одна смертная казнь может
остановить меня!

*Ответ лейтенанта Шмидта
адмиралу Федосьеву*



Рукопись Гарта о лейтенанте Шмидте состояла из небольших отрывков.

Уезжая из Севастополя в Коктебель, Гарт оставил ее мне на хранение. Он считал эту работу незаконченной.

Я прочел ее. Это был ряд набросков, совершенно непохожих на все, что Гарт писал до тех пор.

Работа Гарта шла у меня на глазах, и я попутно могу восстановить ту обстановку, в какой она проходила.

Мы часто ходили с Гартом на бывшую Соборную улицу, в дом, где жил в Севастополе Шмидт.

Во дворе висело белье. Сохли акации. Маленький двухэтажный дом потрескался и разрушался. Он был жалок и сер. Стертая каменная лестница вела во второй этаж, в квартиру Шмидта, где жили сейчас учителя татарской школы.

Гудели примуса, и ревели дети. Любопытные жильцы выполняли из квартир и с тревогой следили за нами. Особенно их смущал Гарт своим высоким ростом, сухим лицом и глухим голосом. Они принимали его за архитектора, желающего снести их ветхий дом и построить на его месте кирпичный корпус на сорок квартир.

Но потом жильцы к нам привыкли и успокоились. Особенно после того, как Гарт привел Сметанину и попросил ее сделать набросок с дома.

— Здесь,— сказал Гарт,— произошла завязка одной из величайших человеческих трагедий.

— Я вам об этом давно говорила,— ответила Сметанина.

Я заметил, что Сметанина и Гарт понимали друг друга с полуслова.

У Сметаниной, как и у Гарта, было благоговейное отношение к местам, отмеченным памятью великих людей. Поздней осенью она ездила из Москвы в Святые Горы, на могилу Пушкина, и две недели прожила в Михайловском.

Она мечтала попасть в дрянной и малярийный греческий городок Миссолонги, где умер Байрон.

Казалось, пребывание этих людей оставляло на тех местах, где они жили, почти неуловимый прекрасный след.

Юнге называл эти мысли форменной чепухой, но я был согласен со Сметаниной. Я даже разыскал в лоции Средиземного моря описание Миссолонги и показал его художнице.

«Город Миссолонги находится в Патрасском заливе, окаймленном низкими берегами. Только вдалеке виднеются горы. Город стоит на плоском болотистом мысу. Жители его страдают от лихорадок и оспы. Миссолонги имеет безрадостный вид и редко посещается пароходами».

Гарт, услышав наш разговор о Байроне, заметил, что Шмидт любил Байрона. Перед казнью он написал своей сестре — изумительной женщине, делавшей нечеловеческие усилия, чтобы спасти его от смерти,— несколько строк из Байрона:

Сестра моя, когда бы имя было
Еще нежней, то было бы твоим
Меж нами даль, нас море разделило,
Но все ж тобой я должен быть любим

Я давно собирался написать о том, как пишутся книги. Но всегда желание писать книги, а не исследования, брало верх, и эта тема откладывалась на неопределенное время.

Сейчас я воспользуюсь случаем, чтобы записать хотя бы вкратце, как Гарт работал над напечатанной ниже рукописью.

С большой неохотой Гарт возился с документами. Он упорно разыскивал очевидцев и посещал места, связанные со Шмидтом. Документы давали сухую схему событий. Жизнь им возвращало только общение с людьми, помнящими прошлое. Эта манера работы была далека от того, как работал Гарт раньше.

Гарт ездил в Очаков. Он был на месте казни Шмидта — острове Березани. Гарт рассказывал, что Данте в своем «Аду» мог бы описать Березань со свойственной ему силой.

Гарт ездил в конце ноября. В Очаковском заливе плавал лед. Рыбаки неохотно согласились доставить Гарта на необитаемый и ненавистный остров.

В Очакове Гарт простудился и лежал в Доме крестьянина — в бывших «Номерах Таковенко», где во время суда над Шмидтом жила его сестра и защитники.

В Севастополе, на Северной стороне, Гарт разыскал престарелого рыбака Дымченко, участника восстания на «Очакове». Он очень сдружился с этим стариком.

Дымченко жил в сторожке за Братским кладбищем. Гарт проводил у него целые дни. Он носил Дымченко табак из города, болтал с ним, греясь на солнце, научился чинить сети, а в свободное время брал у Дымченко удочки и ходил ловить бычков и зеленух со старых свай около Сухой балки.

Дымченко хорошо помнил восстание на «Очакове». Он первый подхватил на руки Шмидта во время истерического припадка после объезда эскадры.

Он рассказывал обо всем охотно и спокойно. Только один раз он заплакал, когда вспоминал, как очаковцы прощались со Шмидтом перед казнью.

Мы поехали к Дымченко втроем — Сметанина, Гарт и я.

Стоял жаркий осенний день, безветренный, будто отлитый из желтоватого стекла.

В степи за Северной стороной пели жаворонки. На кладбище пылала осень. Солнце просвечивало через листья, как через нежные ладони, полные розовой крови. Пух семян засыпал дорожки. Дали были полны той ясностью, какую можно встретить только в сухих и бесплодных горах.

Около сторожки Дымченко зевала на цепи косматая и добродушная собака Рыжик. Дымченко штопал сеть. Все было патриархально, солнечно и просто, как всегда.

В этот день разговор зашел о казни Шмидта. Дымченко с матросами-очаковцами сидел после суда на плавучей тюрьме «Прут», откуда Шмидта, Частника, Антоненко и Гладкова взяли на расстрел.

— Как вывели Шмидта, он шел быстро, будто не по палубе, а по самому воздуху. Легкий шаг был у человека, светлое лицо. Мы просили начальство: «Дайте нам пять минут с ним и с матросами попрощаться в их смертный час. Дайте нам посмотреть на них и на него пять минут!» Не разрешили, заразы! Тогда мы все разом начали кричать: «Прощай, Шмидт! Прощай, друг, святой наш товарищ!» Офицеры — драконы, каких свет не видал, — дают приказ: «Замолчите!» — а мы не слушаем, кричим, плачем и рвем на себе форменки. Долго плакали и кричали, пока не кончили его на том острове злой пулей.

Дымченко свертывал из табака сигарку. Старческая слеза упала на нее, и бумага расплзлась под дрожащими пальцами. На затылке старика по-детски торчал седой легкий пух. Старик долго не подымал голову и тер худую грудь.

— За родного брата не так у людей болит душа, как за него, за Шмидта. Да вот — не дожил. Сил нету у меня об этом вспоминать. Растравили вы меня, чудачки, — опять не будет мне сна.

Кроме Дымченко, Гарт нашел в Севастополе старого, подслеповатого аптекаря, жившего на покое. После встречи с ним Гарт показал мне ветхий рецепт.

Рецепт был на бром, но интересно было не это. На том месте, где пишется цена лекарства, рукою провизора было написано: «Лекарства для Шмидта отпускаются бесплатно — они идут на пользу революции».

Это дало Шмидту повод шутливо воскликнуть в одном из писем: «Видите, революция начинает уже кормить меня».

Старичок аптекарь рассказал Гарту о клятве Шмидта на кладбище.

Гарт собрал материал, но долго не мог писать. Все, что он узнал, казалось ему еще далеким и его не волновало. Нужен был последний толчок. Он пришел, как всегда, неожиданно. В чьих-то воспоминаниях Гарт вычитал, что Шмидт считался великолепным знатоком моря и одним из самых просвещенных капитанов русского флота. Там же говорилось, что внешне Шмидт строен, даже изящен.

Только убедившись, что Шмидт принадлежит к плеяде лучших моряков, каких знало человечество, что имя его как капитана может быть поставлено наравне с Джемсом Куком, Ворониным, Амундсеном и Магелланом, Гарт успокоился и начал писать о Шмидте. Сухопутные люди Гарта пока еще не интересовали.

Первый отрывок из рукописи Гарта о Шмидте назывался «Старый аптекарь».

«Что я тогда пережил! Разве я могу рассказать вам это сейчас, когда мне уже семьдесят пять лет и я жалею, что в Севастополе нет крематория. Пусть меня сожгут, а пепел спрячут в фаянсовую аптекарскую банку с надписью: «Tinctura valeriana», потому что как раз валерианки мне всю жизнь не хватало. Я имел занятие волноваться из-за всех людей, из-за каждого дифтерита и каждой рубленой или огнестрельной раны.

Такая наша профессия — присутствовать при человеческих несчастьях и брать за спасение недорогую цену по таксе.

Ну, однако, Шмидту я единственный в Севастополе отпускал лекарства бесплатно и до сих пор горжусь этим.

Что я тогда пережил! Вы спросите, что я пережил, когда пришла со службы младшая дочь, села вот здесь на стул и заплакала.

— Что с тобой, Люся? — спросил я и пошел за валерианкой. Пока я капал ее в стакан с переваренной водой и волновался, она успела мне ответить:

— Пришла телеграмма адмиралу Чухнину. Она уже ходит по всему городу. Я переписала ее. На, прочти!

Она протянула мне листок бумаги, и я прочел эти слова, — лучше бы я их не читал никогда в жизни:

«Прошу отдать мне тело казненного брата. Анна Избаш». Избаш — это сестра Шмидта.

«Все кончено! — сказал я себе, сел на стул и забыл дать Люсе валерианку. — Все кончено, Вайнштейн! Они убили его!» — повторил я и бросил стакан на пол.

Что я должен был делать, аптекарь и больной старик? Что, я вас спрашиваю? Что я мог, когда вся Россия молилась на него, а спасти его не сумела.

«Вот страна, — думал я, — будь она проклята до скончания века!» И я плакал, как может плакать только еврей. Чтобы научиться так плакать, надо сотни лет мучиться и вытирать слезы и кровь с лица, как это делали мы, евреи. Сотни и тысячи лет!

Вы спрашиваете, знал ли я Шмидта до его речи на кладбище? Нет, не знал. И мало кто его знал в Севастополе. Он взорвался, как динамит.

Было восстание на «Потемкине», потом восстание на «Пруте», но я не слыхал его имени по этим делам. Потом началась революция, и Николай придумал свой замечательный манифест о свободах. Я так считаю, что он был придуман исключительно для аптекарских учеников. Почему? Потому, что они приезжали в город из местечек, ходили по улицам с открытыми ртами и верили даже околоточным надзирателям. Молокососы и дураки! Так в то время почти вся Россия была, как аптекарские ученики!

Мы, представьте, поверили в манифест и обрадовались, что наконец дождались Государственной думы. А она нам, откровенно, была нужна, как мертвому банки.

Начались митинги. Сколько было митингов! И на Екатерининской, и на Приморском бульваре, и где хотите.

После митинга на Приморском бульваре мы пошли к тюрьме освобождать политических. Я тоже ходил. И адмирал Чухнин нам устроил хорошую мышеловку. Ворота тюрьмы открылись, и вместо освобожденных товарищей, как мы ждали, в нас начали бить залпами. Восемь человек убили, а сколько ранили — я теперь не припомню.

Тогда я чуть не задохся от злобы. Чухнин! Вы не можете представить, как «любили» этого человека.

Он был довольно плюгавый адмирал, с бородой, как пакля, крикливый, с камнями в печени и желчью в голове. Пока его не трогали, он очень храбрился, даже ходил по городу пешком.

Знаете, если бы опросить весь Севастополь, восемь из десяти были бы за то, чтобы его убить, как собаку. Но что я мог сделать Чухнину, что, я вас спрашиваю? Ничего существенного!

Но и я, Вайнштейн, испортил ему немного крови. Он приезжал лечить зубы к моему соседу по квартире, дантисту Новицкому. Я зашел к Новицкому как будто по зубным делам и незаметно положил в карман адмиральской шинели — она висела на вешалке в передней — кучу прокламаций! И каких! В одной было напечагано черным по белому:

«Палач Чухнин! Знай, что близок час, когда наша рука не дрогнет набросить тебе петлю на шею! Помни, что час расплаты близок, и этот час будет ужасен. Эту листовку пишут матросы, принадлежащие к партии социал-демократов».

Воображаю, какое веселое чтение имел Чухнин в тот день у себя за чаем!

Погодите, я все никак не дойду до Шмидта.

Через день убитых хоронили. Никогда еще Севастополь не видел такой толпы, столько красной и черной материи и цветов.

На кладбище я первый раз увидел Шмидта. Это был морской офицер, высокий и бледный. Глаза у него горели, как у пророка.

Он встал над могилой и начал говорить. Было тихо, будто люди боялись дышать. Он говорил так, что каждое слово било, как пуля, в грудь человека. Его прекрасный голос слышал весь Севастополь.

Что он сказал? «Клянемся этим убитым в том,— сказал он,— что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав».

Он поднял руку и громко сказал: «Клянусь!» И мы все, все тысячи людей повторили за ним это слово. Слезы закипели у нас на сердце. «Клянемся!» — крикнули мы.

«Клянемся им в том, что всю работу, всю душу, самую жизнь мы положим за сохранение нашей свободы».

И в этом мы поклялись.

«Клянемся им в том, что свою общественную работу мы отдадим на благо рабочего, неимущего люда».

«Клянусь!» — сказал он, и в эту минуту я полюбил его. Я понял, что если этот человек подойдет ко мне и скажет: «Бери вместо своих пипеток наган, иди, и борись, и прячься, и карауль врага, стреляй и страдай, как ты еще никогда не страдал в своей маленькой жизни», — я пойду и буду благословлять его имя.

«Клянемся им в том, что между нами не будет ни еврея, ни армянина, ни поляка, ни татарина, но все мы будем отныне равные, свободные братья свободной России».

Я оглянулся и увидел тысячи людей, бледных и плачущих от счастья. Я видел, как люди бросались к нему, обнимали его, целовали его плечи. А он стоял спокойный, и ветер шевелил его прекрасные волосы.

Теперь я думаю, что тогда он не сумел сделать дело до конца. Тогда никто не делал ничего до конца, потому что мало было большевиков. Большевик — тот всегда поставит точку, и такую жирную, что ее ничем не сотрешь.

С кладбища он мог повести весь Севастополь за собой, захватить город, казармы и флот. Верьте мне, потому что я видел людей после его речи. Они готовы были зубами ломать тюремные решетки.

А вместо этого вечером его обманом заманили в Морской штаб, арестовали и посадили на броненосец «Три святителя».

Он просидел две недели. Все эти две недели город кипел, как котел. Матросы, и солдаты, и все мы, простые жители, требовали его освобождения.

Чухнин испугался. Штыки штыками и офицеры офицерами, а у каждого на душе есть страх, как грязь на дне стакана. Чухнин его выпустил.

После этого каждый день проходил, как будто он мне снился. Я должен подумать, чтобы вспомнить, как все было.

Я боюсь спутать. Мне семьдесят пять лет, — вы не шутите! Но, между прочим, скажу вам, я не очень хочу умирать, потому что сейчас я получил первый раз в жизни свой законный отдых.

Мне хочется греться на солнце, читать газеты, слушать концерты, съездить в Москву, посмотреть на Кремль, и многое еще мне хочется.

Я так думаю, что мы с вами немного рано родились. Через пять — десять лет какой-нибудь мальчишка-ученый, даю вам честное слово, придумает средство, чтобы люди жили еще на пятьдесят — семьдесят лет дольше. Вайнштейну будет невесело умирать и прочесть на смертном ложе такую заметку в «Известиях»:

«Дай вам бог — не бог, а жизнь — здоровья, а главное — работайте, молодой человек, и у вас всегда будет молодая кровь».

Второй отрывок из рукописи Гарта назывался «Восстание».

«Вы меня пытаете прямо как прокурор. Ну, ладно, — рассказывать, так все по порядку.

Зовут меня Дымченко Кузьма Петрович. Сам я родом с-под Каховки на Днестре. С баталером Частником, погибшим со Шмидтом, мы земляки, с одного села.

Батяка мой был небога, бедняк. Мать померла, когда — и не помню: я был совсем малый. Как подросток, забрали меня в Черноморский флот. Муштровали, старались сделать с меня справногo царского матроса, да оно, как видно, не получилось.

Но, не глядя на то, остался я во флоте на сверхсрочную службу. В деревне мне не было дела — ни земли, ни травы, ни братьев, ни сестер, а старик к тому времени помер. Так и добывал я во флоте до пятого года.

Матрос я был толковый. Сила во мне была большая и обида на офицеров. Били меня многое число раз. Называлось тогда это дело флотской воинской дисциплиной.

В девятьсот пятом году Частник — звали его Серега — приобщил меня до революционного понятия. Шмидта после речи на кладбище все знали, даже самая матросская серость — гальюнщики. Звали мы его «брат командир», любили крепко и верили, как никому на свете.

Однако я Шмидта еще не встречал. Увидел я его первый раз в казармах флотского экипажа, должно, за день до очаков-дела.

Бушевала тогда вся Корабельная сторона. Винтовки сами стреляли. Шло к тому, что пора подыматься всем флотом и доходить до настоящей человеческой доли. Решили мы вызвать к себе Шмидта. Послали до него людей. От ответил: «Буду обязательно завтра».

Узнали об этом матросы — и как занялось «ура» по всем казармам, по всей Корабельной стороне, все одно как пожар. Гремело целый час. Промеж офицеров сделалась паника — так здорово кричали матросы.

И верно, на следующий день Шмидт приехал. Мы его в казармы внесли на руках, и он согласился принять командование над нашим матросским флотом.

Был у меня в то время приятель, матрос Сиротенко, тоже наш, с Украины. Служил на броненосце «Пантелеймон», бывшем «Потемкине».

Чухнин, гладкая лиса, боялся «Пантелеймона». Корабль был такой, что одним залпом сделал бы из города чистую пыль.

Чухнин приехал на тот корабль и звал матросов стоять за царя. Сиротенко бесстрашно вышел адмиралу навстречу и говорил о каторжной матросской доле и дорогой свободой.

Чухнин дал приказ арестовать его, но матросы стали стеной и крикнули: «Не дадим трогать Сиротенко! К чертовой матери драконов!» Чухнин уехал, но напоследок приказал снять со всех орудий на «Пантелеймоне» ударники. Вот и глядите, какие тогда были матросы, — ровно дети. Отдали ударники, броненосец не мог стрелять — и через то погиб «Очаков».

А Сиротенко, вечный ему покой, убили на «Очакове». Тело его матросы подобрали на третий день в бухте и похоронили тайно за Братским кладбищем. Теперь я могилу не найду. Старый стал. У меня в глазах темная вода.

Ноябрь был в тот год тихий и теплый. Туманы да солнце, вот совсем как сейчас.

Четырнадцатого ноября я перешел на «Очаков». Ночью, по приказанию Шмидта, мы захватили миноносцы «Свирепый», «Гридень» и еще три номерных миноноски.

Прошел слух, что Чухнин собрался бежать в Одессу на своей яхте «Эреклик». Шмидт послал нас на «Свирепом» в море

сторожить «Эреклик», а в случае, если заметим, потопить его миной. Однако Чухнин не удрал.

На другой день утром на «Очакове» подняли красный флаг и сигнал: «Командую флотом. Шмидт».

Все пять миноносцев ответили сигналом: «Ясно вижу» — и от себя подняли красные флаги.

Человек я не больно грамотный, и нету у меня ума рассказать вам, до чего радовались матросы.

Играла музыка. Команды выстроились на шканцах. Мы открыто стояли перед всем флотом, кидали в воздух бескозырки и кричали «ура».

Шмидт спустился на «Свирепый» и пошел малым ходом до царской эскадры.

Бесстрашный был человек. Каждый офицер мог его убить в упор из нагана.

«Свирепый» подходил борт к борту броненосцев, и Шмидт кричал матросам: «Товарищи, мы поднялись за правое дело! Присоединяйтесь к нам!»

Матросы кричали «ура» и плакали. Да от того крика не было нам никакой поддержки, потому на всех кораблях матросов загнали в трюма и они кричали не на палубах, а за стальными бортами. На палубах остались одни офицеры.

Берега бухты были черные от народа, — страшно было смотреть. С берегов весь город кричал нам «ура».

Так Шмидт обошел эскадру, и ни один корабль, не считая «Пантелеймона», не осмелел, чтобы восстать. А от «Пантелеймона» — я вам уже раз сказал — не было толку. Орудия у него не работали. Тогда Шмидт пошел на миноносце к тому чертову «Пруту», плавучей тюрьме. Там сидели потемкинцы. Шмидт сбил замки с камер и освободил всех.

Шмидт поворотился на «Очаков», созвал команду и поднялся на мостик. Я стоял рядом и крепко за него опасался, — человек весь дрожал. Гнев на эскадру был в нем такой, что он долго не мог говорить.

Потом наконец заговорил. Частник мигнул мне, чтобы я, значит, поглядывал за ним и в случае чего поддерживал.

Что он говорил, я в точности не припомню. «Хотя мы остались совершенно одни, все равно будем биться до самой смерти. Не думал я, что кругом нас столько темного и жалкого люда. Будь он навеки проклят, рабский город!»

Тут он показал рукой на Севастополь, и с ним приключился припадок. Он бился, как малый ребенок. Я крепко держал его, чтобы он не упал на палубу и себя не покалечил.

Мы снесли его в каюту. Я находился при нем, пока все не прошло. И такая взяла меня злоба на людей: что сделали с человеком, и каким человеком! Я готов был своими руками поубивать арестованных офицеров, что сидели у нас на «Очакове».

Бароны все были и графы. Голубая кровь, духами пахли, а

бигь людей не стеснялись. Одно только и знали — гаркать, как заведенные: «государь император, присяга, вера, грязное мужичье», а того в толк не брали, что государь император сам был с придурью.

Как сейчас подумаю, так кровь стынет в жилах. Отдали Шмидта за пятак! Каждый назад поглядывал, есть ли куда удрать. Одни очаковцы и Шмидт шли честно, прямой дорожкой, и привела она их до сырой могилы.

Эх, дожить бы им до нашего веку! Иной раз проснусь ночью и думаю, — ночью нам, старым, всегда не спится. Вот, думаю, каторгу я отсидел, вернулся к себе на Северную. Завтра утречком соберу свои бамбуковые пруты и подамся до бухты ловить скумбрию и чируса. Воздух легкий, чистый. Иду через степь и вижу, — что такое?! — идет навстречу Шмидт. Живой, веселый, смеется мне. Зубы у него были белые и голос сильный. Добрый голос был у человека. Целует меня крепко и говорит: «Вот и свиделись мы с тобой, Дымченко. Недаром мы, значит, шли на смерть, недаром приняли страдание».

Пягий раз так его вижу, и сердце у меня падает, — должно, болезнь какая со мной приключилась.

А я ему отвечаю: «Где ж это вы, Петр Петрович, друг дорогой, как долго пропадали? Ну, теперь же и праздник будет у нас — на все Черное море!»

Должно, у меня болезнь какая. Все его вижу и вижу, и сердце сильно болит, как перед смертью».

«Когда я вступил на палубу «Очакова», — сказал Шмидт на суде, — го, конечно, с полной ясностью понимал всю беспомощность этого крейсера — без брони, с машиной, которая могла дать всего восемь узлов хода, и без артиллерии. Там было всего два орудия. Остальные действовать не могли.

Я понимал всю беспомощность крейсера, не способного даже к самообороне, а не только к наступательным действиям, не способного даже уйти от опасности. Эскадра же, большинством своих матросов сочувствовавшая «Очакову», была разоружена до моего приезда на «Очаков». Стало быть, и тут нельзя было ждать никакой боевой силы, нужной для вооруженного сопротивления».

Так говорил Шмидт.

Надо было не дать погибнуть «Очакову» — ядру восстания во флоте.

Для этого Шмидт решил свезти на «Очаков» побольше арестованных офицеров и пришвартовать к борту крейсера транспорт «Буг», — на нем было шестьсот пудов пироксилина.

Расчет на пленных офицеров был наивен. Шмидт думал, что царская эскадра не откроет огонь по «Очакову», чтобы не убить своих офицеров. События показали, что это не так. Да и

Шмидт в глубине души не верил в это, иначе у него не возник бы план с «Бугом».

Расчет на «Буг» был блестящ. Достаточно было, чтобы в «Буг» попал один снаряд,— и не только от флота, но от всего Севастополя осталось бы пустое место.

В четыре часа дня пятнадцатого ноября Шмидт приказал команде катера «Удалец» взять «Буг» на буксир и подвести его к борту «Очакова».

Когда катер вел «Буг» на буксире, канонерская лодка «Терек» приказала катеру остановиться и отдать концы, угрожая в случае неповиновения открыть огонь. Катер продолжал буксировать «Буг».

Тогда старший офицер «Терца», бывший друг Шмидта по морскому корпусу, Михаил Ставраки, открыл по катеру огонь. Первым же снарядом катер был потоплен.

Команда «Буга», боясь попасть под обстрел и взорваться, открыла кингстоны, и «Буг» пошел ко дну.

Через четыре месяца этот же Михаил Ставраки командовал расстрелом Шмидта и матросов на острове Березани.

(Когда я читал это место в рукописи, я вспомнил 1922 год в Батуме.

Была зима. Гремели ливни. Изредка снег хрустел на дощатых пристанях.

Тогда в Батуме издавалась маленькая морская газета «Маяк». Ее печатали на машине-американке. Машину крутили ногой.

В этой газете печатался Бабель,— он жил тогда на Зеленом Мысу,— и ленинградский писатель Ульяновский. Ульяновский ночевал в товарных вагонах и разгружал пароходы в порту. Он только что вернулся из плена. На его рваном пиджаке была нашита желтая перевязь.

Я редактировал эту газету, где подробно описывались кораблекрушения и всяческие морские дела. Набирал ее единственный наборщик Костя — весельчак и любитель кабаре. Ходил он почему-то с заржавленным револьвером на поясе и револьвер, по обычаю того времени, называл «пушкой».

Однажды в редакцию пришел старый моряк в засаленном тельнике под пиджаком. Рыжая щетина торчала островами на его щеках. Один глаз подергивался тиком.

Моряк назвал себя смотрителем батумских маяков Ставраки. Он принес заметку о необходимости отремонтировать маячные сирены.

Меня этот моряк поразил спокойной наглостью и насмешками над всем, что попадало в поле его зрения.

Через два дня он был арестован за продажу государственного имущества, а через неделю выяснилось, что это бывший лейтенант Ставраки, расстрелявший Шмидта.

Его увезли в Севастополь, судили и расстреляли. На суде он

держался с обычной наглостью и насмехался над прокурором.)

Увидев гибель катера, Шмидт приказал миноносцу «Свирепый» произвести минную атаку на корабли эскадры.

«Свирепый» вырвался полным ходом из-за Павловского мыса. В ту же минуту чудовищный гром потряс Севастополь — эскадра и крепостные батареи открыли огонь по «Очакову» и миноносцу.

«Свирепый» затонул под ливнем тяжелых снарядов. «Очаков» молчал. У него не было снарядов.

Скверные сумерки спустились над морем. «Очаков» горел. Пламя вздымалось над рейдом. Дым неравного боя застилал берега.

Команда «Очакова» начала бросаться в море. Крейсер спустил красный флаг, но ураганный огонь не прекращался. Матросы, бывшие при осаде Порт-Артура, говорили, что даже в день последней бомбардировки этой крепости они не слышали такого огня.

Сотни матросов плыли к берегу — к Приморскому бульвару и в Артиллерийскую бухту. Их расстреливали в упор из винтовок. Все отчаяние этой ночной бойни в холодной воде, в зареве пожаров и грохоте незатихающего боя могут понять только те, кто его пережил.

Один из свидетелей этой бойни писал, что у него до конца жизни будут звучать в ушах отдаленные крики с горящего корабля: «Братцы, помогите! Братцы!»

На крейсере раскалялась и с грохотом лопалась броневая обшивка.

Часть раненых успели спустить с «Очакова» в катер. Он был потоплен картечью с ближайших судов.

Сколько матросов было убито на «Очакове», сколько сгорело на крейсере — он раскалился до того, что броня его стала почти прозрачной, — сколько утонуло и было убито в воде, — об этом не знает никто. Об этом не осталось никаких документов.

В последнюю минуту Шмидт вместе со своим сыном, мальчиком шестнадцати лет, бросился в воду. Все было кончено.

«Это был день смерти, — говорил потом Шмидт о гибели «Очакова». — Отчего я не был убит на «Очакове» под этим невиданным в истории войны стальным градом? Не убило меня, когда я был в воде, засыпаемый пулями. Отчего не убили меня, когда я, потеряв сознание и вытасченный кем-то из воды, попал на миноносец под новый град снарядов?»

Шмидта с сыном подобрал миноносец «270». Он быстро пошел в Артиллерийскую бухту, чтобы высадить Шмидта на берег, но залп с «Ростислава» подбил его. Миноносец оставался.

Шмидт и его сын были арестованы офицерами с «Ростислава».

На «Ростиславе» мокрый и раненый Шмидт был выставлен

на посмешище победителей-офицеров. Его привели в кают-компанию, где офицеры за пьяным обедом издевались над ним.

Ни Шмидту, ни его сыну не дали ни хлеба, ни воды Шмидт несколько раз терял сознание. Потом его бросили на пол в стальную каюту и только через сутки отправили на сухопутную гауптвахту.

Конвойный офицер заблудился. Он долго водил Шмидта с сыном по оврагам на окраине Севастополя. Мальчик думал, что их ведут на расстрел. Он очень волновался, но отец не мог его успокоить,— им не разрешали говорить друг с другом.

Только на третий день Шмидта с сыном перевели на канонерскую лодку «Дунай». Там впервые Шмидту перевязали рану и дали умыться.

Еще на миноносце «270» кто-то накинул на Шмидта морскую матросскую шинель, измазанную углем. Шмидт после ареста был покрыт потеками черной грязи.

«Дунай» доставил Шмидта и его сына в Очаков, в сырой каземат на острове Морской батареи.

Началась зима. Черные тучи лежали над водой. Очаковский залив замерзал. Николай торопил казнь».

Третий отрывок рукописи назывался «Статья сотая».

«Мне выпало на долю тяжелое счастье защищать на суде Шмидта. Не знаю, как по-вашему, можно так сказать или нет: «тяжелое счастье»,— но иначе я не могу определить свое тогдашнее состояние.

Жизнь моя идет к концу. Как говорят поэты, началась осень жизни, и, как всегда осенью, меня одолевают воспоминания. Прекрасное время года, как бы созданное для человеческих размышлений. Все способствует этому — и чистота воздуха, и легкий холод, и грустное настроение, разлитое вокруг, какое не сможет отрицать самый нечувствительный человек.

Каждую осень воспоминания возникают во мне с особой силой. Я не могу успокоиться, пока не поделюсь ими с кем-либо из окружающих. Я пробовал писать, но это не то. Бумага меня не успокаивает. Мне нужен живой человек.

Лучший слушатель — этой мой внук-пионер. Ему я говорю обо всем. О Пятом годе, Жоресе, войне, Октябрьских днях в Москве и других величайших событиях, которым я был свидетель. Но я не могу ему рассказывать о Шмидте. Мальчик потом не спит по ночам, и мне сильно попадает от дочери.

Поэтому я чрезвычайно рад, что вы пришли ко мне. Вам я постараюсь рассказать все, что сохранила моя стариковская память.

Я упомянул о Жоресе. Я слышал его в Париже, этого бородатого и раскаленного человека. Но и в его речах было слишком много нарочитых приемов, того, что мы привыкли называть ораторским искусством.

Иногда Жорес поворачивался спиной к слушателям, потрясал над головой сжатыми кулаками и выкрикивал проклятия. Это действовало с неотразимой силой. Но все же это была великолепная игра.

А Вандервельде? Актер! В сильных местах речи он делал быстрый жест рукой, и каждый раз из рукава вылетала крахмальная круглая манжета и падала, как бомба, в задних рядах. Слушатели неистовствовали. Я прекрасно знал, что Вандервельде нарочно не пристегивал манжету, и жест этот оставлял у меня впечатление глубокой фальши.

Я вспомнил об этих ораторах, чтобы сказать вам, что искреннее Шмидта ораторов я не встречал. Мы, старые адвокаты, очень ценим ораторское искусство. Поэтому я с него начинаю.

Шмидт говорил, как величайший трибун. Он заражал людей тем состоянием, какое я назвал бы восторгом и самозабвением.

Когда он говорил, то исчезали границы между действительностью и мечтой. Непередаваемая сила его слов вырывала вас из рамок обыденной жизни, ломала законы и традиции. Вы ясно чувствовали, что все окружающее — дурной сон, что в глубине души проснулось наше детство с его стремлением к справедливости и свежестью мысли.

На суде часовые со слезами на глазах смотрели ему в лицо, отставив винтовки и бросив посты. Судьи плакали, закрыв лицо растрепанными томами этого позорного и чудовищного «дела».

Казалось, еще минута — и конвойные бросятся к нему, силой выведут из затхлого здания суда на свободу, вынесут его на руках и вернут жизни.

Он знал это. Ему говорили: «Бегите! Ведь ни один конвойный не сделает даже попытки задержать вас». Он знал, что может сказать конвойным всего два слова: «Откройте двери!» — и все двери казематов будут перед ним распахнуты настежь. Но он не сделал этого. Он не мог уйти один, бросив товарищей-матросов.

Да, судьи плакали. Не потому, конечно, что им было жаль Шмидта. У самого закоренелого человека бывают минуты, когда загнанная совесть повернется, как острый камень, и вызовет боль. Нет подлеца, который бы не сознавал свою подлость.

Если бы не настойчивые приказы Николая, суд не вынес бы ни Шмидту, ни Частнику, ни Антс энко и Гладкову смертных вердиктов. В этом были уверены все.

На суде Шмидт был прекрасен. Он был полон того личного обаяния, которое никак нельзя забыть. Оно было в простоте, в громадном расположении к людям, в искренности и мужестве.

Мне жаль, что Шмидт ушел в могилу незапечатленным. Ни одна фотография, ни один портрет не передали особого отблеска, какой лежал на нем.

Шмидт был строг и легок. Его движения были точны и спокойны. Я изъездил Европу, бывал во многих картинных га-

лереях, видел величайшие творения кисти, но даже на картинах мастеров Возрождения я не встречал таких лиц. Есть лица, бледные от великой внутренней страсти, излучающие свет ума и благородства. Таким было лицо Шмидта.

Таким я его увидел впервые на суде в Очакове, таким он оставался до самой казни.

После казни Шмидта нашлись люди, пытавшиеся изобразить поведение Шмидта как попытку вызвать восстание с негодными средствами.

Это не так. Восстание, лишенное руководства, надвигалось стихийно. Удержать от него матросов было невысказано. Руководить восстанием было некому — матросский боевой комитет был разгромлен после событий на «Потемкине». В городе остались только меньшевики. Матросы требовали от них руководства. Меньшевики согласились на словах руководить восстанием, на деле же всячески тормозили его. Они позволили Чухнину разоружить флот. Они сознательно тянули, дожидаясь, пока в Севастополе были стянуты Чухнинным войска из Одессы, Симферополя и Екатеринослава. Они не обратили внимания на желание солдат могущественной крепостной артиллерии присоединиться к матросам и оттолкнули их своим равнодушием. Крепость осталась за Чухниным.

Тогда, в последнюю минуту, матросы позвали Шмидта. Шмидт честно сказал, что восстание обречено на провал. Он согласился руководить им только для того, чтобы не оставлять матросов одних, чтобы взять вину на себя, уменьшить кровопролитие и сохранить живую революционную силу. Поэтому, уезжая на «Очаков», Шмидт сказал, что идет на Голгофу. И он был прав.

Я приехал в Очаков глухой осенью. Это заброшенный и гиблый городок. От стоит в степи над морем. К морю берега обрываются откосами из желтой глины. Зимой они покрыты сухим бурьяном и тонким слоем серого снега.

В день моего приезда падал сухой снег. Ветер нес его по улицам вместе с пылью и черными листьями.

В домах, несмотря на ранний час, горели лампы. Дни стояли темные, как сумерки. Все было серо и мрачно — и небо, и залив, и город, и лица жителей, прятаящихся по домам.

Только красный огонь маяка на острове Морской батареи, где был заточен Шмидт, придавал пейзажу тревожную и величественную окраску.

В холодной гостинице, где не было печей и нельзя было обогреться после дороги, коридорный — мальчик лет пятнадцати — показал мне тесную комнату. Мальчик принес в номер керосиновую лампу. Пока я разбирал вещи, он стоял у дверей в мокрых отцовских сапогах и смотрел на меня с тревожным любопытством.

— Вы его защищать приехали? — спросил он тихо и заплакал, вытирая длинным рукавом слезы. — Сегодня его перевели с острова. Я видел, как он сошел с катера, — высокий такой, светлый. Посмотрел кругом на людей, а людей было много, и люди все заплакали. Все наши, очаковские, — и женщины, и рыбаки, и кое-кто из ребят. Он махнул нам рукой, и его увели.

Да, много было тогда слез, что и говорить! Изредка мне случалось посещать дома простых людей в Очакове. Я не могу передать, как это было тягостно.

Город притих, сжался. Несчастье вошло в дома, погасило очаги и приглушило голоса. Мне чудилось тогда, что по ночам город не спит. Люди лежат в темноте, прислушиваются к заунывному шуму ветра и думают о последних часах его жизни.

Раз уж я заговорил о слезах, то позвольте рассказать вам еще один случай.

В первый день суда сестра Шмидта вышла к гауптвахте, чтобы хотя издали увидеть брата.

Первыми вывели матросов-очаковцев. Их одели на суд, как на праздник. Сестра Шмидта, глядя на них, заплакала.

— Плачет... — прошел по рядам матросов глухой шепот. — Это сестра Шмидта... Плачет по нас...

Матросы сняли бескозырки — ничем другим они не могли выразить ей свое сострадание и благодарность.

— Если бы в эту минуту, — говорила потом сестра Шмидта, — можно было стать на колени, я поклонилась бы им до земли.

Не взывайте, — я с трудом вспоминаю эти дни. Придется говорить покороче.

Я слышал его последнюю речь на суде. Он сделал все, чтобы спасти матросов. Этой речью он вырвал у суда не меньше десяти жизней. Я не помню всей речи. Я приведу вам только несколько слов.

«Предсмертная серьезность моего положения, — сказал он, — побуждает меня еще раз сказать вам о тех молодых жизнях, которые ждут со мною приговора. Никого из них нельзя карать равным со мною образом. Сама правда требует, чтобы я один ответил за это дело в полной мере, сама правда повелевает выделить меня.

Когда провозглашенные политические права начали отнимать у народа, то стихийная волна жизни выделила из толпы меня, заурядного человека, и из моей груди вырвался крик. Я счастлив, что этот крик вырвался именно из моей груди.

Я знаю, что столб, у которого я встану принять смерть, будет водружен на границе двух разных исторических эпох нашей родины.

Позади, за спиной у меня, останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую,

счастливую, обновленную страну. Высокая радость и счастье наполняют мое сердце, и я приму смерть».

После приговора матросы окружили Шмидта, прощались с ним, обнимали его и благодарили.

Потом их вывели. Сестра Шмидта подошла к нему. Конвойные, нарушив устав, быстро и хмуро расступились. Взявшись за руки, брат и сестра прошли последний путь через весь город до пристани.

Там Шмидта и матросов посадили на баржу и отправили на плавучую тюрьму «Прут».

Жители собрались около суда. Толпы провожали глазами Шмидта и матросов. Многие стояли, обнажив головы.

Осужденные шли в суровом, торжественном молчании. Матросы срывали с себя погоны и бросали их в грязь на дорогу.

Дул холодный ветер. Черная мгла висела над заливом и степью.

Все было кончено. По статье сотой Уголовного положения Шмидт был приговорен к повешению, а Частник, Гладков и Антоненко — к расстрелу. В виде особой милости Чухнин заменил Шмидту повешение расстрелом.

Я стоял на пристани. Когда проводили мимо меня матросов, Частник со своей обычной застенчивой улыбкой крикнул мне:

— Прощайте! Под крест идем!

Потом я увидел Шмидта. Он шел легко и твердо. Скупой луч солнца прорвался наконец сквозь мглу. Он озарил Очаков и шестие смертников холодноватым серым светом. Блеснули штывки.

Шмидт сказал мне отчетливо и громко:

— Прощайте, Александр Сергеевич.

Я снял шапку и ничего не мог ему ответить. Спазма сжала мне горло.

Я пошел через притихший город в степь. Я бродил по степи до ночи, без шапки, плачущий и растерянный.

Я забрел к крепостным складам. Часовой окликнул меня. Я ничего не ответил. Он подошел ко мне с винтовкой наперевес и посмотрел в лицо:

— По нем плачешь?

Я молчал.

— Эх! — Часовой отвернулся. — Уйди ты от меня, не тревожь. Уйди! — крикнул он. — Как человека прошу!

Я ушел. Я видел в свинцовой воде тусклый силуэт транспорта, где Шмидт ждал казни, видел его огни, но плохо понимал, что вокруг происходит.

Вернулся я в гостиницу ночью. Меня поразила пустота — все разъехались. Я остался один. Утром я заболел от пережитых потрясений, и меня отправили в Одессу».

Последний отрывок из рукописи Гарта носил название «Казнь».

«Шестого марта с рассвета дул свежий ветер, но небо было безоблачно и прекрасно.

Всю ночь перед казнью Шмидт писал письма. На рассвете он переоделся — надел чистую рубаху — и умылся.

К борту «Прута» подошел катер. Катер било волнами, и Шмидту был ясно слышен лязг его якорных цепей.

К Шмидту вошел священник и предложил ему принять причастие. Шмидт похлопал его по плечу и ответил:

— Я с удовольствием приму ваше причастие, батюшка, если вы найдете в Евангелии слова о том, что можно убивать людей.

В Евангелии таких слов не было. Священник смутился и вышел.

Шмидт потребовал, чтобы его и товарищей не связывали перед казнью. Когда Шмидт спускался по трапу в катер, он оступился. Жандармы быстро накинули на него веревку. Шмидт остановился и гневно крикнул:

— Вы обещали не делать этого!

Веревку сняли.

Катер шел до острова Березани больше часа. Шмидт выходил на палубу, смотрел на море и курил.

К острову катер не мог подойти из-за мелководья и прибоя. Надо было перевозить приговоренных на лодках. Очаковские рыбаки наотрез отказались дать лодки.

— Для подлого дела лодок у нас нет! — ответили они жандармскому ротмистру.

На берегу Шмидт и матросы спокойно пошли к врытым в землю четырем столбам. Говорили о детстве, о том, какое хорошее над островом небо. Частник был бледен и ласков.

Около столбов стояли гробы, и солдаты неуклюже и торопливо рыли братскую могилу.

Все очевидцы говорят, что Шмидт и матросы шли на казнь величественно и спокойно. Около столбов Шмидт попрощался с матросами. Частник долго стоял, обняв Шмидта, прижавшись головой к его плечу.

Когда читали приговор, Шмидт неотступно смотрел на море.

Расстреливали матросы-новобранцы с канонерской лодки «Терец». Позади них стояли солдаты. Орудия «Терца» были направлены в упор на отряд, производивший расстрел.

Командовал расстрелом лейтенант Михаил Ставраки.

Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки снял фуражку и стал на колени. Шмидт мельком взглянул на него и сказал:

— Лучше прикажи своим людям целиться прямо в сердце.

Шмидт и матросы после прочтения приговора подошли к столбам. Саванов не надевали. Солдаты опустили ружья. Многие плакали. С несколькими случились обмороки. Офицеры расстрелялись. Казнь затягивалась.

Шмидт нетерпеливо махнул рукой. Ставраки скомандовал «огонь», пригнулся к земле и закрыл лицо руками.

Звеняще и тревожно запела труба горниста. Шмидт не отрываясь смотрел на море, где в бездонной голубизне зарождался день его смерти.

Ударил залп. Шмидт и Частник упали замертво. После второго залпа был убит Гладков и упал Антоненко.

Матросы с «Терца» бросали ружья и растерянные бежали к берегу. Антоненко поднялся, осторожно потрогал свою кровь и сказал с каким-то детским недоумением.

— Вот и кровь моя льется...

Его пристрелили из нагана.

А в это время сестра Шмидта металась по канцеляриям министров в Петербурге и требовала помилования брата. Ей не говорили ничего определенного, хотя все знали тайный приказ Николая расстрелять Шмидта во что бы то ни стало.

В Очаков сестра Шмидта приехала на девятый день после расстрела.

На рыбацкой лодке она переехала на остров. Прошлогодняя полынь серела на глине.

Сестра шла по пустынному берегу, низко наклонив голову, — она как будто искала следы брата и матросов.

В одном месте на рыхлой земле лежало крестом несколько больших светлых камней. Их ночью после казни положили очаковские рыбаки.

Стоя на коленях перед братской могилой, сестра долго смотрела на небо, на печальный остров, на все, на чем в последний раз останавливались глаза смертников, потом засыпала могилу грудями красных цветов.

Россия молчала. Небо было безоблачно и прекрасно.

На этом кончалась рукопись Гарта о Шмидте.

РАЗГОВОР НА КОРАБЕЛЬНОЙ



Мы шли с Гартом на Корабельную сторону по узкому проходу между каменных оград.

С оград свешивался плющ. Теплый инкерманский камень выветрился и казался покрытым не то гнездами стрижей, не то пчелиными сотами.

Проход этот тянется около километра. Он то подымается на холмы, то спускается вниз. В оградах видны замурованные двери. В трещинах камней растет чертополох.

У подножия оград цветут в пыли последние желтые цветы — те скромные осенние цветы обочин и пустырей, какие даже не имеют имени. Может быть, имя у них и есть, но никто его не знает, кроме ботаников.

Я сказал Гарту, что этот проход напоминает старинные порты. Мы как будто не в Севастополе, а в выдуманном Кастле из его рассказов.

Гарт ничего не ответил. Он шел и тщательно отбрасывал ногой камешки с дороги.

Заговорил Гарт только на Малаховом кургане. Бронзовый адмирал Корнилов с равнодушным лицом предлагал отстаивать Севастополь. В колючих кустарниках паслись коровы.

Гарт остановился около белого памятника французским и русским солдатам, убитым при штурме Малахова кургана, и вслух прочел надпись:

Unis pour la victoire,
Reunis par la mort —
Du soldat c'est la gloire,
Des braves c'est le sort!

(Их объединила победа, и снова объединила смерть. Такова слава солдата, таков удел храбрецов.)

— Неплохо придумано, — сказал Гарт равнодушно. — А то, что вы говорили насчет Кастля, — это вы оставьте. Мне сейчас не до этого. Я написал несколько отрывков о Шмидте, неполных и несовершенных. Они мне дались тяжело. Теперь будет трудно писать по-старому.

— Почему?

— Меня уже не интересует выдуманная жизнь. Я хочу найти подлинный материал такой же силы, как материал о Шмидте, и работать над ним. За Шмидта я взялся почти случайно, но вот видите, к чему это привело.

Смешно было говорить Гарту о моих мыслях по этому поводу. С Гартом произошло то, что должно было случиться. Он был думающий и наблюдательный человек, и уход от равнодушия к подлинной жизни был для него неизбежен.

Гарт шел к перелому медленно и по-своему — через знакомство с Дымченко, через мысли о романтике Шмидте, через музыку Верди на советских кораблях и через как будто бы фантастический проект об уничтожении ураганов, осуществить который могла только Советская страна.

Я промолчал и показал Гарту на вечернее небо над Северной бухтой. Лиловое и темное, оно было освещено красноватым огнем облаков. На нем пылали, как желтые костры, рыбацьи домики в безвестных слободках. Мгла лежала в глубоких балках. Севастополь зажигал первые огни.

— На днях я поеду с Юнге в Коктебель, а оттуда в Новороссийск, — сказал Гарт. — Мы займемся борой. Это очень увлекательно.

— Вы начинаете борьбу за уничтожение боры?

— Да... Очень возможно,— ответил Гарт.

Он пробормотал несколько слов. Из них я понял, что Гарт обвинял меня в скептицизме и неверии в возможность уничтожить бору. Я опять промолчал,— должно быть, от изумления.

С Павловского мыса мы переправились в город на ялике. Южная бухта и Севастополь показались мне нагромождением огней, паровых труб, сигнальных мачт, колоннад, памятников, якорей и осенних звезд, дрожавших в изрезанной катерами воде.

Через два дня Гарт уехал, оставив мне в Севастополе своих знакомых — Сметанину и Дымченко. Я обещал через неделю приехать в Коктебель, но некоторые события — о них речь будет ниже — задержали меня, и я встретился с Гартом значительно позже.

Судьба преследует меня. Еще не было случая, чтобы мои планы сбывались. Всегда на моем пути попадается какое-нибудь событие и отвлечет в сторону от намеченной цели.

На юг я приехал для работы над книгой. Мне следовало безвыходно сидеть в севастопольской Морской библиотеке и изучать необходимые для книги материалы. Но вместо этого я заинтересовался делами, не имеющими отношения к книге, и потерял три месяца на скитания по побережью.

Я не жалею об этом. Побережье Черного моря дало мне много знаний о людях, революции, кораблевождении и жизни глубин, ветрах и древних культурах. Все эти знания были овеваны запахом морской соли и воздухом нашей молодой страны.

АРТЕМИДА - ОХОТНИЦА



уч прожсктора пронесся над оградой и рассыпался известковой пылью в зарослях по склону горы Яркий блеск наполнил до потолка низенькую хибарку Дымченко. Он раздвинул стены и исчез,— стены снова сжались и потемнели.

Желтый огонь керосиновой лампы освещал деревянный стол, изрезанный хлебным ножом. За печкой тикал, как ходики, сверчок. Запах старости не выветривался из комнаты — теплый запах мела и пыли.

— А ну, покажь еще! — таинственно сказал Дымченко.

Старый рыбак Андрей, приятель Дымченко, осторожно разжал руку. Я нагнулся.

На ладони тускло сверкнула золотая монета. На ней было выбито изображение Артемиды-охотницы. Ее тяжелые волосы были завязаны высоким узлом. Короткий хитон развевался от порывистого движения. Одной рукой она подымала лук, другой держала за рога испуганную козулю и пыталась ее опрокинуть. Лицо Артемиды дышало волнением и гневом.

— Должно, греческая богиня, — пробормотал Дымченко. — До чего ловкий народ пиндосы! И лимонами не дураки торговать, и моряки с них подходящие, и скумбрию жарят как никто, и на тебе — каких богинь с золота делают!

— Одна морока мне с той богиней! — закричал тонким голосом Андрей и с досадой высморкался. — Одно мучение мне через ту чертову богиню. Не пойму, куда ее пристроить до дела!

Я взял монету. В трещинах темнела тончайшая пыльца тысячелетий.

Андрей третий раз повторил незамысловатый рассказ об этой богине:

— Скажу вам по секрету: под Херсонесом есть у меня одно тайное место, вроде яма с-под старого фундамента. В той яме понаходил я много глиняных грузил. Старинные грузила, прочные, обожженные, — лучше наших. На них я ловил целый год, а недели две — не больше — отобрал их у меня какой-то московский. Десятку мне за них дал. Высмотрел, очкастый, как я сеть с воды вытягал, и пристал до меня, как заноза. «Не отдашь, говорит, я их у тебя все одно реквизирую в пользу пролетариата. Потому это вещи для музейного назначения». Я и отдал. Мне они без особой надобности.

На другой день подался я до своей ямы новые грузила копать. Грузил не нашел. Однако слышу — под камнем бренчит жестянка. Я до нее, а она золотая. У меня в глазах жар сделался. Чуть не сомлел я от страха. Взять боюсь и оставить боюсь.

Однако взял, завернул в платок и с той поры хожу, как бандит, — ни сна, ни покоя. Будь она трижды проклята, анафема, нет на нее погибели! Отдать боюсь и ховаю каждую ночь в ялик под пайол, — не хочу ее в хате держать.

Теперь должны вы дать мне правильное назначение, как ту богиню притулить до дела. Есть у меня думка продать ее и купить на те гроби корабельных гвоздей.

Из-за этой богини мне пришлось остаться у Дымченко. Совещание затянулось до полуночи. Идти ночью через степь на Северную, а оттуда ехать в город мне не хотелось.

Я долго рассматривал монету, пораженный тонкостью и чистотой ее чеканки. Она, очевидно, принадлежала к первым векам существования Херсонеса, когда этот город был кре-

постью Эллады на берегах Крыма. Тогда Черное море называлось Понтом Эвксинским, что значит — Гостеприимное море; а в древних греческих лоциях — периплах — Херсонес еще называли Херронисом и Гераклеей, Крым — Киммерией, а Азовское море — Меотийским болотом.

Но уже тогда Черное море было описано древними географами с той скупой выразительностью, с какой умели писать римляне и греки. Геродот и Страбон, Плиний и Аристотель уже говорили о «великих пучинах» Черного моря.

На совещании у Дымченко было решено сдать монету в музей. На вырученные деньги Андрей мечтал купить корабельные гвозди. Зачем они ему понадобились, я не спрашивал. Это выяснилось позже.

Ночью я часто просыпался, — должно быть, от непривычной тишины. Я выходил во двор, прямо в степь, засыпанную звездами. Рыжик, гремя цепью, усаживался около меня и обмахивал теплым хвостом мои ноги.

Над морем висела дикая мгла. Запах соленых бухт и сухой травы доходил до порога хибарки.

Я думал о древности этого края. Известняк под ногами казался спрессованным прахом многих поколений. Все смешалось в здешней каменистой почве — и черепа гуннов, и римские надгробья, и французские ядра, и кости расстрелянных матросов с «Потемкина», и заржавленные врангелевские штыки. Я вспомнил слова Палласа, что «окрестности Севастополя представляют истинне землю классическую».

Одиссей проходил по этим берегам. Печальная Ифигения, дочь Агамемнона, томилась здесь тоской по Элладе — девушка, воспетая в величавых стихах Еврипида.

Мифы, что теряются в человеческой памяти, подобно парусам в ночных просторах моря, казались волнующими и новыми, как только что прочитанная книга.

Здесь я особенно ясно понял простоту древней поэзии. Я понял волнение наших предков — участников французской революции, волнение Байрона и Гете, Пушкина и Гнедича, пытавшихся воскресить в стихах блестящий век Эллады и ее «божественную речь».

Я с корабля сошел при блеске ночи,
При ропоте таинственных валов
Горела грудь, в слезах кипели очи
Я чувствовал присутствие богов

Так писал о Греции поэт Щербина. Он впервые увидел ее ночью. Парусный корабль причалил к берегам Эвбеи. Щербина сошел на греческую землю, полную великих воспоминаний.

Дымченко не спалось. Он вышел покурить. Далеко в море протрубил пароход.

— Дельфин плачет, — сказал Дымченко. — Бывают ночи осенние, когда дельфин плачет по всему морю, от Севастополя

до самой Турции, и его тогда невысказано бить. Рука на него не подымается. Ни один дельфинер, даже балаклавский, и не подумает в ту ночь стрелять дельфина. А об чем он плачет, тут люди болтают всякое.

Говорят, в древние греческие времена жила в Херсонесе в изгнании молодая женщина неслыханной красоты. В Греции остался у нее человек любимый. Она приходила до моря и долго смотрела на турецкую сторону. Но ничего она не видела — одна волна и волна,— и год, и два, и десятки годов.

Женщина кормила дельфинов. Стаями они собирались и играли около нее и старались, кто чем мог, утешить ту женщину. По любимому человеку была у нее невысказанная боль. Зябла она здесь, на чужой и холодной земле.

И вот пришла ночь ее смерти. Снег падал с неба. Море лежало черное, как самая ночь, и ветер — бора — дул с севера, со злой, дикой стороны.

Женщина легла на берегу на сырые камни, звала любимого человека и плакала тяжелыми слезами, но никто не ответил. Только волна била и била в камень, как много годов до этого, как бьет и по сегодняшней день.

И умерла та женщина. Звезды покатались с неба, а дельфины стаями кинулись к Греции, к теплему морю, чтобы донести до родных слух о злой ее смерти. Каждый год в ту ночь, как она умерла, плачут дельфины по всему Черному морю. Плачут и стонут человеческим голосом.

Дымченко помолчал. Я узнал в этом рассказе далекий миф об Ифигении.

— Оно конечно, сказка. Рыбаки промеж себя выдумывают от скуки. Есть такие артисты рассказывать — ночь всю просидишь с ними, ни в одном глазу сна не будет!

Три дня я потерял на раскопки около Херсонеса. Мне, взрослому, было немного стыдно тратить время на то, чтобы ковыряться в земле вместо назначенной мне работы. Поэтому я втянул в раскопки двух пионеров. Они мечтали отрыть из-под земли «дохлого воина».

Сметанина смеялась надо мной. Но на второй день, когда мы нашли светильник для масла с выпуклым изображением рыбы, она перестала смеяться и начала с таким же азартом, как я и мальчишки, перебирать сухой щебень.

Кроме светильника и трех грузил, мы ничего не нашли. Андрей показал нам яму, где следовало рыть. Он получил от музея за монету сто рублей. У археологов, по словам Андрея, руки затряслись, когда они увидели его богиню.

Мы рыли три дня, а на четвертый отнесли находки в музей и показали одному из сотрудииков.

Он был удивлен и подозрительно нас расспрашивал, кто

мы и почему так заинтересовались древностями. Он смотрел на нас, как на врагов, вторгшихся без объявления войны на чужую территорию.

Только после длинного разговора он смягчился и даже показал нам много бронзовых, свинцовых и несколько золотых монет.

Он пересыпал их на ладони и называл имена городов, где они чеканились,— блестящий список имен: Панतिकопея, Феодосия, Родос, Синоп, Ольвия, Фанагория, Неаполис Македонский и еще множество имен, которых я не запомнил. Все эти имена говорили о былом богатстве Херсонеса. Он вел торговлю со всем тогдашним миром.

В конце концов сотрудник успокоился и начал поглядывать на нас сквозь очки с веселой доброжелательностью.

Он провел нас на место последних раскопок и показал пласты почвы разных эпох. По ним, как химик по спектральным линиям, археолог читал прошлое этих берегов.

Верхний слой был полон гигантских камней от обвалившихся стен Херсонеса и новых могил,— в прошлом веке в Херсонесе было устроено карантинное кладбище.

Второй слой принадлежал византийской эпохе. Здесь нашли много монет Византии.

Ниже лежал третий слой, где было много остатков римских времен. И наконец, в самом низу, на материковой скале, лежал слой эллинских вещей, главным образом, черепков посуды, покрытых тусклым черным лаком.

В одной из стен нашли мраморную голову юноши, очевидно, творение великого мастера четвертого века до нашей эры.

Сотрудник показал нам эту голову. Она была покрыта чешуей окаменелой пыли. Кто-то из диких жителей Херсонеса времен Византии, какой-то христианин, замуровал ее в стену жалкого дома вместо строительного камня.

При виде этой разбитой головы я вспомнил о разрушительной силе христианства, о скуке и изуверстве, пришедших на смену утренним культурам Греции и Рима.

С гимназических времен я чувствовал неприязнь к христианству с его манной кашей добродетелей. Христос казался мне молодым толстовцем, изрекающим слащавые истины, а его бородатые святые походили на ломовых извозчиков.

Раскопки в Херсонесе нам так понравились, что несколько дней после этого мы бродили по окрестностям Севастополя и в каждом камне и разбитом черепке видели следы давно исчезнувшей жизни.

Ничто не дает такого резкого ощущения времени, как знакомство с древней страной.

С невольным уважением прикасаешься даже к черным, как уголь, зернам ржи, насыпанным в амфору тысячи лет назад, или к позеленевшим рыболовным крючкам скифов.

Таинственное всегда привлекает, особенно детей и стариков. Старики занимаются преимущественно историей, где область загадок очень обширна.

Дети предпочитают таинственность другого рода, хотя бы рыбную ловлю. Это занятие полно неожиданностей. Никто никогда не может знать ту долю секунды, когда поплавок вздрогнет и косо пойдет вниз, в прохладную глубину.

Ожидание этого события, приносящего на конце лески трепещущую рыбу, погружает не только детей, но и взрослых в настроения, свойственные снам и сказкам.

Мы обошли Херсонесский полуостров до Балаклавы. Мы беседовали с огородниками, жившими в каменных гробницах греческого некрополя. Огородники спали на лежанках, устроенных сотни лет назад для мертвецов. Они рассказывали нам о подземных ворах и подделывателях древних монет.

В первые годы раскопок Херсонесский полуостров кишел подземными ворами. Они расхищали могилы и пропывали находки в матросских кабаках на Корабельной стороне. Больше всего ценились тонкие золотые пластинки — ими во времена древнего Херсонеса закрывали умершим глаза и рты.

Рассказывали о рыжем человеке исполинского роста, воре с деревянной ногой, носившем прозвище «Мальчик».

«Мальчик» сколотил на остатках греческих погребений небольшой капитал. Он купил на него ялик и переменял опасную и неверную профессию расхитителя древностей на спокойную жизнь перевозчика через Южную бухту. Ялик его назывался «Некрополь». По-гречески это означает кладбище.

Племя подделывателей монет выродилось. Последние его представители доживали свой век честной жизнью в глухих приморских городках Крыма.

О ловкости подделывателей рассказывали чудеса. Секреты изготовления древних монет передавались от дедов и прадедов. За продажу их в чужие руки изменнику грозила смерть.

Монеты удавалось сбывать не только любителям, но и матерым археологам. Говорят, подделыватели, несмотря на прожженное жульничество, относились к археологам почтительно, как к товарищам по профессии. Однажды, в знак своей любви к историческим изысканиям, они подарили одному музею лучшую по мастерству подделки монету.

Эти рассказы в сотый раз убедили нас в том, что древняя история человечества темна и непонятна. Но они не поколебали нашего уважения к археологам, стремящимся найти нити от былого к настоящему и помочь нам разобраться в детстве человечества.

На берегу Казачьей бухты мы видели основания прекрасных колонн. Около мыса Фиолент мы долго искали развалины храма Дианы, но ничего не нашли. Об этом храме Пушкин писал после

поездки в Крым: «Тут видел я баснословные развалины храма Дианы».

До сих пор я помню эти скитания со Сметаниной по пустынным степям и побережьям.

Мы очень подружились, хотя ничего не знали друг о друге. Обычно люди дружат, лишь разузнав всю подноготную.

Сметанину древности интересовали как художницу. Она любила формы старинных сосудов — амфор и гromадных, выше человеческого роста, пифосов, где в древности хранили вино и зерно. Много таких пифосов нашли на дне Северной бухты.

Она зарисовала древние светильники с гербом города Ольвии — орлом, парящим над дельфинами, — монеты и статуи. Но больше всего ей понравился надгробный памятник рабу — белый камень с изображением кривого виноградного ножа.

Особенно занимала Сметанину раскраска посуды. Она ничем не отличалась от красок окружающей земли. В ней господствовали коричневый, почти красный, цвет почвы и нестерпимо синий оттенок моря. Чтобы зарисовать эти древние вещи, Сметанина тщательно подбирала краски — терракоту, сиенну, венецианскую красную землю и шершавый густой кобальт.

Археологическое бродяжничество окончилось в Мраморной бухте около Георгиевского монастыря. Мы провели там весь день. Я ловил бычков и розово-зеленых рулен. Сметанина читала рассказы Гарта.

Каждая мелочь этого дня врезалась в память. Я помню даже морского конька под водой и шорох щебня на обрыве. Воздух был очень прозрачный. Каждая валявшаяся на песке обломанная клешня краба и камешек сердолика казались совершенно выпуклыми. Рыбы сверкали на самолове. Я видел их, когда они бились еще на большой глубине. Креветки шевелили голубыми лопастями ножек. Медузы валялись на кромке прибой шарам и мягкого стекла.

Осеннее солнце быстро склонялось к горизонту, но мне не хотелось уходить. Можно было сутками сидеть на берегу и смотреть в туман, стараясь различить черту неведомых берегов, и потом понять, что это не берега, а гряда облаков, висящих в небе очень далеко, пожалуй над Мраморным морем.

Можно было пересыпать песок и находить обломки ракушек, чешую скумбрии, пахучие нитки морской травы, осколки мрамора и халцедона.

Можно было в упор смотреть в глаза свирепому крабу и, подняв гниющую траву, увидеть фейерверк из прозрачных морских блох.

Можно было рассматривать подводные миры, слушать дыхание женщины, увлеченной чтением, и размышлять о недалеких временах, когда неторопливое созерцание будет признано столь же необходимым для человека, как сон и чтение.



ва дня я работал в Морской библиотеке. Я рылся на полках, уставленных кожаными фолиантами.

Но даже в библиотеке было много соблазнов, уводивших в сторону от главной работы. Я зачитывался лоцией Красного моря, хотя для моей книги это было не нужно, рассматривал заграничные морские журналы с рисунками кораблей всех стран и эпох, начиная от Ноева ковчега и кончая последними океанскими лайнерами, изучал модели корветов, развешанные по стенам, и досадовал на недостаток времени.

Богатство неожиданных знаний было так велико, что сутки казались пустяковым промежутком времени.

На третий день я встретил Сметанину. Она видела Дымченко и сообщила мне любопытную новость — дед Дымченко и Андрей обивают корабельными гвоздями старую барку «Перекоп». Занятие это казалось Сметаниной совершенно бессмысленным. По ее словам, гвозди вколачиваются без всякой видимой цели один около другого по всему днищу барки.

Вечером я поехал на Северную сторону. Действительно, я застал стариков за этим занятием. Они предложили мне принять участие в работе. Гвозди надо было вколачивать так, чтобы между шляпками оставался промежуток не больше сантиметра.

Барка стояла на толстых деревянных стойках. На бугшприте мылся облезлый рыжий котенок. Он внимательно поглядывал на меня прищуренным глазом.

Около барки, как водится, сидели любопытные. Они покуривали и поплеывали, перекидываясь замечаниями,— делать им было совершенно нечего. Они поглядывали то на нас, то на дым из очагов, подымавшийся к небу. Дым возвещал о близости сытного ужина и усиливал добродушное настроение любопытных.

Шел разговор о горестной судьбе Андрея,— ему всю жизнь не везло. Этот разговор помешал мне сразу же узнать у Дымченко назначение нашей непонятной работы.

— Один раз мне в жизни повезло,— кричал Андрей, чтобы заглушить стук молотков,— да и то, так сказать, неудачно. Было дело в германскую войну. Я рыбалил в Балаклаве с пиндосами. Ловля была плохая. В море далеко не сунешься, а в бухте рыбы нет и нет,— чистое наказание!

Однако темной ночью нагнало, на наше счастье, кефаль.

Забилла она бухту так густо, что весло вставишь — оно торчком стоит и само идет по воде. Но нет возможности ту кефаль ловить. Нету в Балаклаве морского червя, а она на него одного и берет.

Подался я до Инкермана. Там, сказывали, в одном лиманчике того червя была пропасть. Приперся я, начал копать — нет червя и нет. Он, стерва, глубоко в грязь зарылся, никак не докопаешься. Жара, пот с меня льется, весь в грязи, как кабан, а червя нет и нет.

Я уже думал плюнуть на это дело. Сел покурить. И тут якась чертовина как взвыла, как вдарила в лиман с полного ходу — меня зашвырнуло сажен за десять. Вскочил я, смотрю — нет лиманчика! Одна яма, и с нее желтый дым идет. То «Гебен» подошел к Севастополю и первым снарядом, собака, запустил в меня, в рыбачка.

Вся грязь с лимана раскидана круг меня по балочке, и в той грязи червя — многие миллионы. Собрал я его два ведра, воротился в Балаклаву, и взяли мы неслыханную силу кефали. А я три года был глухой на левое ухо — грязь мне взрывом в ухо набило. Вот какое дело, рыбачки!

Рыбаки наперебой заговорили о налете «Гебена».

Я воспользовался шумом и спросил Дымченко, для чего мы обиваем барку гвоздями. По-моему, работа эта носила чисто декоративный характер. Меня удивляло, что многочисленные зрители, склонные, как и все морские люди, к зубоскальству, не обращали на нашу работу внимания. Они равнодушно поглядывали на барку, ставшую похожей на сундук, густо обитый для красоты медными гвоздями.

— Вы слышали за корабельного червя? — ответил мне вопросом Дымченко.— Такая есть гадючка белая. Она деревянный корпус, такой, как у «Перекопа», источит за полгода в труху. Ходы она в дереве роет, да так густо — один коло одного. Нигде на всем Черном море нет такой силы корабельного червя, как у нас в Севастополе. До кампании пятьдесят четвертого года его тут не было, а в кампанию лихой адмирал Нахимов потопил в бухте Черноморский флот, загородил бухту от англичан, и с той поры червя развелось гибель. Старинный корабль — линейный, или, скажем, фрегат, или шлюп — все были деревянные. И на пропасть того дерева под водой собрался в Севастополь червь со всего берега — от Евпатории до самой Керчи. Сваи точит, ялики точит, где какое судно найдет — тут же точит. Вот и хоронятся от него моряки и рыбаки, как могут. То красят ядовитой краской, то обшивают подводную часть медным листом, разное делают. Однако у нас, стариков, свое верное средство — обивать кузов гвоздями. Червь тот боится ржавчины хуже смерти. Мы гвозди вгоняем с таким понятием, чтобы шляпка от шляпки находилась близко. Ржа расползется, закроет весь кузов, и не будет тому червю ни ходу, ни возможности погубить

«Перекоп». Андрей загнал богиню в музей за сто целковых, купил гвоздей, и вот — барочка будет у нас крепкая. Десять лет проплавает — ни один червь ее не возьмет.

Я вспомнил рассказ, слышанный в детстве, о корабельных червях, чуть не погубивших Голландию. В старое время плотины, ограждавшие Голландию от моря, — эта страна, как известно, лежит ниже уровня моря, — строились из дерева.

Цемента тогда не знали, а привозить камень издалека было дорого.

В один прекрасный год корабельные черви проточили плотины. Вода начала просачиваться и затапливать зеленые равнины страны. Были собраны тысячи рыбаков и крестьян, подвезен лес, и страну удалось спасти.

Еще я вспомнил сказку о голландском мальчике. Он заткнул пальцем в плотине отверстие, проточенное корабельным червем, и держал палец, пока не прибежали взрослые и не законопатили щель.

Моя память получила толчок, и неожиданно я обнаружил, что в детстве много читал и слышал о корабельном черве.

В журнале «Вокруг света» я читал о корабле знаменитого пирата Дрека «Золотая лань». Он был насквозь изрешечен червем и погиб от этого в пучинах океана.

«Вокруг света» был журнал заманчивых приключений на суше и на море. Я помню гравюры на дереве, изображавшие черные гавани, матросов с бакенбардами и кораблекрушения около солнечных атоллов. В журнале печатались романы Киплинга и Буссенара, Жаколио и Стивенсона.

Там я читал замечательные повествования о капитанах парусников, прокопченных пороховым дымом в абордажных боях и изучивших все хитрости блокад. Когда такие капитаны блокировали Брест, адмирал Нельсон, проходя мимо их эскадры, поднял сигнал на рее своего корабля: «Видя вас, я дрыхну так же спокойно, как если бы ключ от Бреста лежал в моем кармане».

До сих пор я помню рассказ о капитане Мирсе. Во время морских сражений он ловил рупором упавшие на палубу вражеские ядра и выбрасывал их за борт, прежде чем они успевали взорваться.

Все эти рассказы перемежались с описаниями Огненной Земли, с военными репортажами о боях в Трансваале и с путешествиями Миклухи-Маклая.

Рассказ Дымченко снова отвлек меня от работы. Я погрузился в изучение морских глубин и нисколько не жалею об этом.

Я утешал себя мыслью, что вдали от моря это изучение было бы не так увлекательно. Здесь, бродяжничая по окрестным

берегам, я находил богатую пищу для размышлений и догадок.

В конце концов я бросил работу над книгой, махнул на нее рукой и с головой ушел в океанографию.

Разве любая область знаний, изученная неожиданно и как бы некстати, не составляет величайшей ценности для развития человека? Вот примерно те нехитрые доводы, какими я пытался усыпить придирчивое чувство долга.

Книгу я так и не написал, и все из-за этих проклятых корабельных червей, носящих красивое имя «торедо».

Это даже не червь. Это морская улитка, двухстворчатая крошечная ракушка, не больше булавочной головки.

Она вгрызается в дерево острыми створками и все время вращается вокруг своей оси. Ходы, просверленные торедо, безукоризненно круглы и отполированы. Ни одно из животных и ни один из механизмов не могут проделать такой совершенной и тонкой работы.

Когда моллюск входит в дерево, то оставляет отверстие, едва заметное глазу. Он выпускает конец своего слизистого тела, наглухо прикрепляет его к отверстию и высовывает наружу две тоненькие трубки. По ним торедо всасывает воду и выбрасывает изжеванную древесную труху.

Торедо, вгрызаясь в дерево, быстро растет и толстеет. Поэтому ход делается все шире и длиннее, а тело моллюска, прикрепленное к входному отверстию, вытягивается, как резина. Вот тогда-то моллюск и становится похожим на червя.

Через несколько дней торедо уже не может вылезти обратно из своей деревянной норы. Достигнув старости, он умирает внутри дерева.

В тропиках торедо растягивается на два метра в длину и бывает толщиной в человеческую руку. На Черном море нет червей длиннее пятидесяти сантиметров.

Сколько бы червей ни сверлило один и тот же кусок дерева, их ходы никогда не пересекаются. Каким-то особым чутьем торедо знает о близости чужого хода и сворачивает в сторону. Ходы переплетаются в причудливые и тесные узоры, но всегда между ними, как бы близко ни подходили они друг к другу, остается тончайшая прослойка дерева.

Я видел рентгеновские снимки корабельных корпусов, изъеденных торедо. Рисунок ходов напоминал непролазную чащу вьющихся растений или клубок безнадежно запутанных ниток.

Около Инкермана я нашел на берегу старую пристанскую сваю. Я отпилил кусок сваи, и передо мной открылся целый город, построенный торедо, полный широких дорог, гупиков и переулков. Внутри ходы были покрыты слоем твердой извести, а снаружи на сваях ничего не было видно, кроме небольших, похожих на точки, отверстий. Я без труда раскрошил сваю руками.

Знакомство с торедо заставило меня всерьез заинтересоваться жизнью моря.

Я перестал смотреть на него, как смотрел до тех пор и как, возможно, смотрит на него большинство людей,— вот, мол, исполнинская чаша соленой воды, приятная для глаза.

Я узнал, что эта глубокая впадина, синяя от соли и зеленая от диатомовых водорослей, живет по точным, но подчас еще не раскрытым законам.

Жизнь моря оказалась настолько многообразной, что нужны были годы, чтобы узнать ее хотя бы в общих чертах.

Каждый раз, когда я видел его синий свет, его веселые пенистые бури, я думал, что мы знаем не больше червей. Мы живем в громадном, плохо разгаданном мире и топчем камни, цветы и травы, не подозревая о совершенстве их строения, не подозревая, что знакомство с ними обогатило бы наш опыт во всех областях жизни и какой-нибудь скромный одуванчик мог бы открыть дорогу к глубокому физическому оздоровлению человечества.

ВОДА ИЗ СВЕТА



Жуть оглохла. Сколько я ни прислушивался, я не мог различить ни одного звука. Изредка казалось, что я слышу осторожный плеск воды у прибрежного камня, похожий на затаенный вздох.

Я долго вслушивался и всматривался в темноту. Проходили долгие минуты, но звук не повторялся.

Иной раз я слышал высоко над головой шелест пролетающих птиц. Я знал, что чайки и бакланы давно уже спят, и не мог понять происхождения этого звука. Невольно в голову приходила мысль, что шелестят звезды.

Изучить все звуки ночи мне и Сметаниной пришлось по неволе.

Мы приехали на трамвае в Балаклаву. Весь день мы бродили по этому городу красных скал, кошек и стариков, беседующих около вытасненных на берег, подпертых известковыми глыбами шхун.

Мы ходили по сетям, разостланным во всю ширину набережной, как по серым коврам. В бухте, в зарослях морского салата, качались стада камсы.

Высокое небо с единственным облаком, похожим на кисть винограда, отражалось в воде.

В нишах домов вместо статуй стояли сухие олеандры и метлы из полыни. Тусклые огни светили из окон на воду, черневшую рядом с порогами домов.

Вечером прекратился ток. Мы попали в ловушку — трамвай не ходил. Нам пришлось заночевать в Балаклаве.

Сердобольная гречанка уступила нам комнату в доме, похожем на узкую крепостную башню. Балкон висел над самой водой.

Сметаниной спать не хотелось. Она сидела на балконе, закутавшись в одеяло, снятое с койки. Мы молчали. Я заметил, что Сметанина, несмотря на порывистый, веселый нрав, вообще много молчала.

Безмолвие ночи длилось недолго. Когда слух привык к тишине, я начал различать ворчание воды в подводных пещерах. Море бормотало во сне и сердилось на кого-то, кто не давал ему спать.

Огни в городе погасли. Только зеленый фонарь при входе в лагуну тлел не ярче фосфорной спички.

Я смотрел на Сметанину, но не видел ее лица. Внезапно, может быть оттого, что мои глаза устали, мне показалось, что ее лицо осветилось холодным огнем. Я отчетливо различил чистый лоб, брови и встревоженные глаза.

Сметанина вскочила, схватила меня за руку и крикнула: — Море горит!

Я оглянулся. Все, что произошло дальше, я до сих пор не могу представить себе как действительность. Люди в таких случаях говорят, что действительность была похожа на сон, но сейчас это было неверно. Она была лучше сна.

Море горело. Казалось, его дно состояло из хрусталя, освещенного снизу лунным огнем.

Свет разливался до горизонта, и там, где всегда сгущается тьма, небо сверкало, как бы затянутое серебряным туманом.

Широкий свет медленно мерк. Но после недолгой темноты море опять превращалось в незнакомое звездное небо, брошенное к нашим ногам. Мириады звезд, сотни Млечных Путей плавали под водой. Они то погружались, потухая, на самое дно, то разгорались, всплывая на поверхность воды.

Глаз различал два света: неподвижный, медленно качавшийся в воде, и другой свет — весь в движении, рассекающий воду быстрыми фиолетовыми вспышками. Это метались под водой разбуженные рыбы.

Сметанина потащила меня по темной каменной лестнице вниз, к воде.

Белый огонь набегал на пляж, и было видно все дно. Камни и жестянки, валявшиеся под водой, покрылись тонкой огненной росой.

Сметанина зачерпнула воду в ладонь. Сквозь пальцы полились с плеском струи жидкого магического света. Вода освещала ее лицо, бледное от волнения.

Мы присутствовали при одном из самых величественных явлений в мире. Сметанина радовалась, как ребенок. Мокрые ее руки еще долго светились в темноте.

Море погасло так же быстро, как вспыхнуло.

До рассвета мы просидели на застекленной террасе и говорили о разных морских чудесах.

Лампа освещала на стене олеографию, изображавшую греческий крейсер «Аверов». Это был знаменитый «Аверов» — мишень для постоянных насмешек черноморских рыбаков и гордость каждого грека. Рыбаки кричали, что на «Аверове» деревянные якоря. Я сам в Керчи был свидетелем жестокой драки из-за этого между рыбаками и греками — чистильщиками сапог.

Лампа освещала белые стены, стоножек, шкатулки из лакированных крабов и сухие букеты.

Мы говорили о флуоресценции моря.

Осенью в морской воде появляются мириады бактерий-ноктилюк. Они похожи под микроскопом на лист водяной лилии. В них заложено множество крошечных светящихся зерен. Они-то и вызывают свечение морской воды.

Но светятся не только бактерии. Белым светом горят медузы. Таким же светом горит и странное животное — «морское перо», похожее на куст коралла. Если его вынуть ночью из воды, то множество блуждающих огненных точек начинает перебегать по ветвистым частям животного то вверх, то вниз.

Мелкие морские черви дают то синий, то зеленый, то фиолетовый свет.

Некоторые креветки излучают яркий желтый свет, а черноморская ракушка фоллада, сверлящая скалы, горит голубым огнем.

В Средиземном море водятся прозрачные, как стекло, животные — пирозомы. Они светятся попеременно то красным, то синим огнем. Английский ученый Мозлей написал пальцем на пойманной большой пирозоме свое имя и бросил животное в воду. Через несколько секунд слово «Мозлей» вспыхнуло на теле пирозомы под водой с такой же яркостью, как вывеска кино.

Рыба морской черт носит перед собой на усиках два ярких электрических огня и приманивает на них глупых креветок.

Иные морские животные выпускают в воду светящуюся слизь, чтобы ослепить врага, иные пользуются собственным светом, как фонарем, чтобы отыскивать пищу.



то время я увлекался чтением старинных кругосветных путешествий. Я всегда носил с собой какую-нибудь пожелтевшую книгу и в свободное время прочитывал по несколько страниц.

Сейчас со мной были «Записки из кругосветного плавания корвета «Абрек», написанные штурманом Серебряковым в 1865 году.

Спать не хотелось, и я прочел из этой книги несколько страниц:

«Второго апреля 1864 года мы вошли в пассат и быстро приближались к острову Нукагива, лежащему в Тихом океане, вблизи Таити.

Ночью меня вызвали на палубу. Темнота была полной. Но тем более разительным представилось мне зрелище, открывшееся за бортами корвета.

В черной, как деготь, воде плавали во множестве, подобно китайским фонарям, огненные шары. Яркость их то прибывала, то убывала. Они внезапно гасли и потом, точно по безмолвному приказу, вспыхивали белым огнем.

Шаров этих было несчетное количество. Мы вытащили из воды несколько штук.

Матросы предполагали, что это громадные жемчужины. Догадка эта была вызвана тем, что мы шли над жемчужными рифами. Но огненные шары оказались большими медузами, или, по-нашему, «морскими сердцами».

Будучи вытаснены на палубу, они разгорелись еще ярче. При их свете я сделал запись в судовой журнал об этом явлении.

Люди балагурили между собой, что вот, мол, Тихий океан приветствует наш приход столь пышной иллюминацией.

Утром мы увидели остров. Корвет лег в дрейф и послал шлюпку на берег. Пристать было трудно из-за бурунов, кипевших над коралловыми рифами. Мы выскочили из шлюпки в воду по пояс, вода была очень теплая.

С величайшим трудом, прорубая дорогу в первобытном лесу, мы вышли к спокойной лагуне.

В ее воде лежали раковины таких ярких цветов, что многие из нас не могли удержаться от криков восхищения. Я долго бродил в воде и собирал их, потом освежился молоком из ко-

косовых орехов. Растительность вокруг лагуны стояла цветущими стенами. Она издавала пряный и горячий запах.

Сотни земляных раков, сидевших в пустых раковинах и тащивших за собой свой дом, ползли к нам со всех сторон так поспешно, что мы решили отступить. Но раки, как выяснилось, были привлечены скорлупой кокосовых орехов. Они выедали из них мякоть и несколько нас не боялись,— даже тащили орехи у нас из рук.

Днем мы подошли к бухте Тайо-Хай. Несколько европейских домиков виднелось в зарослях хлебного дерева и кокосовых пальм.

К нам подплыла шлюпка с резидентом острова — толстеньким старичком-французом. Остров принадлежит Франции. Резидент предупредил нас, что на острове среди дикарей свирепствует оспа. Год назад к острову подошел перуанский корабль, силой захватил около ста туземцев и продал их в рабство в республики Южной Америки. Через год несколько туземцев-канакв вернулось на французском корабле, но все вернувшиеся заболели оспой и заразили остров. До тех пор эта болезнь не была известна жителям Тихого океана.

Ко времени прихода «Абрека» в Нукагиву из двух тысяч дикарей умерло около тысячи. А в 1804 году, когда этот остров посетил адмирал Крузенштерн, на нем было восемнадцать тысяч жителей.

На острове мы видели трех монахов, несколько солдат и отставного французского матроса — содержателя дрянной лавчонки. Он продавал дикарям на вес золота коленкор, стеклянные бусы и ром последнего сорта.

Вечером мы посетили короля Нукагивы — молодого человека, изрытого оспой. Он ежегодно получает от французского правительства три тысячи франков жалованья.

В комнате его мы нашли скудную европейскую обстановку, расшатанные стулья и столы, и на стене висела олеография. Она изображала нападение волков на наши русские сани. Эту картину подарил королю какой-то русский бродяга, попавший на остров.

Король угостил нас джином. Сам он был пьян.

На этом острове нам пришлось услышать о явлении необъяснимом и представляющем интерес для ученых.

Резидент проводил досуг за джином и изучением обитателей моря. Он показал нам заспиртованного в стеклянном сосуде морского червя, носящего имя «палоло». Червя этого резидент назвал «морским календарем». Это прозвище было придумано не без оснований.

Весь год этот червь живет на дне океана, в трещинах скал и коралловых рифов. Но ежегодно в один и тот же день осенью все черви поднимаются гигантскими стаями на поверхность воды для брачного танца. В этот день океан вблизи

острова бывает сплошь покрыт червями палоло и их красной икрой. Вода приобретает яркий розовый цвет.

Задолго до этого дня туземцы готовят пироги для ловли палоло и вялят листья хлебного дерева. Палоло заворачивают в эти листья и едят. По словам резидента, вкусом своим черви напоминают свежую икру.

Появлению палоло предшествует ряд любопытных явлений.

Дня за три до всплытия палоло с гор к морю спускаются громадные стаи сухопутных крабов. Крабы идут на ловлю палоло.

Туземцы следят за деревом ало-ало — его европейского названия я не знаю. Когда оно покроется крупными красными цветами, дикари начинают следить за луной. Они ждут того вечера, когда луна взойдет над чертой горизонта. На десятый день после этого можно ожидать выхода палоло.

Мы провели весь вечер у резидента в беседе и спорах об этом явлении природы.

Луна подымалась над островом в своем великолепии. Зрелище этого светила, льющего лучи на затерянный в океане клочок земли, навело меня на мысль о могуществе лунного света.

Этот свет оказывает свою силу не только на червей палоло, но и на приливы и отливы в океане и на другие явления нашей во многом не разгаданной земли.

ДВОЙНАЯ ВЕСНА



о, что я узнал о червях палоло, заставило меня задуматься над влиянием времен года на жизнь моря.

Палоло роются только осенью. Множество мельчайших морских обитателей живут один год и к зиме умирают. Знакомый моряк Баранов, капитан буксирного парохода «Смелый», в разговоре со мной обронил фразу: «Осень уже стояла на море — водоросли в то время завяли».

Как раз в эти дни в Севастополе кончалась сухопутная осень.

Облетала листва. Земля приобрела ту звонкость, какая предшествует выпадению снега. Птицы высокими стаями неслись

в Турцию, и только желтые, под цвет инкерманского камня, бабочки изредка залетали в сады.

Слова капитана Баранова об увядающих водорослях вызвали мысль о смене времен года не здесь, на земле, а там, в морских глубинах.

Я решил найти Денисова и уговорить его спустить меня в водолазном костюме хотя бы на небольшую глубину, чтобы посмотреть подводную осень.

Денисова я не нашел, но все же погрузился в изучение подводной осени.

Я хотел найти характерные морские черты этого времени года.

Чем была замечательна морская осень? Прежде всего обищем рыбы. Реки тусклой свинцовой камсы лились мимо берегов Севастополя. Кефаль толпами слонялась по бухтам. Дельфины подошли к берегам.

Это явление казалось непонятным. На примере пресных рек и озер я знал, что по осени рыба прячется в глубокие омуты и залегает там до весны. Здесь же, на море, осенью начиналось необычное оживление. Даже мрачные бычки ловились сотнями в самом городе и у скал Херсонеса.

Водоросли не увядали, а, наоборот, качали на дне свои свежие густые леса.

Я решил, что Баранов что-то напутал.

Дымченко тоже склонялся к этой мысли. Он уверял меня, что в море бывает две весны. Одна совпадает с сухолугной весной наших широт, а вторая возвращается на море в октябре.

— А тому Баранову вы не верьте! — кричал Дымченко. — Он же капитан с буксира «Смелый», сам с образованных, а морочит голову. Га! Годов десять назад он поднял крик на весь Советский Союз, той Баранов. Весь Крым взбунтовал. Я, говорит, нашел английские документы, и в тех документах показано, что под Балаклавой потоплено английского золота на двести миллионов рублей. Погиб, говорит, у Балаклавы английский корабль «Черный принц», погиб от страшной бури во время обороны. А вез той корабль жалованье для английской армии. Десять годов назад, сами знаете, бедность у нас была. Ну и взялись искать того «Черного принца». Корабль нашли, а золота нет. Чи засосало его глубоко под песок и завалило камнями, чи его там и сроду не было — никто не знает. Есть у меня такая думка, что Баранов сбрехал. Шумный капитан, прямо грек! Как его буксир доходит до бухты, вся Северная слышит — такой крик он с мостика подымает со своей командой. Та и команда ничуть ему не уступает. Все херсонские да одесские. Вовсе отчаянный народ.

Баранова я знал хорошо и потому смеялся над словами Дымченко. Баранов был просвещенный и смелый капитан.

Слова Дымченко о двойной весне в морских глубинах подтвердили биологи.

Смена времен года на Черном море идет так — зима, весна, лето, вторая весна (в сентябре и октябре) и снова зима. Никакой осени нет.

В марте и апреле солнце с каждым днем подымается над морскими пространствами все выше, и на берегах расцветает розовая от миндаля и туманов черноморская весна.

Верхний слой воды в море нагревается. В нем начинается бурная жизнь. Особенно быстро размножается планктон — те мельчайшие животные и растения, главным образом диатомеи, которые плавают в воде во взвешенном состоянии.

Эти растения и животные не бесцветны. Иногда они придают пространствам моря красный, желтый или зеленый оттенок. Дарвин был поражен, когда корабль «Бигль» пересекал океан, кишевший красным планктоном. Граница между красной и синей водой была видна так отчетливо, будто ее провели кистью.

Каждую весну Черное море наполняется микроскопическими растениями — диатомеями. Как цветут весной заливные луга, так цветет диатомеей весеннее море.

Диатомея размножается с невероятной быстротой. Каждые двадцать четыре часа одна диатомея делится на две. Через десять дней из одной диатомеи получается около тысячи этих одноклеточных существ — не то растений, не то животных, — заключенных в хрупкую кремневую раковину.

Формы диатомей так причудливы, что кажутся плодом фантазии. Есть диатомеи, похожие на диски, квадраты, адмиралтейские якоря, на шары, покрытые щетиной, осколки драгоценных камней и кости рыб, на семена земных растений и цветы.

Кроме диатомей, в планктоне плавают множество существ, обладающих всеми признаками растений и вместе с тем способностью самостоятельно двигаться, подобно животным.

Знакомство с жизнью моря убедило меня, что здесь, в подводных пещерах и среди скал, живут в сумраке и тишине странные существа, являющиеся переходной формой от растения к животному. В море было много растений, умеющих двигаться, подобно животным, и много животных, неподвижных и прикрепленных к одному месту, подобно растениям.

Когда я впервые увидел актинию — ее зовут еще морской анемоной, — я никак не мог поверить, что это не цветок, а животное.

Актиния похожа на цветок, растущий на толстом стебле. Она неподвижно живет, или, вернее, растет, на скалах и морских берегах. Венчик ее вместо лепестков окружен множеством ярких красных щупалец, покрытых синими точками. В щупальцах хранится яд. Им актиния убивает животных и съедает их огромным ртом, похожим на щель в пестике цветка.

Весной море насыщено планктоном и диатомеей. На диатомовых лугах пасутся стаи рыб и морских животных.

К началу лета диатомея исчезает. Часть ее бывает съедена рыбами, часть опускается в глубину, где ее пожирает многочисленное население морского дна.

Жизнь медленно замирает, и кажется, лето должно перейти в бесплодную осень и закончиться зимой.

Но неожиданно в сентябре начинается вторичный расцвет планктона. Море снова наполняется гущей микроскопических растений и животных.

Стаи рыб снова идут серебряными подводными течениями, и тысячи чаек садятся на воду, хлопая крыльями. По шуму их крыльев, похожему на отдаленный гул водопада, рыбаки узнают о приближении скумбрии, камсы и фиринки.

После второй весны приходит черноморская зима с ее тяжелой водой, безжизненностью глубин и увядшими зарослями морских гниющих трав.

Веселые рыбы — макрель, чирус и паламида — уходят в Средиземное море. Норд-осты ревут в туманах. Снег тает, растворяясь в черной волне. Небо лежит над морем низким куполом и не дает тепла. Солнце уходит к югу, к далеким берегам других, более счастливых и праздничных морей.

Чем объяснить наступление на море второй весны?

Зимой в воде Черного моря сгущаются едкие фосфорные и азотные соли. Без них немислима жизнь микроскопических растений — диатомей.

Растения вбирают в себя эти соли только под влиянием солнечного света. Зимой его мало, он слаб. Солнце низко идет над краем горизонта, лучи его косо ложатся на воду. Они не проникают в глубину, а отражаются от морской поверхности. Растительная жизнь мертва.

Весной солнечный свет затопляет море. Диатомеи начинают поглощать соли и быстро развиваться. Они съедают все запасы азотной и фосфорной соли в морской воде с неслыханной прожорливостью — примерно, за один месяц. В мае уже начинается соляной голод, и диатомеи гибнут массами. Летом голод усиливается, и жизнь планктона замирает совершенно.

Но внизу, в холодной воде, даже летом запасы соли сохраняются нетронутыми. Планктон не может переселиться вглубь, чтобы жить этими запасами. В глубинах нет солнечного света, а без света планктон существовать не может.

Летом солнце нагревает верхние слои моря. Морская вода плохо проводит тепло. Поэтому верхняя нагретая вода лежит слоем в десять — двенадцать метров толщиной на глубокой холодной воде и с ней совершенно не смешивается. Смешать эти разные воды могут только сильные штормы, но летом их не бывает.

Осенью поверхность моря быстро охлаждается. Вся вода сверху донизу приобретает одинаковую температуру. Жестокие бури перемешивают воду, как в исполинском котле. Вода опять насыщается солью, и наступает новый расцвет диатомей и планктона — вторая морская весна.

Она длится, пока солнце дает достаточно света.

Дни становятся короче, солнце устало склоняется к югу, свет его сверкает только на поверхности вод и, отражаясь от них, создает осенний блеск воздуха. Но морские глубины тонут все в большей и большей темноте.

Планктон умирает, вянут водоросли, и зима превращает море в неизмеримые бассейны холодной воды.

Зима подходила к Севастополю. Из своего окна я видел по утрам низкое небо и серое море. В тумане блестели только белые пятна каменных фортов. Прибой то выбрасывал на скалы умершие водоросли, то отходил от берегов и надолго замолкал. Море отсыпалось перед зимними бурями.

Я собирал водоросли, похожие на кораллы, — их называли кораллинами, — и зеленую зостеру. Ею, как непроходимой чащей, заросли севастопольские бухты.

Зимние штормы срывали ее с камней и наваливали горами на мелях. Стаи осетров залегали на зиму в этой траве. Поэтому дед Дымченко, Андрей и все севастопольские рыбаки называли зостеру «осетровой травой».

От рыбаков я узнал, что между Севастополем и Одессой лежит филлофорное море. Оно занимает около трех тысяч морских квадратных миль. Дно моря на этом прострaнстве завалено красной йодистой водорослью — филлофорой. Все рыбы, черви и раки в этом море красного цвета.

Тогда же по цвету водорослей я научился различать глубины моря. Зеленые и оливковые водоросли растут на мелких местах. Бурые лежат глубже на скалах, а на самых глубоких местах, на границе ядовитой сероводородной зоны, растут красные водоросли.

У северных берегов Крыма есть свое Саргассово море. Называется оно Джарылгацким заливом. Там заросли водорослей поднимаются осенью со дна обширными полями. Пароходы, попав в них, наматывают на винты громадные шары морской травы, останавливаются, бросают якоря и ждут помощи.

Все берега залива завалены гниющей травой. Ее острый запах слышен в степях за километры.

Зостера придает морской воде темно-зеленый цвет. Только большие мели, где она не растет, сверкают в разных местах островами светлой воды. С мачты парохода по цвету воды можно набросать карту глубин пустынного степного залива с его песчаными островами, зарослями тростника и дикими птицами, гнездящимися около обветшалых маяков.



з французских художников Сметанина больше всех любила старика Синьяка.

Он рисовал закоулки портов, сохнувшие паруса и стеклянные двери матросских пивных. В них отражалось солнце. Он рисовал тени от мачт на дорогах, одуванчики, качающиеся от морского ветра, неуклюжих людей, мажущих смолой пузатые барки.

Рыбачьи дома, рвущиеся флаги и облезлые буксиры, плывущие по морю, как по жидкому солнечному свету,— все это на картинах Синьяка было доведено до совершенного блеска. Синьяк никогда не смешивал красок на палитре. Он не выносил грязи и тусклых оттенков.

Он брал основные цвета и клал их на холст маленькими точками — одну около другой. На расстоянии эти точки сливались в нужный художнику правильный цвет.

Картины Поля Синьяка надо было смотреть издали.

— Живопись нельзя нюхать,— сердито говорил Синьяк неопытным зрителям.— Отойдите подальше, дитя!

Картины Синьяка были написаны в манере пуантелизма, иначе говоря — тысячами маленьких цветных точек, заполнявших полотно.

Глядя на картины Синьяка, я вспомнил кальмара, виденного мною в морском аквариуме на биологической станции.

Тело этого страшного хищника, напоминавшее обрубок дерева с длинными когтистыми щупальцами, было покрыто множеством маленьких точек очень ярких и чистых цветов — красного, синего и желтого. Издали эти точки сливались в желтоватый, то вспыхивающий, то тускнеющий цвет необыкновенной красоты.

Я не знаю, видел ли Синьяк кальмаров у рыбаков Бретани и Нормандии. Но вполне возможно, что художники заимствовали у этого обитателя океанских глубин свой способ работы и добились блестящих результатов.

Лишний раз я убедился, что море соприкасается с разнообразными областями жизни и дает много неожиданных познаний для каждого, кто умеет видеть и размышлять.

Я доказывал Сметаниной, что художники должны учиться чувству красок около моря. «Кто не видел моря, тот живет половиной души», — сказал старый шкипер Кодрингтон. Имя его

теперь основательно забыто. Это был английский моряк, писатель, почитатель Диккенса, добрый и отважный человек.

Неизмеримые просторы воды создают глубину красок, которой не хватает иным художникам. Сложный мир отражений и различного по силе и по углам падения солнечного света, отблески берегов, сумрак туч и сверкание огней, резкая раскраска морских животных, красные скалы и белые пески — все это заключено в пространство воздуха, то полного влаги, то резкого, как дыхание пустыни. Краски или расплываются в неясные пятна, или высыхают и горят напряженным цветом, или, наконец, покрываются тусклостью, свойственной древним странам земли.

Легче всего изучить эту изменчивость красок около моря.

Сметанина соглашалась со мной, но во взгляде ее я видел рассеянность.

Разговор происходил в дождливые сумерки. Мы подымались по выветренным ступеням к ее дому. Это был старый дом с каменными террасами, с разноцветными стеклами в окнах, с колоннами и диким виноградом, свисавшим со стен. Должно быть, его строил итальянец.

— Я хочу показать вам свою последнюю работу,— сказала Сметанина, зажигая свет в комнате. Свет электрических ламп вытеснил темноту. Она повисла за стеклами дождливой завесой.

Сметанина долго рылась в книгах на столе, вытащила папку с рисунками и протянула ее мне.

Я надеялся увидеть последние пейзажи, но вместо них увидел неожиданные рисунки.

Я рассматривал их, улавливал связь между ними, но не понимал их назначения.

На одном был изображен трехтрубный миноносец. Он стоял на гранитных подпорках среди городской площади. Это был настоящий стальной миноносец. По его борту полз плющ. Цветущие настурции свешивались из клинкетов и клюзов. Вьюнок оплетал якорные цепи, красные от налета соли. Высокая трава шумела у подножия миноносца и прикасалась к его днищу с пробойной от тяжелого снаряда.

Голуби сидели на широкогорлых трубах. Дети играли под мощной кормой с красным истлевшим флагом. Виднелись винты, похожие на стальные трилистники.

Под рисунком была надпись: «Памятник миноносцу «Свирепый»».

На втором рисунке был изображен совершенно иной памятник. Высокий моряк в расстегнутом кителе сидел на камне и беседовал с рыбаком. Рыбак — типичный севастопольский старик с худым от ветра лицом — сидел на земле около моряка и штопал рваную сеть. Старый корабельный кот терся о ноги моряка. Улыбка моряка выдавала человека с открытой душой.

Я всмотрелся. В моряке я узнал Шмидта, а в старике — деда Дымченко.

— Что это? — спросил я Сметанину.

— Это памятник старым очаковцам,— ответила она и смутилась.

Я продолжал рассматривать рисунки. Третий памятник был так же необыкновенен, как и два первых.

Пять матросов, взявшись за руки, шли гурьбой и смеялись. Посредине шел Матюшенко. Руки его были беззаботно засунуты в карманы. Справа от него шли Частник и матрос Петров, поднявший восстание на транспорте «Прут», слева — боцман в помятой морской кепке и маленький вертлявый бретонец в шапочке с помпоном — матросы с восставшего в Севастополе французского броненосца «Жан Барт». Под памятником была надпись: «Vive les sowiets et la mer!»

Я рассматривал проекты памятников Колумбу, Джемсу Куку, Магеллану и Берингу.

Потом я перешел к наброскам морских коньков и буревестников, которые украшали городские фонтаны.

Наконец я увидел проект памятника старым морякам. Это был настоящий парусный корабль, идущий в полный ветер с хорошим креном. Перед его носом кипели буруны. Их изображали заросли белых ромашек. По сторонам бортов струилась морская вода — ковры фиалок и других синих цветов.

Люди с бакенбардами стояли у планшера и курили трубки. Обезьяны висели на хвостах на реях, и попугаи качались в привязанных к вантам клетках.

На пьедестале была вычеканена надпись: «Что бы ни случилось, всегда держите в лоб урагану».

Прекрасное прошлое, создавшее среди моряков традиции мужества и свободы, прощалось в этом памятнике с шумящим вокруг сегодняшним днем.

После памятников я рассматривал рисунки, изображавшие отдельные уголки города, перекрестки, площади и каменные трапы.

Это был Севастополь. Я узнавал его. Но вместе с тем это было совершенно новый, гораздо более радостный город. Множество зелени и шумящей воды наполняло его. Сигнальные мачты с флагами подымались над домами. Издали такой город должен был производить впечатление громадного флота, бросившего якорь у берегов Крыма.

Вся история города и его революционных дней, память о людях, связанных с Севастополем, память о море — все это было слито на рисунках Сметаниной со зданиями, улицами и набережными города.

— Что это все значит? — спросил я наконец.

— Будущий Севастополь,— ответила Сметанина.— В свободное время я перекраиваю облик этого города. Каждый город должен иметь свое лицо. Нет ничего скучнее казарменных домов, которые понастроили пять лет назад, одинаковых вывесок и на-

званий улиц. Нет ничего глупее желания окраинных городов убить свое своеобразие и ничем не выделяться из ряда других городов. С этим выхолащиванием жизни и порчей массового вкуса надо неистово бороться.

Я не спорю — в этих проектах много романтики. Но осуществите ее — и она превратится в реальность. Все это можно будет видеть и осязать. Эти вещи войдут в быт, в сознание, они привьют любовь к своему городу и, тем самым, к своей социалистической родине.

Сделайте города такими, чтобы ими можно было гордиться, чтобы в них можно было работать, думать и отдыхать, а не заболеть неврастенией и трамвайным бешенством.

Нужно, чтобы город был создан на обдуманном разнообразии отдельных частей. В нем должны быть памятники, сады, фонтаны, повороты улиц и лестниц, перспективы, — чтобы всюду были свет, тишина, ветер и воздух.

Город должен быть так же прекрасен, как прекрасны вековые парки, леса и море. Иначе не может быть. В городах живут люди нового времени. Здесь рождаются гениальные идеи и создается будущее. Нужно, чтобы город не угнетал сознание, чтобы мы не мирились с ним, как с необходимостью, чтобы мы не ненавидели его как нечто, что сокращает жизнь, а приходили в него, как в свой дом, полный друзей, книг и работы.

Я удивляюсь, что эта простая мысль до сих пор не дошла до сознания многих людей. Иные думают, что превратить какую-нибудь Епифань в социалистический город очень просто. Надо только переименовать улицы, построить скучные, как российское прошлое, бараки, триумфальную арку подешевле и еще что-нибудь в этом роде — и новый город готов.

Тех, кто так думает, нельзя подпускать на пушечный выстрел к строительству новой жизни. Пусть они раньше научатся понимать сущность будущего и перестанут оскорблять его своими вкусами, воспитанными в тупой царской России.

Почему, например, у нас не ставят памятников лучшим рыбакам, лучшим водолазам и, наконец, литературным героям? А я бы ставила. Я поставила бы памятники Гулливеру, Тиллю Уленшпигелю и матери из повести Горького.

Я улыбнулся, но Сметанина не заметила этого.

— Севастополь — город моря и революции. Здесь об этом должен говорить каждый камень. Здесь есть окраины на берегу бухт. Побывайте там. Вы увидите вытасненные на сушу дырявые барки и допотопные катера. Из земли торчат лапы якорей. В кузовах барок пробиты двери и окна. Дым ползет из жестяных труб камбузов. Собаки, привязанные к мачтам, подымают неистовый лай.

Конечно, людей надо выселить оттуда, а вокруг этого кладбища судов разбить цветники. Дети будут играть на шхунах, и все это место мы назовем Старым корабельным парком. Он разрастется. Мох покроет толстые кили, а ветер будет бить ветками деревьев о старые днища, выдавшие виды в морях.

— Ну что ж,— сказал я.— Все это прекрасно, но пока это область фантазии.

— Вы ничего не понимаете! — ответила Сметанина.— Никаких фантазий здесь нет! Это так же легко осуществить, как построить казарму из кирпича. Вы подумайте, как весело будет идти эта работа. Она будет ощущаться так, как ощущается работа по устройству *своей* библиотеки, кабинета, мастерской. То, что сейчас втиснуто в четыре стены, будет распространено не на одно мое замкнутое жилье, а на весь город. В этом я вижу один из прекрасных признаков коллективного общества.

— Я ничего не могу возразить,— ответил я.

— Ваши возражения меня мало интересуют. Все вы занимаетесь хотя и тем, чем нужно, но не так, как нужно. Что за смысл писать хорошие вещи, но не уметь осуществить их в жизни?

Сметанина помолчала.

— Вы хорошо знаете Гарта? — спросила она неожиданно.

— Да, уже несколько лет.

— Он талантливый человек?

— Конечно.

— Вот это меня и злит.— Сметанина в упор посмотрела на меня.— Чем талантливее человек, тем больше у нас обязательств перед ним. Нельзя позволять таланту уничтожать себя вздорными и убивающими душу мыслями. Вот Гарт. Еще до революции он внушил себе, что в России ни при каких обстоятельствах не может произойти ничего умного и прекрасного. Все интересное, по мнению Гарта, может случаться только в тропиках, на девственных островах и в экзотических городах, полных тайн, отважных моряков и необыкновенных женщин. Всю силу таланта он тратил на гениальные игрушки, а жизнь шла мимо. Ни Гарт на нее, ни она на него не обращали внимания. Во всяком случае, так было до последних лет. Талант сгорал, как щепка, а не светил сильно и упорно, как солнце. Вы утверждаете, что любите его талант. Что же вы сделали, чтобы спасти его?

Я молчал.

— Ничего вы не сделали! Неужели трудно взять человека за руку, вывести из прокуренной комнаты и показать, что жизнь ничуть не уступает его выдумкам?

— Он сам вышел из этой комнаты,— сказал я.

— Ну конечно,— спохватилась Сметанина.— Вы правы.

— Почему вы заговорили о Гарте? — спросил я Сметанину. — Какая связь между Гартом и новым Севастополем?

Сметанина молчала. Мне хотелось услышать от нее самой подтверждение собственных догадок. Поэтому я решил быть настойчивым.

— Я знаю, что связь есть, — сказал я.

Сметанина молча собирала рисунки.

— Раз вы молчите, — продолжал я, чувствуя, что вторгаюсь в запретную область человеческих отношений, — так я скажу за вас.

— Как хотите, — промолвила Сметанина.

— Как вам известно, — сказал я, — все рассказы Гарта происходят в двух выдуманных приморских городах — Саванне и Кастле. Таких городов нет и не было.

— Но они будут! — воскликнула Сметанина.

— Ну хорошо, они будут. Но это пока не существенно. Я видел у Гарта планы этих городов. Они замечательны. Города эти изрезаны морскими проливами. Их пересекают полноводные реки. Их окружают розовые холмы, леса и равнины, покрытые высокой, примятой морскими ветрами травой. На равнинах лежат глубокие озера.

Окрестности этих городов разнообразны, дики и величественны. Эти места хороши тем, что непроходимые леса подходят к самому океану. В этих лесах вы, между прочим, можете встретить человека, сидящего на пне и читающего «Одиссею» Гомера.

Но интереснее всего не окрестности, а самые гартовские города. Судя по оброненным им словам, их можно представить себе так: приморский город с лестницами вместо спусков, с уютными гаванями и голубятнями разноцветных домов брошен на произвол судьбы. Люди из него уходят. Через двадцать лет город зарастает до крыш буйной растительностью и одичавшими цветами, забытыми человеком.

Тогда люди возвращаются. Они прорубают в зарослях проходы к домам, превратившимся в горы шумящих листьев. Они открывают окна и впускают в дома солнечный свет.

Холодные ручьи бегут по улицам и перекатывают груды морских ракушек. Стучат молотки, и поют пилы. Верфи оживают и начинают пахнуть опилками. Дети хохочут и ни в чем не отстают от мечтательных девушек.

Капитаны и матросы гремят по песчанику мостовых подкованными сапогами. Парусные мастера зашивают в кромки гrotтов и марсов платки с изображением якорей и весел. Эти знаки соответствуют подписям художников под картинами.

По вечерам газ шипит в фонарях. Зеленый его свет борется с шумной темнотой, с крепкой, как рассол, океанической ночью. Таковы города Гарта. Но их нет и не будет.

— Они будут, — упрямо повторила Сметанина. — Они бу-

дут, но, конечно, не такие старинные. Без газовых фонарей, без деревянных шхун, но со всей их тишиной и легкостью жизни.

— Мне так же, как и вам,— ответил я,— хочется, чтобы они были. Но их пока нет. И вот вы решили по-своему спасти Гарта. Я представляю ход ваших мыслей так. Гарт ушел от действительности и выдумывает фантастические страны и города. Вместо этого мы дадим ему увлекательную и благородную работу — бороться за создание нового Севастополя. Ну, не Севастополя, так другого города. Так? Гарт приобщается к действительности, к борьбе, входит в гущу жизни как полноправный строитель своей замечательной страны. Правильно?

— Да,— согласилась Сметанина.

— Чтобы сбересть, как вы сказали, его талант, вы занялись разработкой этих проектов. Вы втянете в это дело Гарта, и он с радостью на него пойдет.

— И все будет прекрасно,— сказала с облегчением Сметанина.

— Нет,— ответил я.— Ничего прекрасного не будет.

Сметанина даже вздрогнула:

— Почему?

— Гарт должен писать,— ответил я.— Его силы ограничены. Вы не должны втягивать его в эти дела. Он сделал в прошлом все, что мог, и сделал блестяще.

— Что же он сделал?

— Он внушил вам своими рассказами о выдуманных городах мысль о создании нового, не выдуманного Севастополя. В этом была его нужная нашему времени задача. Оставьте ему возможность делать свое дело, а вы делайте свое. Вы будете создавать новые города, а Гарт будет бросать в умы жажду деятельности во имя веселой и осмысленной жизни. Я начинаю думать, что до сих пор Гарт был просто не понят. Это все, что я хотел сказать. Еще только один вопрос. Вы будете всерьез бороться за создание нового Севастополя?

— Да. Я от этого не отступлюсь никогда.

— Значит, Гарт добился своего,— сказал я, закуривая.— Вот теперь я могу сказать, что все действительно будет прекрасно.

— Я не совсем еще разобралась в ваших словах,— сказала Сметанина,— но, кажется, вы правы. Какой все-таки силой обладает Гарт!

— Не Гарт, а искусство,— осторожно поправил я.

На этом наш разговор окончился. Я скоро ушел. Дождь шумел над улицами. Белая известковая вода, сливаясь в море, журчала по обочинам тротуаров, как журчат у нас на севере лесные родники.



Наконец я собрался навестить капитана Баранова. Я знал его давно, по Одессе, где в 1921 году издавалась морская газета «Моряк». Баранов в ней сотрудничал.

Яличники с Северной стороны прозвали капитана Баранова «Очевидцем». В это слово яличники, считавшие себя знатоками морских событий, вкладывали всю язвительность, на какую были способны.

Зависть грызла их седые сердца. Законная зависть мучила яличников, потому что Баранов славился редкой особенностью — этот человек действительно был очевидцем многих замечательных случаев и событий.

Я провел с Барановым много дней и вечеров в Севастополе, Новороссийске и Одессе. Я часто бывал в каюте его старого буксира «Смелый».

И капитан, и корабль, и команда были как будто нарочно подобраны по черноморским портам. Это была веселая и неунывающая компания, охотно берущаяся за всякую работу, лишь бы в ней были признаки риска и новизны.

Начнем с корабля. Во время дождей буксир был слышен. Именно слышен издали. Десятки дождевых струй лились через дырявую палубу в жестяные тазы и банки от консервов, подвешенные в местах наибольшего скопления воды.

По слухам, «Смелый» плавал последнюю зиму перед отправкой на корабельное кладбище. Вид его никак не соответствовал растущей морской мощи Советского Союза. Но людей, распрстранявших эти слухи, Баранов называл «подозрительным элементом».

Старый буксир имел заслуги перед революцией. По мнению Баранова, даже отслужив срок, он должен был пойти не на кладбище, а в несуществующий еще корабельный музей.

Буксир носил обидное прозвище «Пожар в бане». Вызвано оно было тем, что труба буксира дымила так, как может надымить весь английский флот, если его топить мусором.

Радио буксиру было не нужно. О его приближении узнавали по туче дыма, застилавшей горизонт. Во всех портах «Смелого» встречали дружелюбно и насмешливо.

Баранов ругался с «духами» — чоегарами, но «духи» ссылались на старые котлы и проклинали уголь. Это был не уголь,

а самый «подлый штыб»! Как только они начинали шуровать в своих топках, дым подымался, как извержение, над притихшими от изумления берегами.

В конце концов пришлось примириться с этим и создать для собственного успокоения шутивную теорию, что с «густым дымом плавают честные моряки, а не какие-нибудь контрабандисты».

Но эти мелочи плавания мало смущали Баранова. Один только раз он был раздосадован, когда буксир приткнулся на мель у Скадовска. В судовой журнал пришлось занести неприятные строчки:

«Вследствие собственного густого дыма потеряли из видимости берега и вежу, ограждающую отмель, и коснулись дном грунта».

Внешность Баранова никак не соответствовала представлению о беспокойном капитане. Это был старик с лицом актера, играющего несчастных и благородных отцов. Говорил он прекрасным, но хриплым басом со множеством интонаций. В молодости Баранов учился пению в Италии у забытой и престарелой знаменитости.

Баранов был не молод, но строен. Только желтоватые белки глаз и седина говорили о склерозе и старости.

Биография его была неисчерпаема. Бесперывно я узнавал то от него самого, то от окружающих все новые черты из жизни этого привлекательного человека.

В детстве он бежал из дому в Одессу и поступил юнгой на грузовой пароход. В Италии он скрылся с парохода и поступил в рыбацкую артель.

Потом Баранов плавал по Адриатическому морю на старых катерах, ходивших часто, как дилижансы, от Венеции до Бриндизи.

Страстность Италии, кипучесть ее языка, веселье и подвижность остались у Баранова на всю жизнь.

В Италии Баранов бросил морскую службу. Он бедствовал в Анконе, учился бесплатно пению, зарабатывал гроши игрой на скрипке. Он становился в порту под мраморной триумфальной аркой, воздвигнутой Траяном, и играл и пел кантилены и баркаролы. Он сдружился с городской бедной, с бродягами и тряпичниками, портовыми девушками и карточными шулерами. Эта полоса жизни отучила его от мягкой койки и дорогого хлеба.

После бродяжничества по Италии Баранов вернулся в Россию и поступил певцом в провинциальную оперу. Он извездил всю страну. Кажется, не было такого городка — от Фастова до Елабуги и от Вьесгонска до Армавира, — где бы он не играл.

Во время своих актерских скитаний Баранов начал переписку со Львом Толстым. Он убеждал его бросить занятия философией и написать перед смертью вещь, равную «Анне Карениной». Он ругал в письмах Толстого «слащавым чудачком» и

получал ответы, полные христианского смирения. Баранов хранил их у себя в столе завернутыми в черный платок.

Актерская жизнь скоро надоела Баранову. Он вернулся на Черное море, где был назначен капитаном пожарного парохода в Одессе.

В 1905 году в Одессу пришел восставший «Потемкин». Портовые рабочие хотели присоединиться к «Потемкину» и начать в городе восстание. Тогда полиция устроила пожар и погром в порту, чтобы отвлечь рабочих от мысли о восстании. Сотни громил, испитых и охрипших от ругани, устремились в порт. Горели пакгаузы.

Баранов, вопреки намекам начальства о необходимости ничего не замечать, подошел на своем пароходе к толпе, грабившей пакгаузы, и начал поливать ее горячей водой из пожарных брандспойтов. Погром прекратился, но одному Баранову не под силу было справиться с ним. Погром вспыхнул в другом месте.

Баранов знал Матюшенко и видел встречу восставшего «Потемкина» с Черноморской эскадрой. На своем пароходе Баранов доставлял восставшему броненосцу провизию и воду.

Встреча с Барановым в Севастополе вызвала поток воспоминаний об Одессе и «Моряке».

С Барановым я познакомился в редакции этой замечательной газеты. На ее первой странице на четырех языках красовался лозунг: «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!»

Это была газета с большим революционным прошлым. До революции она выходила в Александрии и Константинополе. Кочегары привозили ее в угольных ямах пароходов в Одессу. Тогда она больше походила на прокламацию, чем на газету.

После революции она начала выходить в Одессе. Бумаги не было. Таможня выдала нам из сострадания кипы чайных бандеролей разнообразных и приятных цветов — розового, зеленого и сиреневого.

На обороте этих бандеролей мы печатали газету. Каждый день цвет ее менялся. Только по воскресным дням (тогда выходных дней еще не было) мы выпускали «Моряка» на белой бумаге такой толщины, что газета не печаталась на ней, а выдавливалась, как книга для слепых.

Старые газетчики в первый же день выхода «Моряка» создали ему неслыханную популярность. Шаркая ревматическими ногами, они плелись по голодным улицам Одессы и равнодушно кричали:

— Газета «Мрак»! «Мрак» — газета!

«Моряк» разошелся в полчаса. Всем было интересно прочесть газету с таким страшным названием. Пожалуй, впервые в жизни неправильность одесского произношения сыграла такую роль в деле распространения печати.

После надлежащего внушения газетчики начали кричать не «Мрак», а «Морак». Им было все равно. Какая разница! Разве

это была жизнь! На кладбище годилась такая жизнь, когда газета стоила пятьдесят рублей, а за эти пятьдесят рублей можно было купить на базаре... двадцать спичек, вот что можно было купить на базаре!

В «Моряке» печаталось все, что имело хотя бы отдаленное отношение к морской жизни, — от истории кораблекрушений и революционной хроники зарубежных портов до стихов Тристана Корбьера и рассказов Катаева.

В газете было шестьдесят сотрудников — журналистов, капитанов, писателей, масленщиков, корабельных инженеров, лоцманов, матросов, гальюнщиков и поэтов.

В ней сотрудничали Бабель и Семен Юшкевич, Катаев и Шенгели, Эдуард Багрицкий и Славин, Семен Гехт и Андрей Соболев. Ильф в то время работал, кажется, монтером и еще не задумывался над литературным будущим.

Шенгели в солдатских обмотках и белом тропическом шлеме пел звучащие медью стихи о римлянах, истекающих кровью.

Катаев ходил в прожженной шинели, пахнувшей карболкой и сыпняком, и в линялой турецкой феске. Он напечатал в «Моряке» рассказ «Сэр Генри и черт». Рассказ был романтичен и страшен. В редакции говорили, что сам Эдгар По содрогнулся бы, читая его.

Бабель только что приехал из Конармии. Он писал свои рассказы с таким же вкусом и неторопливостью, как портовые грузчики едят белый хлеб с маслинами, — крякая от наслаждения.

Багрицкий, худой и бледный, целыми днями лежал в степи за Люстдорфом и ловил жаворонков и перепелок. В свободное от этого занятия время он писал чудесные стихи и страшным басом рассказывал вымышленные истории из своей жизни на турецком фронте.

Славин писал очерки об одесском базаре под названием «Имеете пару интеллигентных брюк». Гехт работал фальцовщиком в типографии «Известий» и слагал стихи о небе Иудеи.

Никто из сотрудников не получал ни копейки. Гонорар выплачивался черным кубанским табаком, синькой и хлебом.

Было время веселья и голода, время молодости республики и не затихающих над горизонтами гроз.

Почему именно из Одессы, а не из Киева или Саратова появилось столько талантов? Я ценю Баранова за то, что в 1921 году в Одессе он произнес в редакции «Моряка», сидя за стаканом морковного чая, пророческие слова:

— В Одессе много солнца, много моря, и — вы увидите — в Одессе будут свои Мопассаны!

Одесса — это Левант. Это Черное море, теплые ветры с Босфора, бывшие греческие контрабандисты и негодяи из Пирея. Итальянцы-гарибальдийцы, капитаны и портовые грузчики — банабаки. Богатства всех стран, влияние Франции, гетто на Молдаванке, бандиты, ценившие превыше всего остроумие,

седоусые рабочие с Пересыпи, итальянская опера, воспоминания о Пушкине, акации, желтый камень, цветы, любовь к анекдоту и страшное любопытство к каждой мелочи. Все это — Одесса.

Но главное — море. Баранов был прав. Черное море выбросило в жизнь этих писателей, как дарит берегам самые разнообразные вещи — от поющих раковин до сорванных с якорей плавучих мин, разносящих в пыль прибрежные скалы.

Кроме писателей, в «Моряке» работали два корректора — Подбельский и Харито. Оба они были студентами Одесского университета.

Подбельский был томный и картавый юноша. Он ходил преимущественно босиком и в дырявой шинели. В холодные зимние дни он носил облезлое, но все еще пышное дамское боа.

Он любил возвышенные разговоры и считал себя знатоком литературы.

Харито был грек родом с острова Митилены, где его отец до войны издавал греческую либеральную газету. Харито тоже считал себя знатоком литературы. Оба знатока презирали друг друга и обменивались язвительными замечаниями по тонким и спорным вопросам поэзии и прозы.

Когда умер Александр Блок, Харито объявил траур и два дня не выходил из своей комнаты, заваленной книгами. Из книг он сложил лежанку, покрыл ее старым ковром и спал на ней. Брошенная кровать стояла рядом.

В свою комнату Харито никого не пускал, чтобы сберечь книги от разграбления. Ложе из книг он устроил для того, чтобы скрыть их от «любителей литературы».

Однажды Подбельский пришел в редакцию не в боа, а в добротном матросском тельнике, бушлате и каскетке с золотыми пуговицами. Он объяснил редактору, что из склонности к морской жизни решил переменить профессию и поступил магросом на шхуну «Паванна».

Это была не шхуна, а херсонский дубок, приспособленный под перевозку дров. Пышное название «Паванна» объяснялось просто. Некогда эта шхуна принадлежала Павлу и Анне Бывальченко — херсонским торговцам. Слияние этих имен дало грязному дубку имя, достойное прекрасного клипера Вест-Индской компании.

Подбельский начал плавать на «Паванне» между Одессой, Хорлами и Скадовском. Изредка он заходил в редакцию, загадочный и таинственный. Все заметили, что он начал употреблять в разговоре не подходящие к его интеллигентной внешности крепкие морские слова.

Через два месяца его арестовали вместе со всей командой «Паванны» и выслали из Одессы. Обнаружилось, что «Паванна» занималась незаконной торговлей хлебом и мелкой контрабандой.

Казалось, для Харито пришло время торжествовать над бесславным концом соперника, но, наоборот, Харито пришел в уныние. Причины этого скоро выяснились.

Владельцем «Паванны» в то время был единственный сын Достоевского — Федор Федорович Достоевский, бывший игрок на бегах.

Я встречал его в Одессе. Это был плотный и неразговорчивый человек с холеной наружностью барина. Он не любил отца. Он морщился, когда при нем разговаривали не только об отце, но вообще о литературе. Когда его знакомили с кем-нибудь и говорили: «Это сын Федора Михайловича Достоевского», он резко бросал: «Я существую сам по себе, вне зависимости от таланта или бездарности моего отца».

Харито называл Подбельского идиотом. Если б ему, Харито, пришлось плавать с сыном Достоевского, то он, конечно, сумел бы вытянуть из него все, что сын знал об отце.

Из моряков — сотрудников газеты — самыми выдающимися были капитан Баранов и боцман Миронов.

Боцман Миронов писать не мог. Он умел только рассказывать. Он много плавал на американских пароходах, сидел в тюрьме в Чикаго и хорошо знал жизнь иностранных моряков. Он рассказывал точно, не привирая ни слова, но все же рассказы его казались фантастическими от обилия малоизвестных фактов.

Миронов прекрасно читал по-английски, пожалуй, лучше, чем по-русски. Он очень любил О. Генри и Джека Лондона и сокрушался, что никто из нас не умеет так писать, как они.

— Вот это ребята! — говорил он. — Способные до писания чудачки. Чернила у них крепкие, как спирт. Одно мне жалко — Лондона я не застал. Приехал к нему на ранчо, а он уже отравился. Жену видел. Грубая женщина, ее бы к нам на Привоз торговать пирогами.

Миронов изредка выступал у нас в роли переводчика.

Баранов переводил с итальянского прекрасную книгу «Заповеди моряка». Это был дневник итальянского кочегара — целая энциклопедия несчастной жизни на грузовом итальянском пароходе. Мы печатали переводы из номера в номер. Матросы на заржавленных пароходах в порту читали их со слезами и восхищением.

В те годы притихшая и пустынная Одесса была погружена в прозрачный воздух и тишину.

Бездымные дни проплывали над морем и городом торжественно и спокойно. Полынь росла на трамвайных путях и на руинах богатых дач в Аркадии и Ланжероне. Иногда тяжелый гром сотрясал берега — это врангелевский крейсер «Кагул» подходил к Очакову, и крепость отгоняла его уверенными и ленивыми залпами.

Все лето было полно морского безмолвия, изредка прерываемого орудийным громом, полно запаха морской травы и степей, полно голода с его легкостью тела и мыслей.

Вся жизнь в Одессе, даже чистый воздух и пустынный порт,

где старики удили рыбу, напоминала о блокаде. Только стаи скумбрии — веселой средиземноморской рыбы — прорывали ее. Скумбрия приходила из Мраморного моря. Мы удили ее на самодуры. Это было в те дни нашим единственным отдыхом.

СКРИПКА МАСТЕРА РАВИКОВИЧА



Как-то в свободный день я пошел с Барановым на Сухой лиман удить бычков. Мы тащили с собой две дыни — небогатую нашу пищу — и бамбуковые удочки.

Мы шли в степи по заросшим лебедой трамвайным путям.

Порванные провода свисали с мачт. Жаворонки бегали по шпалам. Степь шла широкими и жаркими волнами. Сквозь тощую ботву затоптанных огородов темнело море, налитое до краев в глинистые красные берега.

Дорога была пустынна. Только под Люстдорфом мы догнали старого еврея. Он шел с непокрытой головой и, не замечая нас, играл на скрипке. Ветер ворошил его жидкие волосы и сносил на сторону седую бороду.

Мы шли следом за ним и молча слушали. Мы давно уже отвыкли от музыки. Пение скрипки в раскаленной степи было так неожиданно, что знакомая мелодия из «Риголетто» казалась невероятной, как если бы я услышал над морем голоса сирен.

Баранов уронил дыню. Скрипач оглянулся на нас и отнял смычок.

— Это пустыки, — сказал ему смутившийся Баранов. — Играйте, пожалуйста! Мы не хотели вам мешать.

— Вы не бандиты? — спросил старик и зажал скрипку под мышкой.

— Чего вам, старому и бедному человеку, бояться бандитов?

Старик тихо засмеялся.

— Мне их надо бояться, молодые люди, больше, чем банкиру Ксидиасу. Много больше мне их надо бояться. Вот!

Он потряс перед нами скрипкой. Это была обыкновенная коричневая скрипка с тусклыми пятнами на деке в тех местах, где сошел лак.

— Вы сказали, что я бедный человек. Нет! — крикнул старик. — Я богат! Я миллионщик! Я хожу с карманами, набитыми золотом и бриллиантами! Вы знаете, кто делал эту скрипку?

Исаак Равикович делал ее, молодые люди! Старый Исаак с большими руками делал ее три года. Она такая тонкая, что отзывается, когда у кого из соседей упадет тарелка или заплачет ребенок. Кто такой старый Исаак — вы хотели меня об этом спросить? Если вы были в Италии...

— Я был в Италии,— сказал Баранов.

— Вы! — крикнул старик и всплеснул руками. Скрипка сверкнула на солнце, как коричневая короткая молния.— Дай вам бог счастья! Вы случаем не видели город Кремону?

— Я был в Кремоне,— невозмутимо ответил Баранов.

Скрипач протянул ему руку. Он жал смуглую ладонь Баранова и заискивающе заглядывал ему в глаза.

— Так вы должны знать, что в этой Кремоне жил итальянский скрипичный мастер Страдиварий. Каждая его скрипка стоит десятки тысяч рублей. За что платят люди такие деньги? За вот этот кусок фанеры или за старые жилы? Нет! Люди не такие дураки. Кто знает, почему это дерево поет, как могут петь только ангелы! Кто их видел, ангелов, я не имею понятия, но так принято выражаться, извините меня.

Когда этот итальянец пробовал свои скрипки, мостовую около его дома закидывали соломой, чтобы он хорошо слышал, как поет каждый кусочек дерева. Не дай бог хлопнуть дверью или, положим, вылить на улицу ведро грязной воды.

А старый Исаак пробовал скрипки ночью. Жильцы ругали его последними словами и жаловались хозяину, что он не дает им спать. Разве можно с них что-нибудь спрашивать! Нищие люди! Где им было думать о музыке, когда надо прожить день с одним куском черствого хлеба.

— Кто этот Исаак Равикович? — спросил Баранов.

— Это наш одесский Страдиварий,— ответил старик.— Вот я хожу по городу, по базару и по степи и играю на его скрипке. Закажите, что вам сыграть. Нет, я сыграю вам итальянское!

Старик заиграл. Легкий человеческий голос запел в темном маленьком трюме разошедшей скрипки. Баранов сел на землю и слушал. Потом он начал подпевать скрипке:

Настроена гитара,
О друг мой, в честь твою
Всего земного шара
Я песни пропою

Старик играл и смеялся. Белые тесемки свисали из-под его рыжих брюк на ссохшиеся ботинки. Рванный пиджак распахивался от каждого движения смычка. На пиджаке не было ни одной пуговицы.

— Вот! — сказал скрипач, окончив играть.— Теперь вы слышали, что это за инструмент! Это инструмент Исаака Равиковича — великого старика. Но между прочим, никто даже не найдет его могилу на Новом еврейском кладбище.

Он жил один и умер один. Был у него только я — Моисей

Чернобыль. Мне он подарил последнюю скрипку. Кто пришел на его похороны, вы спрашиваете? Я, старуха Маня — его соседка, и еще профессор Московской консерватории, — я забыл его знаменитую фамилию. Он сказал мне: «Моисей Лазаревич, вот мы потеряли с вами гения, а не человека. Никакая душа в этой жизни не будет о нем знать, потому что бедность прячет людей в угол лучше самого осторожного вора. Идет революция, — так он сказал, — и разве маленькая скрипка может перекричать ружья и пушки, когда они стреляют?» — «А не думаете ли вы, — спросил я его, — что скрипка будет петь и для революции и через пушечный грохот ее кто-нибудь да услышит?» — «Нет, — сказал он, — я так не думаю, Чернобыль!»

Я ему не поверил, молодые люди. Я оказался умнее этого профессора консерватории.

Старик сел рядом с нами на землю. Зной мутным соком струился по горизонту.

— Что имел старый Исаак за свои скрипки? Раз в месяц он кушал рыбу и высох, как метла от работы. Что ему платили? Жалкие, паршивые рубли!

Скрипач молчал.

— Я неплохой музыкант. Может быть, потому, что у меня нет жены и детей. Я до старости дожил как сирота. Я играю сколько хотите. Я люблю играть людям.

При Деникине я тоже играл в ресторане «Желтая канарейка» на Херсонской улице. Но как приходили офицеры, хозяйка Павлович зазывала меня в заднюю комнату и говорила. «Посидите пока тут, Моисей. Сейчас им Люся будет играть на рояле». — «Что такое? — спрашивал я. — Разве господа офицеры не любят скрипичной игры?» — «Вы дурак, Моисей, — говорила мадам Павлович. — Вы старый ребенок, Моисей, и я имею к вам жалость. Они любят свои права и аксельбанты, и больше ничего. Сидите тихо и ешьте свой ужин».

И я сидел, спасибо этой доброй женщине. Но я досиделся. Один раз заходит в заднюю комнату старый морской офицер. Он увидел меня и спросил: «Что ты тут делаешь, дорогой Арончик?» Он был пьяный. «Я не Арончик, — ответил я, — а скрипач, и зовут меня Моисей Лазаревич Чернобыль». — «Вот как! — сказал он. — Может быть, вы сыграете нам, уважаемый Моисей Лазаревич, «Так громче, музыка, играй победу!»?»

Мадам Павлович делает мне знаки глазами, но я отвечаю тихо, что не умею играть эту офицерскую песню.

Тогда он берет со стула скрипку, подымает над головой и смеется. «А «Интернационал» ты умеешь играть, жидовский Кубелик?» — спрашивает он и замахивается на меня скрипкой.

Тут вся моя кровь, — а вы посудите, сколько много ее у такого еврея, как я, — тут вся кровь ударила мне в глаза, и я подумал: или ты, Моисей, будешь дрожать, как собака, перед этим человеком, или нет. Тогда я крикнул ему: «Да, «Интерна-

ционал» я умею играть. Я сыграю его, когда вы через неделю будете драпать из Одессы, как крысы, сыграю над вашей свежей могилкой, господин капитан».

Он опять замахнулся на меня скрипкой, но я схватил смычок и ударил его по глазам.

Ну, что! Вы интересуетесь знать, что было? Ничего не было! Меня били в контрразведке и бросили в подвал. И, верьте мне, я не думал за себя, а думал за скрипку — хорошо ли спрятала ее мадам Павлович.

На четвертый день пришли большевики. Они выпустили меня. Комиссар сказал мне напоследок: «Катись отсюда! Играй и будь здоров, Чернобыль. Не путайся у нас под ногами — и без тебя есть большие дела». Я ушел. С тех пор я хожу, играю во всех тех местах, где людям от этого делается хорошо, и ни у кого не путаюсь под ногами. Я жду. И я дождусь своего счастья.

Расстались мы со скрипачом на берегу Сухого лимана. Я размотал удочки, закинул их, лег на горячий песок и закрыл глаза. Синие и оранжевые шары понеслись, пересекаясь, в красноватой темноте. Кончилось тем, что я уснул.

Разбудили меня осторожные толчки в плечо. Я открыл глаза. Передо мной стоял скрипач.

— Вот я и вернулся,— сказал он.— Ой, какой вы неосторожный молодой человек! Кто же спит на солнце!

Он присел рядом со мной на корточки и неожиданно спросил:

— Вы грамотный по-русскому?

— Да.

— Так напишите мне на бумаге хорошими словами то, что я вас попрошу.

Я согласился.

Старик вытащил мятый бланк «Русского общества пароходства и торговли». Обгрызенным карандашом я написал под его диктовку следующие слова:

«Я, Моисей Лазаревич Чернобыль, проживающий в Рыбачьей балке, по занятиям скрипач, сильно болею чахоткой, как и мои мать и отец, и пишу это письмо насчет последней скрипки старого мастера Исаака Равиковича. Скрипка эта моя. И в случае смерти — как нет у меня ни жены, ни малых детей — прошу комитет партии подарить ее лучшему скрипачу нашего замечательного города. Пусть он бережет ее и играет на счастье людям, что не жили, а мучились сколько лет! Только прошу до скрипки не касаться лаком! Теперь лак делают совсем паршивый, а от лака зависит хороший звук.

С почтением *Моисей Чернобыль, 59 лет*».

В Севастополе в каюте «Смелого» мы вспоминали с Барановым Одессу и Моисея Чернобыля, писателей и газету «Моряк».

— Да,— сказал Баранов,— перебираешь собственную жизнь

и не веришь, что все это было. Прекрасные годы мы пережили. Надо бы записать, да вот — нет времени, все вожусь с этой проклятой коробкой. Работаю я по подъему затонувших судов — еще со времени поисков «Черного принца», помните? Эй! — крикнул он на палубу. — Кто там травит пар? Воздух отапливаете, черти!

Баранов проводил меня до трапа.

Густые сумерки спустились на Севастополь. До полной темноты осталось несколько минут. Это ясно ощущалось по огням, цвету воды и по особой звонкости воздуха. Колючие звезды автогена зашипели на палубах кораблей, поставленных в ремонт. Они затопили сумерки трескучим сиянием.

— Никуда не хочу уходить с этой коробки, — сказал напоследок Баранов. — Должно быть, и умру здесь. Предлагали мне уйти на теплоход, да ну его к шуту! Стар стал. Не люблю я пассажиров. Не наше это дело, возить тубетеечников. Здесь и к морю ближе, и проще, и в свободное время в каюте полежишь, почитаешь. У меня на коробке библиотека прекрасная. Приходите, читайте.

Когда я спустился на берег, он крикнул мне с палубы:

— Дня через два пойдем буксировать «Днепр». Достаньте разрешение, — я вас прихвачу с собой. Слышали про «Днепр»?

— Слышал, — крикнул я в ответ.

— Ну то-то!

Возвращаясь домой, я вспомнил все, что знал о «Днепре». С этим пароходом было связано одно из замечательнейших происшествий, когда-либо случавшихся на Черном море.

ГОРОХ В ТРЮМЕ



Через два дня я вышел на «Смелом» к Босфору, где Экспедиция подводных работ снимала с рифов океанский пароход «Днепр». «Смелый» должен был отбуксировать «Днепр» в Севастополь.

Мы шли, чуть покачиваясь в тумане. Зима чувствовалась во всем — в коротком дне, запахе снега и рано зажигающихся сигнальных фонарях.

На «Смелом» в связи с аварией «Днепра» было много разговоров о кораблекрушениях и морских опасностях.

Морская профессия еще и сейчас совсем не так безопасна, как принято думать. Появление пара, радио, жирокомпасов, водонепроницаемых переборок и других приспособлений только уменьшило риск, но море осталось прежним — с такими же двенадцатибалльными штормами, мелями, туманами и опасными течениями.

У кораблекрушений есть свои законы. Большинство судов терпит аварии вблизи берегов, попадая на мели и подводные камни. Гибель судов вдали от берегов случается редко. В открытом море суда могут погибнуть от столкновения друг с другом или с плавучими льдами, от пожаров и реже всего от бурь.

Моряки различают в деле аварий «тяжелые» и «легкие» годы. В тяжелый год терпит аварию примерно один из каждых четырех пароходов, плавающих по морям.

Разговоры происходили в каюте Баранова.

Особенно любил «потрепаться» водолаз Медлительный — маленький человек с мокрыми усами. Он работал в ЭПРОНе (Экспедиции подводных работ особого назначения) несколько лет и обучил за это время водолазному делу несколько десятков молодых советских водолазов.

Один из его учеников, комсомолец Петя Мухин, плыл с нами на «Смелом». Между учителем и учеником происходили постоянные добродушные стычки. Ученик обвинял учителя в консерватизме и хвастовстве.

Медлительный, как все старые водолазы, был привержен прежним порядкам водолазной работы и строптив. Он долго не мог примириться с подводным телефоном и ни за что не хотел им пользоваться. Он предпочитал давать сигнал по старинке, дергая конец. Целый год он спускался под воду с телефоном, но не хотел вымолвить по этой «деликатной штуковине» ни слова. Тогда молодые водолазы решили его проучить.

Однажды Медлительный дернул за сигнальный конец, чтобы его подымали. В ответ сразу закричали по телефону: «В чем дело? Давай сигнал разборчивей!» Медлительный дернул второй раз. Ему снова крикнули, что сигнал не понят. У Медлительного зажалось планг, подающий воздух. Он задышался, но не хотел сдаваться. Он синел, сопел, кровь гудела в ушах, он непрерывно дергал конец, но сверху все кричали в чертов телефон, что они не понимают сигнала.

Тогда Медлительный не выдержал и заревел в телефонную трубку, собрав остаток ярости:

— Подымай, черти! Мне плохо!

Его немедленно вытащили. С тех пор Медлительный начал исправно говорить по телефону.

Медлительный прославился тем, что как-то заснул под водой на палубе затопленного под Новороссийском миноносца. Но и во сне он время от времени машинально нажимал затылком клапан, выпускающий испорченный от дыхания воздух.

Медлительный и Мухин олицетворяли два разных типа водолазов.

Медлительный был водолазом царской школы, когда в водолазе ценилась только физическая сила. В иных иностранных флотах до сих пор подбирают в водолазы людей, ломающих одной рукой подкову и весящих не меньше семи пудов.

О невероятной силе старых водолазов ходят легенды. В Батуми в первые годы революции я встретил бывшего водолаза и циркового борца Зарембу. Ему сломали во время борьбы руку. Заремба бросил цирк и работал метранпажем в газете. Это был человек невероятной силы и незлобivosti. Легким нажимом плеча он останавливал на ходу маховик печатной машины.

Он рассказывал наборщикам много историй из цирковой и водолазной жизни. Он боролся с Поддубным, со Збышко-Цыганевичем — чемпионом Варшавы и со Штейнбахом — чемпионом Баварии.

Но самой невероятной была история борьбы с человеком-зверем. Дело было на острове Крите, где стояло пять эскадр — английская, русская, французская, итальянская и турецкая. Заремба служил тогда во флоте водолазом.

Между матросами эскадр был устроен матч французской борьбы. Заремба положил всех. Турки обиделись и вызвали из Константинополя лучшего борца-водолаза. У него на груди, по словам Зарембы, висела табличка с надписью: «Нечеловеческая сила. Мне бороться с людьми запрещается». Под надписью была печать султана.

Заремба струсил, но положение обязывало принять бой. Боролись в дощатой таверне, превращенной в цирк. На десятой минуте Заремба свалил турка. Когда турок упал, треснул пол. Эскадры приветствовали Зарембу сигналами по международному коду.

Таких легенд о силе водолазов я много наслушался и от Медлительного.

Петя Мухин был водолазом советской выучки. Он окончил водолазную школу в Балаклаве. Этот худой, маленький юноша, которого, по словам Медлительного, можно было перешибить папиросой, под водой работал быстрее и находчивее своего неуклюжего учителя.

Решение отказаться от водолазов-силачей пришло после работы японских водолазов над подъемом «Черного принца». Низкорослые и слабые на вид японские водолазы ныряли на громадную глубину, двигались по дну с невероятной быстротой и проводили под водой почти вдвое больше времени, чем наши водолазы. Японцы работали в легкой маске и тонком шерстяном белье. А наш водолаз-силач за пять — семь минут с трудом делал по грунту несколько шагов.

Мухин и Медлительный только что вернулись с Балтики, где был найден броненосец береговой обороны «Русалка», таинственно погибший в 1893 году.

Первым наткнулся на «Русалку» Мухин, но Медлительный, на правах учителя, чувствовал себя героем гораздо больше, чем Мухин. Он надоел нам бесконечными рассказами о «Русалке».

На «Смелом» я слышал много рассказов о кораблекрушениях, но больше всего меня поразила гибель «Русалки».

Из тяжелых историй, связанных с царским флотом, Цусима и гибель «Русалки» были самыми нелепыми и потрясающими. Старые броненосцы береговой обороны и мониторы — это были плавучие крепости с покатою палубой, выдающейся над водой только на два фута. Они строились для плавания около берегов, в шхерах, на озерах, вообще в спокойных и мелких водах.

Постройка этих броненосцев началась после войны южных и северных штатов в Америке. Во время этой войны мониторы появились впервые. Их толстая броня, мощные пушки и способность проскакать всюду, победа мониторов северян над флотом южных рабовладельческих штатов — все это создало о мониторах мнение, как об исключительно грозных боевых кораблях.

Забыли только о том, что мониторами северян командовали отчаянные моряки, лишенные страха и полные ненависти к южанам, — знаменитые капитаны Варден, Роджерс и Флюссер. Их имена знакомы каждому грамотному американцу. Человеческие свойства были приписаны конструкции кораблей.

Когда американский монитор «Миантономо» пришел в гости в Кронштадт через Атлантический океан без единого повреждения, то решение строить мониторы превратилось у нас в магию. «Миантономо» шел осторожно, долго выжидал хорошую погоду, все его люки, двери и иллюминаторы были наглухо задраены от проникновения забортной воды.

«Русалка» была монитором американского типа.

В сентябре 1893 года адмирал Бурачек приказал «Русалке», стоявшей в Ревеле, идти в Гельсингфорс и оттуда пробираться в Кронштадт. Около четырех часов «Русалке» надо было идти открытым морем. Поэтому вместе с «Русалкой» была послана канонерская лодка «Туча».

Осенью над Финским заливом часто проходят короткие бури. Начинаются они в полдень и бушуют до вечера. «Русалке» надо было выйти на рассвете, чтобы проскочить в Гельсингфорс до полудня. Но адмирал приказал выходить в девять часов утра, и броненосец не посмел ослушаться.

По обычной в царском флоте небрежности «Русалка» зашла на берегу деревянные крышки, которыми задраиваются во время шторма входные и световые люки.

Утро в день выхода «Русалки» было ветреное. Шел косой надоедливый дождь.

В десять часов утра сорвался шторм силой в девять баллов. «Русалку» начало заливать.

«Туча» под командой капитана Лушкова бросила бедствующую

щий монитор и ушла вперед в Гельсингфорс. Лушков вез на канонерской лодке молодую жену. Он решил, что жизнь ее дороже жизни двухсот матросов «Русалки».

«Русалка» в Гельсингфорс не пришла. Лушков же, придя в Гельсингфорс, никому не сообщил, что им брошен в море гибнущий корабль, и вообще не сказал ни слова о походе «Русалки». Адмирал Бурачек не запросил Гельсингфорс, дошла ли «Русалка» до порта. Он уехал охотиться в окрестности Ревеля, на мызу курляндского барона.

Через два дня рыбаки с острова Сандхамн донесли, что море выбросило на берег разбитые шлюпки и спасательные пояса с надписью «Русалка».

Тогда заработала заржавленная машина императорских канцелярий. Рыбаки донесли о разбитых шлюпках смотрителю маяка на острове. Смотритель донес гельсингфорскому полицмейстеру. Полицмейстер послал «отношение» командиру Гельсингфорского порта. Командир порта уведомил морское министерство. Министерство запросило адмирала Бурачека. Бурачек запросил капитана Лушкова. Наконец через три дня после явной гибели «Русалки», когда об этом были напечатаны телеграммы в иностранных газетах, морской министр отдал приказ о поисках «исчезнувшего без вести» броненосца.

Поиски продолжались два месяца. Они окончились заключением следственной комиссии, что «Русалка» погибла около маяка Эрансгрунд. Загадочным казалось то обстоятельство, что с «Русалки» не всплыло ни одного трупа.

Страна волновалась. Гибель двухсот моряков была неотделима от бездарной эпохи. Здесь смешалось все — трусость и глупость начальников, безалаберщина и тупое равнодушие к живому делу и людям.

Царь выслушал доклад морского министра. Светлые глаза царя смотрели на министра со скукой. На рапорте о гибели «Русалки» он размашисто и не задумываясь написал синим карандашом: «Скорблю о погибших».

Страна волновалась. Газеты требовали расследования. По городам начался сбор денег для помощи семьям погибших матросов. Художник Кондратенко написал картину «Безмолвный свидетель гибели «Русалки»». На ней была изображена разбитая шлюпка на угрюмых, обдаваемых пеной берегах. Картина эта в снимках обошла всю Россию.

Газеты сообщили об организации нескольких частных экспедиций для поисков «Русалки». Тогда морское министерство возмутилось: «шпаки» хотели вмешаться в его военные дела.

Был издан гласный приказ начать поиски «Русалки» и негласный — искать «Русалку» там, где ее заведомо не было. Поиски начались поздно, шли недолго и велись самыми нелепыми способами, например с воздушного шара. С шара дно моря

видно на глубину четырех саженей, а «Русалка» затонула на сорокасаженной глубине.

Словом, все было сделано, чтобы «Русалку» не найти. Царь опасался, что похороны жертв «Русалки» могут вызвать новую волну возмущения.

Нашли «Русалку» через сорок лет советские водолазы. Они восстановили картину гибели корабля.

Когда начался шторм, вся команда спряталась внутри броненосца. Огромные волны били в корму корабля и перелетали через низкую палубу, ломая надстройки. Они вливались в открытые люки и горловины. О том, чтобы выйти на палубу, нечего было и думать — она вся скрылась под бушующими волнами.

Оставшиеся на верхнем мостике командир и штурвалы были крепко привязаны канатами к поручням.

Волны усиливались. Они начали перехлестывать через мостик. Вода попадала в трубы. В закупоренном броненосце, наполнявшемся водой, не хватало воздуха. Тяга в трубах упала, и машина начала сдавать. Это привело к тому, что волны обгоняли корабль и разрушали все, что находилось на палубе.

Броненосец все больше и больше набирал воду. Наконец водой залило топки, и машина стала. Тогда «Русалку» повернуло бортом к волне, опрокинуло, и броненосец пошел ко дну. Ни один человек не выплыл, потому что люди были или привязаны к поручням, или закупорены в стальной коробке броненосца.

Плавание на «Смелом» прошло незаметно. Через сутки мы подошли к «Днепру».

С этим океанским пароходом случилась авария, обычная у берегов Босфора. Он принял в тумане за вход в Босфор залив около мыса Кара-Бурну, вошел в него и сел на камни.

Это предательское место хорошо знакомо морякам. В пасмурную погоду оно приобретает поразительное сходство с Босфором и обманывает многих капитанов. Среди моряков оно носит имя «Фальшивого входа».

Вблизи берегов моряки ориентируются по виду и цвету гор. Пасмурность меняет их вид, а выпавший снег зачастую делает берега неузнаваемыми. Где раньше были черные тени от ущелий, теперь сверкает белизна, похожая на россыпи мела. Многие мысы — и в хорошую погоду схожие друг с другом — при снеге кажутся неотличимыми.

Моряку нужно острое зрение и способность по цвету берега, затянутого дымкой, определить расстояние от него до парохода. Кроме того, нужна крепкая память. До сих пор в виду берегов пароходы ориентируются по всяческим приметам — одиноким деревьям, гемузским башням и прибрежным домам.

Баранов рассказывал мне, усмехаясь, о жалобах капитанов-иностранцев на быструю изменчивость советских побережий.

— Трудно плавать,— говорят они,— у берегов, где каждый год появляются новые приметы: силосные башни, антенны радиостанций, заводские трубы и электрические огни в заливах, бывших еще недавно совершенно темными по ночам.

Нигде вы не встретите такого точного описания примет моря и суши и столько разнообразных сравнений, как в лоции каждого моря.

Мысы делятся на приглубые, обрубистые и отмелье, похожие на руины, на пирамиды, на надгробные камни мусульманских кладбищ и на сахарные головы.

Но все же самая точная лоция, описывая берега, бессильна перед неожиданными переменами света, красок и прозрачности воздуха. Они превращают привычные контуры берегов в никогда не виданную страну.

Я испытал это на собственном опыте. О мысе Киик-Атлама, около Феодосии, в лоции сказано, что он похож на желтый горбатый остров, соединенный с морем низким перешейком. Но несдаром моряки зовут его «Хамелеоном». Я видел этот мыс несколько раз, при всякой погоде. Каждый раз он предстал в неузнаваемом и великолепном виде — то желтым и диким, выпукло отлитым на синеве далеких гор, похожих на грозовые тучи, то серым, как бы тлеющим после пожара, то черным, как сиенит, изрезанным синими провалами ущелий, то голубым, как лунный камень, то, наконец, розовым, чуть заметным в тумане, будто рисунок, плохо смытый с матового стекла.

Эта обманчивость берегов и вызвала аварию «Днепра».

Когда мы подошли к «Днепру», то увидели необычайное зрелище. Пароход был разломан на рифах. Нос отделился от кормы, и обе части парохода, снятые с камней экспедицией ЭПРОНа, стояли рядом, покачиваясь на якорях.

Непроницаемые переборки не дали воде потопить разломанный пароход. Мы видели его разорванные борта и железные внутренности, висящие в воздухе. Так выглядят дома после землетрясения, когда через обвалившуюся стену видна комната с мебелью и даже посудой, забытой на столе.

Зрелище разорванного парохода было для нас неожиданным. Уходя из Севастополя, мы знали, что «Днепр» сел на камни и получил небольшую пробоину. Шторма не было, и волна не могла так бить его о камни, чтобы разломить пополам.

Но вскоре все разъяснилось. Трюмы «Днепра» были доверху нагружены горохом. В пробоину проникла вода и подмочила горох. Он разбух и разорвал с невероятной силой железные борта парохода, погнул переборки и вырвал шпангоуты.

Когда эта новость дошла до «Смелого», ей сначала никто не поверил. Матросы решили, что нас «разыгрывают». Водопады остроумия обрушились на эпроновцев. Их обзывали «звонарями», а их водолазную шаланду — «подносом с музыкой».

— Ну и невыносимо же брешут! — кричал белесый боцман со «Смелого». — Неестественно как заврались ребята!

Эпроновцы сначала посмеивались. Потом им надоело остроумие буксира, задымившего весь горизонт. Из рубки на водолазной шаланде вылез усатый старшина с вытарашенными, злыми глазами. Он плюнул и закричал:

— Чего квакаете без понятия! Это дело научное. Вы бы постыдились серость свою показывать перед всем Черным морем. Нашлись какие разумные — над наукой смеяться!

Неожиданное обвинение подействовало на команду «Смелого». Смех стих.

Когда матросы убедились, что пароход действительно разорван набухшим горохом, настроение переменилось и насмешки сменились удивлением.

— Ты гляди! — кричал тот же белесый боцман. — Шо такое зерно? Пустяк? Дунь — и ничего нету. А какую силу в себе имеет — океанские пароходá рвет пополам, как гнилую веревку.

Но все же, когда «Смелый» брал на буксир носовую часть «Днепра», боцман не удержался и крикнул команде «Днепра»: — Эй, вы, порватые горохом, потравите кончик!

С палубы «Днепра», перед тем как потравить конец, показали боцману кулак.

История с горохом вызвала усиленное любопытство к тому, как себя ведут под водой вещи.

Водолазы рассказывали, что лучше всего сохраняются под водой металлы и мука. Мука не превращается в тесто, как можно было бы думать, а покрывается тонкой плотной коркой и может пролежать в воде десятки лет. На «Малыгине» экспедиция ЭПРОНа пекла хлеб из муки, пролежавшей в затопленных трюмах ледокола около трех месяцев.

Такая же корка, как на муке, образуется на тертых в порошок красках. Они не растворяются и не окрашивают морскую воду во все цвета радуги, а лежат в трюме совершенно сухими много лет.

Железо покрывается тонкой ржавчиной — не больше миллиметра. Ее очень легко отбить и счистить. Прекрасно сохраняются сталь, медь, бронза и свинец.

Громадные судовые машины ничуть не разрушаются. На том же «Малыгине» машины три месяца стояли в воде, но после подъема ледокола их просушили, смазали, и «Малыгин» в полный шторм вернулся на своих машинах со Шпицбергена в Мурманск.

Только цинк в морской воде превращается в порошок.

С одного из затопленных в Новороссийске миноносцев водолазы подняли торпеду. Она пролежала в воде десять лет и считалась совершенно испорченной. Ее положили на пристань. Кто-то из любопытных нажал курок от сжатого воздуха, которым работают винты торпеды. Машина торпеды заработала с

оглушительным свистом, винты завертелись, и торпеда поползла, как стальное чудовище, по деревянному пристанскому настилу.

Стекло, фарфор, дуб, красное дерево — все это сохраняется прекрасно. А чугун как бы раскисает от воды. Первые несколько часов после подъема он очень мягок, не тверже свинца, но потом снова твердеет.

Обратно в Севастополь мы шли медленно. Среди моря нас прихватила мертвая зыбь. Жаль было уходить от синих анатолийских гор, остававшихся такими же загадочными, как и раньше.

К вечеру в кают-компани «Смелого» Пеір Мухин завел патефон и поставил пластинку, поднятую со дна, с потопленного транспорта «Женероза».

Патефон хрило пел незнакомую английскую песенку. Она поразила меня отчаянием, плохо скрытым под хвастовством и наигранным разгулом. Для меня эта песня звучала, как отходная неприветливой морской жизни Запада, как похоронное пение по последним традициям каторжного парусного флота:

В черный дождь и туман
Уходил в океан
Наш фрегат
И тогда закричал капитан:
«Черт мне брат!
Вгонит в рифы тайфун,—
Все равно приплывем в Камерун!»
Наплевать!
Двадцать пять
Стариков моряков
Побожились давно,
Что нам больше тебя не видать,
Дом родимой страны,
Даль родных берегов,—
И пойдем мы ко дну
Под холодную, злую волну
Двадцать пять
Моряков-стариков
Побожились об этом давно
Нам тонуть или жить — все равно!
Нам на все наплевать
Сорок раз и еще двадцать пять!

Баранов не выносил этой песни. По его словам, она воскрешала глупую лихость, которой гордился старый флот. Невежественные капитаны, злые, как цепные псы, угрюмые матросы, жившие от жратвы до жратвы, усталые и проклинающие море, жулики арматоры — все это разрушало наивные мысли о прелести старинной морской службы.

Баранов хорошо знал моряков всех стран. Он с раздражением вспоминал прославленных английских моряков — бесстрашных и надменных. Лучшие, по его мнению, моряки были турки и французы. Но больше всего он любил наших моряков — и плярников, и краснофлотцев, и моряков торгового флота — отважных, добродушных, чувствующих свое достоинство людей. Для них героизм был не чем иным, как будничной работой.

В Севастополь мы вернулись в спокойный зимний день. Ледяной воздух покалывал горло. Из рта шел легкий пар. Цвет неба сливался с цветом серо-голубых военных кораблей. В воде ныряли бакланы.

Любопытные яличники торопливо помчались к нам, как только нос «Днепра» с единственной мачтой показался в Северной бухте.

Баранов и команда «Смелого» приготовились к граду насмешек. Но зрелище разорванного океанского парохода было так величественно, что яличники забыли о Баранове. Только на берегу один из них, самый кроткий и потому неудачливый, сказал:

— Ну и везет вам, товарищ Баранов. Опять попали в очевидцы!

Я решил поехать в Коктебель повидаться с Гартм и отдохнуть от обилия впечатлений. Оно утомляло не меньше, чем напряженная умственная работа.

Вечером я зашел к Сметаниной и там застал Зою Юнге. Она прилетела из Феодосии и через два дня собиралась лететь в Коктебель.

Я спросил ее, не может ли она взять меня с собой. Зоя тотчас же согласилась.

Это была высокая девушка. Ее рыжеватые блестящие волосы лежали волнами. Она часто встряхивала головой, чтобы привести их в порядок. Свое отношение к людям и их поступкам она высказывала решительно и резко.

ОЦЕПЕНЕНИЕ ПОЛЕТА



у,— сказала Зоя и похлопала рукавицами,— идите садитесь!

Маленький зеленый самолет трясся и гнал из-под шасси густую пыль. Сухая полынь дрожала от ветра.

Зоя подняла руку. Самолет быстро помчался по аэродрому, выходя на старт. Потом он с яростным ревом начал набирать скорость. Рев перешел в ровный звенящий гул. Земля, телеграфные столбы, стартер с белым флагом и татарская мажара, трусившая по дороге,— все это косо повалилось направо.

Горизонт падал, закатывался, а слева, за целлулоидовым окном, рядом с машиной стояло солнце. Я знал, что оно было в зените, но не удивился, увидев его сбоку и даже немного снизу под собой. Зоя легла на крыло и делала разворот над аэродромом.

Когда машина выпрямилась, Зоя оглянулась на меня и показала рукой на город.

Севастополь, пестрый от солнечных пятен, качался и дрожал под ногами, как громадная, сложная карта.

Казалось, что самолет стоит в воздухе неподвижно и трещит, как стрекоза.

Но колесо, недавно переставшее вертеться, быстро вело через бухты и город ровную линию, скрывая от взгляда кварталы и изгибы берегов.

Сверху Севастополь был оранжевым от черепичных крыш. Машина шла над ним, вздрагивая и поклевывая носом. Воздушные токи били в ее днище с резкостью кулачного удара. Зоя ела виноград.

Мы выходили к морю около Балаклавы. Каждая неровность земли под нами отзывалась на самолете. Он шел, повторяя в воздухе профиль земного пути, тянувшегося вниз. Он подскакивал, когда пролетал над холмами и насыпями, встряхивался над зарослями и проваливался в воздушные ямы над крутыми обрывами. Пол уходил вниз. Тело одну долю секунды висело в воздухе. От этого сильно болели позвонки.

Балаклаву я не видел. Ее целиком — от Кадыкоя до генуэзских башен — закрыло колесо самолета.

Жидким блеском ударило в глаза море, похожее сверху на синюю чашу с приподнятыми краями.

Самолет последний раз нырнул над ржавыми обрывами мыса Айя и ровно пошел в море.

Монотонно гудел мотор. Синий свет заполнил кабину. Мы шли без тряски и толчков, как по воздушному асфальту.

Зоя, вспомнив о моем существовании, прислала мне записку: «Налево — Байдары и Форос. Смотрите. «Земли полуденной волшебные края» (Пушкин)».

Я ответил на обороте. «Вы сильно бы волновались, если бы вам пришлось везти на самолете Пушкина?»

Зоя обернулась и утвердительно кивнула головой.

Я смотрел на бронзовые слитки гор. Они были покрыты плесенью осенних низкорослых лесов. Я думал о людях, чья жизнь была связана с этими берегами.

Черное море было верным другом Пушкина. «Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз».

Замкнутый и скупой на слова Мицкевич часами просиживал на этих берегах.

Марлинский сочинял рассказы в припадке малярии в Сухум-Кале. Гарибальди плавал на тяжелом грузовом пароходе между Одессой и Таганрогом.

Лермонтова чуть не убили около Тамани контрабандисты. Черному морю он был обязан лучшим рассказом.

Одиссей плыл на корабле «Арго» по этому гостеприимному

морю к берегам Колхиды. Марко Поло прошел по его северным берегам в глубь Азии, в царство Великого Могола.

Ученый Паллас застал здесь нетронутые гегуэзские города. Молчаливый и застенчивый грек, лейтенант Манганари, снял великолепную карту берегов этого моря.

Матрос Матюшенко поднял восстание на броненосце «Потемкин» и пересекал на нем эти воды. Здесь вырос и воспитался Шмидт. Лев Толстой в Севастополе написал первый в русской литературе правдивый рассказ о солдате.

У Каркенинского залива проходил с армией Фрунзе. Здесь красные части брали Перекоп, а партизанские отряды легендарного Мокроусова захватили Судак.

Я перебрал множество имен. Я понял, что этот густой синий дым подо мной, покрытый озерами солнечного света,— Черное море,— оставил неизгладимый след в сознании многих людей, приучил их к широким горизонтам и смелым обобщениям, породил пылливость, научил видеть, действовать и побеждать.

Но зачем думать о выдающихся людях? Тысячи рыбаков и матросов, выросших у Черного моря, дали стране, ее новой культуре много упорства, любви к свободе и веселья.

В 1920 году Красная Армия стремительно заняла Крым. В этом порыве, я думаю, немалую роль сыграло и Черное море. Оно притягивало, как мощный прозрачный магнит. Оборванные бойцы видели на этих щедрых берегах хотя и несовершенный, но ясный облик будущей страны, ради которой шли умирать,— страны солнца, свободных морей, легкого воздуха и тучных виноградников.

Мы проходили Ялту. Неподвижным каскадом белых домов она лилась в море. Ржавые парки виднелись сверху, как через волнистое стекло.

Воздух вокруг был разной плотности. Он создавал странную игру красок: то они сжимались со всех сторон — и тогда сады делались густо-золотыми, то расплывались — и золото садов едва поблескивало сквозь вечернюю дымку.

Солнце садилось на западе в равнину вод. Мы вылетели поздно. Начальник аэропорта в Севастополе даже не хотел нас выпускать.

Солнце садилось, его прямые лучи ударили в стены сиреневых гор и осветили леса, цеплявшиеся за скалы.

Зоя оглянулась и посмотрела на солнце. Над Чатыр-Дагом мы проходили уже в поздние сумерки.

Зоя вела машину напрямик через горы, стараясь выиграть время.

Нас начало болтать. С северо-востока порывами задувал ветер. От ветра машина трепетала, как лист бумаги. В кабине стало холодно и темно.

Я еще различал вдали светлую полосу моря, но внизу, в ущельях, клубилась тяжелая мгла. Будто черный

дым исполинского пожара подымался из земных глубин. Зоя оглянулась. В глубоком сумраке я увидел только блеск ее зубов. Она улыбнулась, чтобы ободрить меня. Но меня давно охватило безразличие полета — состояние, обычное на больших высотах.

Смотреть наружу не было смысла — тьма ночи находила все более густыми волнами. Так прошло около получаса.

Потом внизу проплыла горсть тусклых огней. Мы, очевидно, проходили над Судаком. По виду огней я понял, что Зоя набрала большую высоту, и догадался, что сейчас мы будем брать Кара-Даг.

«Лишь бы она не потеряла земной горизонт», — подумал я. Я пытался определить, где он находится, но это оказалось бессмысленным занятием.

Я слышал, кроме гудения мотора, еще несколько звуков. Ремень у окна трещал, как пулемет. Стекла вибрировали и издавали звон, сливавшийся в одну напряженную ноту. Ветер налетал со звуком широкого и мягкого пушечного удара. Ветер сбивал ход.

Самолет не был приспособлен для ночных полетов. Зоя осветила электрическим фонариком счетчики. Я заметил высоту — две тысячи метров.

Потом она посветила мне в лицо. Я ослеп, а она, смеясь, показала рукой в ночь, налево. Я увидел пыльное электрическое зарево — открылась Феодосия. Коктебель был в двадцати километрах перед Феодосией, — значит, мы летели где-то над аэродромом, но никаких огней внизу я не видел.

Внезапно мотор остановился. Только свист вертящегося по инерции пропеллера и гул плоскостей, идущих круто вниз, были слышны в темноте.

Зоя клала самолет с крыла на крыло. Я увидел летящие к нам из пропасти огни. Я заметил освещенную белую полосу в виде буквы «Т» — знак посадки на аэродроме, но тотчас она рванулась в сторону, огни заматались зигзагами, качнулись, рассыпались, снова собрались и под гул планирующей машины стали на свои места и сделались много ярче.

Можно было разобрать свет в окнах домов. Машина промахнула крыльями над крышами. Удар! Второй удар о землю — и мы понеслись, подсакающая и подымающая пыль, в кромешный мрак аэродрома.

Толчки прекратились, и наступила прекрасная земная тишина, — тишина ночи, полная запаха чабреца и света далеких звезд, откуда мы упали на эту милую землю.

Зоя вылезла из кабины. Я хотел помочь ей, но она засмеялась и сама прыгнула на землю.

— Отойдем подальше и покурим, — сказала Зоя. — Сейчас за нами приедут.

Далеко было слышно кряканье автомобильной сирены.

Мы закурили. Папироса освещала лицо Зои. Она сняла шлем. Глаза ее были окружены черной каймой. Она, видимо, устала. Она положила мне руку на плечо и сказала:

— Послушайте, как тихо!

Мы стояли и слушали. Безмолвие ночи простиралось вокруг. Машина тоже прислушивалась к нему вместе с нами.

— А вот с Пушкиным,— засмеялась Зоя в темноте,— я бы так не полетела

— А что бы вы сделали?

— Вернулась бы обратно в Севастополь. Там лучше садиться ночью. И ветра там нет.

Мы молчали. Звезды горели над рваными краями гор.

Вскоре подошла машина. Юноши в робах потащили самолет в ангар, за полкилометра.

Нас с Зоей машина повезла по белеющим извилистым дорогам. Далеко внизу разбегались редкие огни Коктебеля.

Через четверть часа машина остановилась у низкого каменного дома. В окнах горел свет. За живой изгородью из колючих кустов шумел прибой.

— Вот и приехали,— сказала Зоя.— Это наша берлога.

На террасе, с лампой в поднятой руке, стоял и улыбался Гарт. Лицо его было освещено лампой сверху и казалось совсем молодым. Он широко распахнул дверь в беленную мелом комнату с простой дощатой мебелью.

МАТЬ



— Ж у что,— спросил я Гарта, когда мы остались одни и легли на походные койки,— удалось вам найти материал для рассказа?

— Кажется,— ответил он.— Я встретил здесь командира корабля Нагорного. Я записал его жизнь.

— Дадите прочесть?

— Конечно,— сказал Гарт и поднялся с койки. Он достал из стола рукопись. Рассказ назывался «Мать».

«Родился я в маленьком городке Ени-Кале около Керчи. Пыльный этот и древний город лежит на берегу мутного Керченского пролива. Слово «лежит» к нему, пожалуй, больше всего подходит. Городок наполовину лежит в развалинах, заросших колючками и засыпанных битым стеклом.

Матери посылали нас, мальчишек, на эти развалины пасти худых коз. Сколько мы своей крови там оставили — трудно сказать. У меня на ногах до сих пор шрамы от этих осколков.

Народ в Ени-Кале жил скупой и небогатый — рыбаки, конопатчики да шкиперы с азовских байд. Самыми богатыми жителями были два контрабандиста — Анастас и Жора, хитрые и отчаянные греки.

Отец мой служил маячным сторожем. Маяк стоял недалеко от города, на мысу. Мыс от маяка получил название «Фонарь». Маяк давал, как сейчас помню, белый огонь с частыми проблесками.

Потом, когда отец отдал меня на рыбацью байду, бывало, идем ночью в шторм, шкипер пошлет тебя на ванты, и сиди мерзни, смотри, пока не увидишь огонь фонаря. Как только заметишь его, кричишь вниз: «Старик подмигивает!» Такая была традиция. Раз «старик мигает» — значит, мы дома. Тут же вытаскивали водку, закуску и, не дожидаясь берега, начинали пить. Пить не давали только штурвальным.

Отец у меня пил крепко, но только по праздникам. Когда напивался, бил и меня и мать. Выгонял из дому и кричал: «Я старый царский боцман и желаю свободной жизни. Хватит с вас. Заели мой век, прилипалы».

Когда отец не пил, был он унылый, неразговорчивый, очень боялся начальства. Часами молчал, рубил топором табачные корешки. Мать его не любила.

Мать у меня была слезливая женщина, бывшая керченская кухарка. Руки у нее были жилистые, с синими вздутыми венами, кривые от работы. Все ногти от стирки сошли и новые выросли толстые и горбатые.

Школу я не окончил. Отец отдал меня рыбакам. Худенький сделался, в чем только сила держалась.

Читал из-под полы. Помню, прочел «Отверженные» Гюго и несколько лет с этой книгой не расставался. Истаскал ее вконец, хотя многого и не понял.

Когда подрос, забрали меня матросом во флот, в Севастополь, но по слабости здоровья списали на берег и отправили рабочим на Морской завод. Работал я электриком.

Магросы — сами знаете — народ с искрой в голове, бывалый и вольный. Многому я от них научился.

Была война. При мне все было — и Февральская революция, и приезд Керенского, и случай с Колчаком, когда он выбросил золотой кортик в море, чтобы не отдавать его матросам, и немцы, и англичане, и денкиинцы, и Врангель. Все я перевидал и все понял.

После войны я остался рабочим на заводе. Жил я далеко от города, в Инкермане. Место пустынное. В то время там белая контрразведка расстреливала людей

Бывало, ночью слышались выстрелы, крики. Лежишь в темно-

те, до утра глаз не закроешь и ругаешь себя последним подлецом.

В комнате у меня было тепло, сверчок кричал, и так это не вязалось с убийствами, что даже не верилось. Иногда вставал и ночью выходил осторожно во двор и слушал, — ничего, только звезды полыхают над бухтой.

Но однажды зимой вышел я и слышу — стонет кто-то за оградой. Я пошел на стон. Тихо зову: «Товарищ!» Он смолк. Я выждал. Знаете, как охотники выжидают, чтобы закричал перепел. Слышу — опять стонет. Я быстро подошел, нагнулся — вижу, человек!

Втащил я его в комнату, перевязал. Две раны у него были. Раны нетрудные, но человек потерял много крови, долго полз по степи и лежал у меня без памяти. Я его спрашивал, кто он, может быть, надо что-нибудь кому передать, а он только шептал, так тихо, что я не мог ничего разобрать.

К утру он умер. Так я и не дознался, кто он. Молодой, невысокого роста, в одном белье. Никаких документов у него не осталось.

Похоронил я его ночью за огородом. Могилу копал часа три. Земля там каменистая, а рыть надо было поглубже, чтобы в случае чего не нашли. Засыпал его щебнем и завалил сухими ветками.

С севера рвалась к Севастополю Красная Армия. У белых начинался, как тогда выражались, «вселенский драп», иначе говоря — паническое бегство.

Контрразведка погрузилась на транспорт «Рион». Он стоял у пристани в Южной бухте.

Я и двое товарищей решили действовать. Достали адскую машину. Принесли в мастерскую, чтобы припаять запалы. Бывший минер Мартыненко, тот, что во время восстания на «Очакове» командовал миноносцем «Свирепый», — маленький старик, простая душа, — стоял у двери, следил, чтобы никто не вошел, и бил кувалдой по прожектору — делал театральный гром. Искалечил прожектор вдребезги.

Запалы припаяли. Я переоделся в матросскую робу и пошел на «Рион». Шел спокойно.

«Рион» собирался отваливать.

Я протопал по трапу мимо караульного офицера. Поставил адскую машину в рундук около кочегарки. Никто не заметил. Машина была заведена на четверть часа.

За четверть часа надо было выбраться с парохода. Я решил действовать осторожно, в крайнем случае остаться на «Рионе» и взорваться вместе с контрразведкой. У меня не было часов, и я все время про себя считал до девяноста. Адская машина должна была взорваться через девятьсот секунд. Этот счет очень помог мне. Я так им был занят, что почти не волновался.

На двести двадцатой секунде я подошел к трапу, на двести

тридцатой офицер сказал мне: «Ты куда лезешь, сукин сын! Сейчас отвал». Я показал ему на какую-то женщину на пристани: «Вон маруха моя стоит, принесла папирос на дорогу. Разрешите сбежать на две минуты». Он говорит: «С такой и за минуту успеешь управиться. Вали!»

На двести сороковой секунде я был за пакгаузом, а на трехсотой — уже наверху, в Пушкинском сквере. Женщина эта, между прочим, оказалась известной в Севастополе сумасшедшей старухой. Ходила она покрашенная и говорила по-французски.

Просидел я на сквере остальные шестьсот секунд. Выкурил за это время десять папирос. «Рион» отвалил, но взрыва не было.

У меня похолодело под горлом, — неужели мы ошиблись с машиной? Начал вспоминать по порядку, как мы ее заряжали и ставили запалы, — и в это время ударил взрыв. В прибрежных домах вылетели стекла. «Рион», весь в пару, осел на левый борт и начал тонуть. Почти никто с него не спасся. Так я свел короткий счет с контрразведкой.

Красные продержались недолго. Снова пришли белые. Кое-кто знал, что я взорвал «Рион», и мне пришлось бежать от расстрела.

Я пешком пробирался в Ени-Кале. Думал, что там легче укрыться. Весь Крым был под белыми.

Шел я горами, по Яйле. Идти было трудно, порою невыносимо. Известняк покрыт большими воронками и трещинами, и я сбил себе в кровь ноги. Изредка я замечал на вершинах татарчабанов с отарами овец, но обходил их из-за собак. Горные овчарки разорвут в клочья.

Шел три дня, пока вышел к Коктебелю. Два дня я ничего не ел, раны на ногах горели, и я ругался от боли.

Пришел в Коктебель и понял, что дальше идти не могу. Зашел к болгарам-крестьянам. Хмурый народ. Женщины и даже девочки носят у них все черное, как траур. Молодой болгарин дал мне напиток солоноватой воды и сказал:

— Здесь не дело ни сидеть, ни ночевать. Увидят солдаты — всем будет каюк. Иди к Максусу.

Я спросил, кто такой Макс. Болгарин ответил, что Макс — хороший человек. Только он один может меня спрятать в Коктебеле.

Так я попал в дом к поэту Максимилиану Волошину. Все его звали Максом.

Встретил меня низенький бородатый человек, посмотрел на мои ноги, ничего не спросил и сказал: «Иди скорее за мной». Отвел меня в укромную комнату, а сам ушел. Через несколько минут пришла женщина и перевязала мне ноги. Меня накормили. Я уснул и проспал около суток.

На следующий день Волошин опять пришел и сказал, чтобы я ничего не боялся: у него в доме белые не посмеют меня тронуть.

На десятый день я собрался идти дальше, в Феодосию. Ноги зажали, боль прошла. Волошин проводил меня до половины дороги. Он дал мне письмо в город к одному художнику с просьбой мне помочь. Я поблагодарил его. Мы расцеловались. Он долго стоял и смотрел мне вслед.

Больше я его не встречал. Только теперь, через пятнадцать лет, я пошел на его могилу в сухих горах и принес на нее с морского берега несколько гладких зеленых камней. Мне передавали, что Волошин просил его могилу засыпать морскими камнями.

В Феодосии я пробыл два дня у художника. Спал в его мастерской за неоконченными картинами, как за ширмами.

Художник — старый поляк, человек сухой и молчаливый, — меня почти не заметил. Только при первой встрече он проворчал:

— Мне совершенно все равно, кто вы и почему скрываетесь. Мне нет никакого дела до офицеров и большевиков. Все вы мешаете людям работать.

— Если я мешаю, то уйду, — ответил я и пошел к двери.

— Если вы выйдете раньше, чем я вам позволю, — сказал он, — то я сейчас же пойду в контрразведку и донесу на вас. Поняли?

Через три дня он так же на ходу, не отрываясь от работы, сказал мне:

— Теперь можете убраться.

Я ушел. Вскоре я узнал, что в городе рыскала по улицам отчаянная офицерская сотня и выйти было невозможно. В тот день, когда художник меня выгнал, сотня ушла в Симферополь.

Голодный, с избитыми ногами, я добрался наконец до родного городка, до отцовского дома.

В каменоломнях под Керчью в то время сидели, как звери в норе, два партизанских красных полка. Белые выкуривали их оттуда ядовитыми газами и замуровали входы в пещеры.

Время было опасное.

Дома меня встретила мать. Заплакала и села на лавку.

Я осмотрелся кругом, и тоска вошла в сердце, как болезнь. — Пусто, голодно, тараканы шуршат под обоями, а за оконцем все те же хибарки с побитыми стеклами, ходят оборванные старики, и ветер несет и несет с севера белую пыль.

— Где папаша? — спрашиваю мать. — И дайте мне чего-нибудь поесть. Двое суток я иду голодный.

Она собрала мне поесть — соленую камсу с коркой хлеба. За едой я рассказал, что мне надо скрываться. Она дрожит и утирает платком глаза. Куриная слепота у нее была, должно быть, — глаза все время слезились.

В то время я пожалел, что вернулся домой. Но делать было нечего. Я остался дожидаться отца.

Отец пришел к вечеру — весь в глине, злой и усталый. Поздоровался, посмотрел на меня и молча сел на лавку. Мать

принесла керосиновую коптилку, поставила на стол. Отец задул ее и все сидит, молчит в темноте. Потом сказал хрипло:

— Дура баба, как индюшка. Лампой может нас выдать. Тебя кто-нибудь видел?

— Не знаю.

— От белых у отца решил схвататься?

Я смотрел на него, и у меня все тяжелее становилось на сердце.

— Поживешь — узнаешь. Господа офицеры каждый день на работу гоняют. Маяк теперь не горит.

— Окопы роете?

Отец молчит. Мать меня толкает в спину, — отцу в темноте не видно. Тут я догадался, что отец ходил замуровывать ходы в каменоломни. Я ничего не сказал, но решил утром уйти из дому. Голова болела от обиды за людей.

— Пулеметы на нас наведены, — сказал отец. — Под пулеметами работаю. Ты бы ложился спать, Андрюша.

Сказал он это ласково, и я чуть тогда не заплакал. Должно быть, перетерпел много и не ожидал от отца такой сердечности.

Разделся, лег и уснул. Сколько проспал — не помню. Ночью кто-то меня дергает за плечо, плачет надо мной, просит проснуться. С трудом открыл глаза. Тьма, ничего не видно. Слышу — мать шепчет:

— Андрюша, вставай. Вставай, Андрюша, смерть за тобой идет.

— Что такое?

Мать не может говорить, дыхание у нее спирает.

— Старик, — говорит, — куда-то пошел ночью. Как бы не было беды, Андрюша. Одевайся. Я проведу тебя до Анастаса. Он верный человек. Он — друг, не обманет.

— Куда пошел папаша? — спрашиваю ее.

Она трясется, молчит.

Я быстро оделся. Мать накинула дырявый платок, и мы пошли из дому. В жизни не видел я такой ночи. Ветер бьет злым снегом и галькой в лицо. Тихо в городке — все собаки подошли от голода. Темно — не видно своей руки.

Потом слышим — идут! Я втащил мать за рукав в какой-то двор, за ворота. Прошли.

— Это они, — говорит мать. — Винтовками брякают. И старик с ними. Я его шаг хорошо знаю.

Анастаса я помню еще с детства. Был он грек из города Воло. Человек отважный и верный, старый контрабандист.

Я ему сказал:

— Надо бежать на тот берег пролива, в Тамань. Перевези, будь человеком.

— Скольких?

— Вот нас двоих — меня и мать.

— А старуху зачем?

— Надо.

— Едем,— говорит Анастас.— Минут пять назад «они» тут прошли. Время горит. Айда на берег! Денег твоих мне не надо.

Мать стоит в стороне и плачет. Я хотел ее успокоить, говорю:

— Не плачь, мамуся. Все, даст бог, обойдется.

Ради нее я бога помянул. А она мне отвечает:

— Не сердись на меня, Андрюша. Один ты у меня на свете, и ради того я с тобой не поеду.

Я ее, признаться, не понял. Анастас меня торопил. Ждать было нельзя. Мы кинулись на берег, к дощатой пристани. Я обнял мать и соскочил в шлюпку. Отчалили.

Ветер. Человеческого голоса не слышно. Но все же мне почудилось, что на берегу кто-то не то стонет, не то плачет. Догадался, что это мать, но не до того было — пришлось грести что есть силы.

Я гребу, а Анастас сидит на руле. Отчаянный был моряк. Ночью нюхом все знал. Одного только боялся — чтобы не попасть под «фонарь», — так рыбаки называли прожектор с белого миноносца, сторожившего пролив.

Но «фонаря» не было видно. Белые были уверены, что в такую ночь никто не решится удирать на тот берег.

Минут через десять с нашего берега ударило несколько выстрелов. Тотчас же лег на воду огонь прожектора с миноносца. Он медленно полз по горизонту, и тут я увидел, в какую штормовую ночь мы вышли,— пролив был седой от бурунов.

— Ложись! — крикнул мне Анастас.— Ложись, зараза! Пропадешь из-за своей головы!

Мы легли на дно лодки. Дымящийся свет осторожно подходил к нам, и Анастас шепнул мне:

— А ну, как буруном нас на счастье закроет? Шлюпка моя белая, пена белая,— может, беляки не увидят.

Но в ту же минуту уключина вспыхнула и засверкала. Свет остановился на шлюпке. Он дымился и качался вместе с волнами.

— Труба! — крикнул Анастас и вскочил.— Нашупали! Сидай на весла, Андрюха, и греби, пока душа в тебе держится.

Я греб и стонал от напряжения. Я ослеп. Свет бил в лицо, пришлось грести с закрытыми глазами.

Глухо хлопнул один выстрел, потом второй, третий. Пуля звякнула об уключину и рикошетом ударила в плечо. Я сполз на дно шлюпки, где плескалась нефтяная жижа.

Анастас пересел на весла. Он греб бешено. Воздух свистел в его зубах.

Наконец высокая волна закрыла нас, и стрелять перестали. Потом на луч прожектора напозла черная тень. Это был давно погасший плавучий маяк у таманского берега. Мы спрятались за ним и ждали, пока прожектор уйдет в сторону. Кровь текла у

меня по спине. Я не чувствовал боли, но не мог пошевелить рукой.

Шлюпка ткнулась носом в берег. Анастас помог мне выйти на мокрый песок. Он дал мне кусок хлеба, махорки и спичек, завязал оторванным рукавом рану и исчез в темноте. Он даже не попрощался со мной. Я не успел его поблагодарить.

Я забился в кусты и пролежал до рассвета.

Начало светать. Я пошел по пескам к обрывистому берегу. С трудом я доковылял до одинокого рыбацкого дома и постучал в ставню. Мне было безразлично, кто живет в этом доме,— лишь бы меня пустили в тепло, к печке, дали уснуть.

Дверь отворилась, и на крыльцо выбежала девушка в теплом платке и сапогах. Она вскрикнула и прижалась к косяку. Я, должно быть, выглядел очень страшно в рваной рубаше, с окровавленной перевязкой, синий и промокший.

— Откуда вы это? — спросила девушка громким шепотом.

— Из Керчи.— Я показал на пролив. Там в осеннем грязном воздухе чернели керченские горы.

Я сел на ступеньку и потерял сознание.

Пришел я в себя в белой комнате с низким потолком и тусклыми оконцами. В печке трещала солома. Пахло ржаными лепешками. От этого запаха сводило челюсти.

Были слышны два голоса — женский и мужской. Мужчина говорил, что меня надо проводить до Темрюка, а оставлять здесь опасно. Женщина упрямо повторяла одно и то же:

— Нехай остается. На человеке лица нет,— пусть передохнет.

Девушка настояла на своем — меня оставили. Девушка — звали ее Настя — все поглядывала в степь и прятала меня, как только вдали появлялся человек. Отец ее, рыбак, ворчал на меня за мою молодость. По его мнению, это был мой самый великий грех.

Старик рыбачил около Тамани и занимался мелкой торговлей. Он открыто плавал в Керчь и возил туда сахарин, водку и пшеничные коржи. Из Керчи он приезжал трезвый, с кисетом, набитым деникинскими «колокольчиками».

До революции старик был сторожем Англо-Индийского телеграфа. Теперь от этого телеграфа в степи торчала вереница невысоких чугунных столбов. Все провода были срезаны.

Настя была девушка очень капризная и застенчивая. Со мной она не разговаривала. Подавая мне обедать, она швыряла тарелки и без причины краснела.

Когда я оправился, старик, ругаясь на чем свет стоит, отвез меня в Темрюк, потряс на прощанье руку, сунул в карман денег и наказал не позже чем через год возвращаться и не морочить дочери голову. Я был далек тогда от мыслей о девушках и женитьбе, но слова старика запомнил.

Хотя и не через год, а гораздо позже, я вернулся в Тамань. Теперь Настя — моя жена.

Во время этого возвращения я узнал от Анастаса о смерти матери и отца.

Мать в ту ночь вернулась и застала в доме отца с юнкерами из «батальона смерти». Она рассказала им, что ночью я вскочил, оделся и ушел в степь, в сторону Ак-Маная. Она якобы провожала меня до околицы. Юнкера дали несколько выстрелов в степь, арестовали мать и увели. Старушка просидела в тюрьме месяц и умерла от сыпняка.

— А отец? — спросил я Анастаса.

Он замялся.

— Погиб он вскорости после этого случая. Угонул на рыбной ловле.

— Как утонул?

— По делам вышла и смерть, — неохотно ответил Анастас. Он сделал вид, что не слышит моего вопроса.

На этом оборвалась прежняя жизнь. Я попал в Балтийский флот, окончил школу командного состава и теперь командую кораблем.

Я человек без всяких предрассудков, бывал в боях, но от одного предвзятого настроения никак не могу избавиться. Ругаю себя за это сильно. Не люблю Керчь и Ени-Кале и ни за какие блага туда добровольно не поеду. Хоть отдавайте меня под суд!»

КАРА-ДАГ

Красота этого зрелища наполнила душу восхищением и ужасом

Джемс Кук



М рачный болгарин предложил купить у него коллекцию коктебельских камней. Я было согласился, но Гарт отговорил меня. Он уверял, что мы сами можем набрать еще лучшую коллекцию за один день, стоит только съездить в Сердоликовую бухту около Кара-Дага.

Болгарин клялся, что ничего не выйдет, — у нас нет верного

глаза и мы не знаем тех мест, куда море выбрасывает самые красивые камни.

Я давно слышал, что берега Коктебеля славятся камнями, но не думал, что их так много. Я брал на берегу горсть камешков, пересыпал их на ладони и почти всегда находил несколько халцедонов, сердоликов, горных хрустелей и зеленых камешков, покрытых разноцветными слоистыми кольцами и носивших название ферлямпиксов.

Особенно много было серого мрамора и зеленого малахита с белыми и черными жилками. Они создавали на камнях удивительные пейзажи — утесы, прибои и цепи гор.

Часто попадались камешки с тончайшими рисунками растений, напоминавших папоротники.

Больше всего камней я находил на кромке прибоя после бурь. На поиски камней надо было выходить рано, как на охоту и рыбную ловлю. К полудню болгарские дети уже выбирали все самое ценное.

В Сердоликовую бухту мы поехали на шлюпке в первый же тихий день. С нами поехала Зоя.

За первым мысом на нас дохнуло застоявшейся теплотой, а под стеной Кара-Дага мы вступили в давно забытое и далекое лето.

Это было самое теплое место в Крыму. На морских побережьях меня поражала резкая смена холода и тепла на расстоянии каких-нибудь десяти километров. Горные хребты пересекали приморскую страну и делили ее на маленькие области. Каждая из них обладала своей растительностью, климатом и пейзажем.

Я впервые увидел Кара-Даг.

Величие этого зрелища могло сравниться только со зрелищем Сахары, неизмеримых рек, беснующихся океанов, громадных водопадов мира и разрушительных извержений.

Я увидел окаменелое извержение, поднявшее к небу пласты земной коры.

Могучие жилы лавы вздымались столбами из зеленых морских глубин и останавливали далекие облака.

Море не набегало волнами на каменные стены, а вспухало и медленно подымалось вверх, заливая с гулом пещеры. Потом оно так же медленно уходило вниз, как бы падало в пропасть.

Из пещер вода выливалась шумными, пенистыми водопадами, выносила в водоворотах водоросли, медуз и высасывала острый воздух подземелий, уходивших под многие миллиарды тонн окаменелой магмы.

Я впервые ощутил головокружение не от взгляда вниз, а от взгляда вверх. Облака проплывали над кручами. Под облаками парили орлы.

Головокружение носилось, как испуганная птица. Всюду, куда бы мы ни смотрели, оно подстергало нас, и мы потеряли черту земного горизонта.

Гарт подвел шлюпку ко входу в пещеру. В ней, по словам Зои, совсем недавно нашли ящик со старым серебром. В глубине пещеры, на выступах, куда не доставала волна, белели кости. Мы не могли к ним подъехать, но нам показалось, что это человеческие черепа. Мы попали в бывший приют контрабандистов

Вся местность вокруг была полна дикости и величия. Это придавало ей таинственность, от которой у детей пересыхает горло, а у взрослых появляется на лице выражение суровости и восторга.

Стены Кара-Дага смыкались, образуя тесные бухты,— не полукруглые, как обыкновенно, а стиснутые плоскостями гранита многоугольники разнообразных размеров и форм.

В одной из таких бухт мы и качались на своей желтой шлюпке. Она казалась ничтожным осенним листом, заброшенным ветром к подножию нависавшей над морем черной громады.

С большим риском Гарт подвел шлюпку к отвесной стене, отполированной прибоем, и мы заглянули в воду.

Гранит уходил в морские глубины так же отвесно, как и подымался вверх. Водоросли держались в расщелинах. Они то тихо вытягивали, то прятали зеленые руки, пытаясь схватить стаи пугливой рыбы. Падение каменных стен в воду было настолько крутым, что крабы с трудом удерживались на них. Они беспомощно растопыривали клешни и срывались в глубину от каждого ничтожного колебания волны.

Вода в бухте казалась покрытой слоем темного оливкового масла. На ней не было ни малейшей ряби. Самый ее глухой цвет, тяжесть и вместе с тем прозрачность давали представление громадной глубины.

Со стороны моря бухта была заперта двумя скалами. Они сомкнулись лбами, но их подошвы далеко разошлись и образовали большую арку. Там жило громкоголосое многократное эхо. Когда мы проходили под аркой, то плеск весел превратился в пенистый шум эскадры гребных судов. Это придавало любому звуку громовый оттенок. Гарт кашлянул. Сухой кашель курильщика эхо превратило в оглушительный звук канонады, будто от скал отскакивали полые бронзовые ядра.

В бухте Зоя крикнула. С далекой вершины сорвался камень. Мы слышали, как зарождалось его падение, как он шелкал по выступам скал и со свистом пули врезался в воду.

Бухта походила на глубокое озеро в кратере вулкана. В прорезь арки была видна пена волн на подводных рифах и стаи чаек, бивших крыльями по воде. В бухту чайки не залетали.

Около пещеры мы заметили стаю бакланов. Они качались на воде, вытягивая черные головы на длинных гусиных шеях.

Стены Кара-Дага были во многих местах рассечены от вершины до поверхности моря прямыми трещинами. Иные утесы

стояли одиночными колоннами, высотой в сотни метров. Было непонятно, почему они не обрушиваются от малейшего колебания воздуха.

Кара-Даг еще недавно был действующим вулканом. Он провал нагромождения геологических пластов, лежащих над жидкой земной магмой, вспучил их, раздвинул и поднял над морем.

Мы рассматривали сотни горных пород, то завязанных в узлы, то падавших волнами, то свисавших квадратными плитами, похожими на броню дредноутов. На одной из стен Кара-Дага был виден кратер, залитый лавой. В толще окаменелой магмы сверкали жилы сургучного сердолика.

Вода в бухте отражала скалы. Цвет их был суров, но не однообразен. Скалы были черные, красные и желтые, как охра. Изредка их перерезали пласты зеленых, белых и синеватых пород. Но у всех этих красок было общее свойство — их покрывал сизый налет, свойственный окалине. Очевидно, это были следы космического огня и пепла.

Зоя рассмотрела у подножья одной из стен небольшую каменную площадку, занесенную песком и ракушками. Мы пристали к ней на шлюпке и вышли.

Зеленоватый сумрачный воздух, наполненный солнечным дымом и желтыми отсветами скал, струился над нами. Безмолвие каменного хаоса скрывало смертельные опасности обвалов. От каждого резкого звука мы вздрагивали и смотрели вверх, где небольшая туча стояла, уткнувшись влажным лбом в глыбы гранита.

В сотый раз я пожалел, что не родился художником. Надо было передать в красках эту геологическую поэму. В тысячный раз я почувствовал вялость человеческой речи. Не было ни слов, ни сравнений, чтобы описать могущество кратеров, дыхание моря, влитого в их пропасти, крики орлов и тысячи малейших ласковых вещей — всплесков воды, прозрачных струй, солнечных зайчиков и нежнейших водорослей и медуз, сообщавших величавому пейзажу оттенок простоты и безопасности.

Не было слов, чтобы передать изгибы бухт, затененные углы, гроты, выстланные черным блеском и светлой подводной травой, темную прозрачность волн, качавших далеко внизу спины серебряных паламид, и, наконец, луну, видную снизу даже днем и похожую на клубок розового пара, замерзшего в холоде недостижимых высот.

Все это надо было зарисовать и перенести на сотни полотен. Но как не было слов, так не было и красок, чтобы передать торжественность и прелесть этих мест.

Как передать на полотне отражение, имеющее глубину и объем, но вместе с тем не имеющее ничего, кроме непрерывной игры световых и красочных частиц!

Как передать амфитеатры черных гор, замыкающих полукругом неподвижный розовый день!

Здесь нужно было соединение всех человеческих усилий, содружество талантов, все средства красок, света, слов и звуков. Да, звуков, потому что тишина этого вулканического цирка была совсем не беззвучна. Сквозь нее сочилось едва заметное звучание, должно быть похожее на то жужжанье планет в мировом пространстве, о котором писали эллины.

Очень долго над Кара-Дагом не решались пролетать планеристы. Нужно было большое мужество, чтобы выдержать толчки мощных воздушных потоков, рвущихся из теснин этой горы.

Первый планер разбился в одной из бухт. Видел его падение поэт Максимилиан Волошин — певец и старожил Коктебеля. Он послал к Кара-Дагу рыбаков, и они нашли спасшегося планериста. Он цеплялся за незаметные выступы отвесной скалы. Если бы помощь запоздала на несколько минут, планерист сорвался бы со скалы и утонул.

Мы отъехали на шлюпке к скалам, кое-как привязали себя к одной из них и занялись рыбной ловлей.

Шнур провисал до самого дна, как лот, и туго дрожал от подводных течений. Изредка резкий удар давал знать, что взяла рыба.

Зоя вытащила громадную камбалу — палтуса, диковинную рыбу с глазами на спине. Она шла тяжело, покачиваясь и перебирая плавниками. Зоя хохотала.

Начался азарт. Я подсек большую султанку. Эта серебряная рыба с огромными глазами, когда ее вытаскиваешь из воды, покрывается пурпурными пятнами.

Гарту не везло. Он таскал только крабов. Они бегали боком по шлюпке, прятались под решетчатый пол и смотрели оттуда на Гарта яростными глазами, то выдвигая их, то пряча, как театральные бинокли.

Гарт схватил одного за спину и, морщась от папиросы, показал мне и Зое его мощные клешни. Одна клешня была приспособлена для раздавливания, другая для того, чтобы хватать.

Гарт дал крабу зажать клешней лапу маленького железного якоря-кошки и поднял краба. Краб с грохотом потащил за собою якорную цепь. Гарт рассказал, что краб может держать в клешне тяжести, в тридцать раз превышающие вес его собственного тела.

Только в конце ловли Гарту повезло больше всех. Он вытащил морского петуха — черную рыбу с двумя громадными плавниками лазоревого цвета. Плавники по величине напоминали крылья.

За рыбной ловлей Зоя рассказала нам о гибели француза Бертело.

Этот французский турист приехал в Крым, чтобы осмотреть кипарис, посаженный Пушкиным в Гурзуфе, скалы «Дива» и «Монах», водопад Учан-Су, а заодно и другие, затасканные обывательским любопытством «прелести юга».

Гарт перебил Зою. Он заметил, что нигде в Союзе он не встречал такого количества пошлых открыток, картинок и описаний красот, как в Крыму.

Гарт предложил беспощадно выгнать из Крыма бродячих фотографов — главных распространителей дешевого вкуса. Это они снимают жирных бухгалтеров в обвисших трусиках рядом с девственными цветущими магнолиями, а хихикающих и кривоногих девиц заставляют обнимать спокойные и торжественные статуи Диан и Нерейд.

Выслушав Гарта, Зоя окончила свой рассказ о Бертело.

Этот француз, учитель географии, устал от тубетеек, кизилых палок с рогатками и коробок, облепленных раковинами и называющихся почему-то «Привет из Ялты». Он устал от ялтинской толпы, слоняющейся по набережной с упорством маньяков. Кто-то посоветовал ему отдохнуть от Ялты в Коктебеле.

Бертело приехал туда. Он был поражен тем, что попал из сусальных курортов в сухость и простор, напоминающие Македонию. Красные маки цвели в шиферных горах. Суровые горы, небо, сухая трава, воздух и море — больше в Коктебеле ничего не было.

Но сильнее всего Бертело поразил Кара-Даг. Он проводил целые дни у его подножия. Он, смеясь, говорил, что заболел неизлечимой болезнью, носящей название «карадагизм».

Через год он снова приехал в Коктебель. Ему хотелось обязательно проникнуть на Кара-Даг с суши. Это предприятие считалось невозможным, но Бертело все же поднялся на Кара-Даг.

Был сильный ветер. На одной из остроконечных вершин на Бертело напали горные орлы. Отбиваясь от них, он потерял равновесие и упал в пропасть. Тело его нашли не скоро.

ГОРНАЯ РОСА



М из Коктебеля в Старый Крым вела заросшая почтовая дорога. Она шла в ущельях, покрытых дубовым кустарником и буковым лесом.

Лес уже опадал. Колеи были засыпаны рыжими листьями. Кое-где еще цвели маленькие желтые одуванчики, но вся

трава уже высохла. Черные стволы буков обвивал свежий плющ. Его зеленые листья перемешивались с багровой осенней листвой. Казалось, что на плюще сидят сотни красных бабочек.

Мы с Гартom пошли в Старый Крым, за восемнадцать километров от Коктебеля, чтобы посмотреть развалины первой столицы Крыма — Солхата. Они еще сохранились в Старом Крыму.

Маленький белый город лепился на последних отрогах Крымских гор. Вековые ореховые деревья протягивали черные ветви над черепичными крышами. У подножия деревьев сидели сонные старики. Они торговали овощами и дешевыми феодосийскими папиросами.

Листья ореха лежали на земле гусклыми зелеными пятнами. Редкие прохожие давили их чувяками. Тогда острый запах возникал в тени вянущих деревьев и долго не исчезал.

Старый Крым был пустынен. Он напоминал нашу русскую деревню во время покоса, когда в избах остаются одни младенцы и старики. Мы долго бродили по улицам, где, кроме собак и созревающего шиповника за оградами, никого и ничего не было.

Гора Агармыш бросала синий отсвет на заброшенный город.

Мы искали развалины Солхата и наконец нашли. Они были печальны и запущенны. Разбитые надгробья тонули в бурьяне. К надгробьям кто-то привязал несколько старых коз с желтыми глазами.

На развалинах мечети мы встретили черного человека и двух рабочих-татар. Татары лениво разгребали щебень широкими лопатами и звенели ими о камни.

Мы подошли и увидели неглубокую яму. В ней лежала старинная гончарная труба, покрытая пылью.

Черный человек оказался очень словоохотливым. Он вовсе не был археологом, производившим раскопки, как предполагал Гарт. Он назвал себя мелиоратором, работавшим над разрешением сложной задачи об орошении восточного Крыма. Фамилия его была Левченко.

Он сразу же заговорил с нами как со старыми знакомыми и остался очень доволен тем, что мы пришли в Старый Крым только для того, чтобы побродить по этим древним местам.

— Уважаю любопытных людей, — сказал Левченко и тут же вызвался показать нам город. Гарт поморщился. Он не выносил попутчиков и боялся их назойливых разговоров. Но делать было нечего, и мы согласились.

Левченко отпустил рабочих. Мы пошли за город, в сторону Агармыша. Холмы вокруг были покрыты множеством засохших цветов, еще не утративших запаха.

Из разговора с Левченко выяснилось, что он был человеком того склада, когда профессия, вопреки обычному положению вещей, ничего не говорит об умственном уровне и круге интересов.

Это был человек вне профессии, или, вернее, человек, умеющий вокруг своей профессии объединить много интересных познаний, мыслей и выводов, как будто и не связанных непосредственно с его основным делом.

Мне приходилось встречать моряков, умеющих извлечь много любви к своему делу из знакомства с живописью, и художников, обогативших живопись благодаря знакомству со спектральным анализом и метеорологией.

Только ум, умеющий проследить неразрывную связь на первый взгляд несовместимых явлений, может создавать большие ценности.

Левченко не был археологом, но случайно в запылившемся докладе давно умершего ученого он прочел, что во время раскопок в Солхате, в восточном Крыму, были найдены разбитые гончарные трубы.

Левченко знал, что в средние века Солхат считался одним из самых цветущих городов Востока. Одно время Солхат соперничал с Багдадом и Дамаском. Он был окружен богатыми садами.

Сами собой напрашивались выводы. В Солхате было большое население, много садов, и поэтому город не мог жить без обильной и хорошей воды. Значит, вода была и исчезла только в последние времена.

Откуда же ее доставали?

Гончарные трубы говорили о существовании древнего водопровода. Они давали возможность раскрыть загадку, погребенную под пылью многих столетий.

Левченко приехал в Старый Крым и занялся изучением этой каменистой земли.

Он увеличил на одного человека число чудаков, копавшихся на развалинах мечетей, и число стариков кладоискателей.

Почти все население Старого Крыма занималось поисками кладов. Звон лопаты о пыльный металл или мраморную капитель колонны, гулкий стук, свидетельствующий о наличии подземных пустот,— все это волновало Левченко не меньше, чем опытных археологов и стариков кладоискателей. Разница была лишь в том, что старики искали золотые монеты, а Левченко — никому не нужные гончарные трубы.

Левченко проследил подземные пути труб. Они шли на Агармыш и на соседние сухие горы, где не было ни одного источника пресной воды. На вершинах гор трубы упирались в разрушенные каменные бассейны, засыпанные галькой.

Тогда Левченко догадался: Солхат собирал и пил горную

росу. Она оседала на гальке, конденсировалась на ней во время переходов от ночного холода к жарким дням и стекала на дно каменных бассейнов. Оттуда по трубам роса струилась в мраморные городские фонтаны.

— Вы представляете,— сказал Левченко,— какую вкусную и душистую воду пили в Солхате!

По лицу Гарта я видел, что от его раздражения против непрошеного попутчика не осталось и следа.

Открыв эти бассейны в горах, Левченко занялся изучением росы. Ее выпадало так много, что она могла дать воду не только Старому Крыму, но и всем окрестным полям и садам.

По словам Левченко, уже сейчас можно было получать росу из некоторых старинных цистерн. Нужно было только их расчислить и починить.

Мы вошли в редкий буковый лес на склонах Агармыша. Палый лист всех цветов — от лимонного до черного и от серого до пурпурного — лежал на траве, мокрой от крупной росы.

Синие тени деревьев придавали игре красок, рассыпанных по земле, необыкновенное разнообразие.

Весной окрестные леса тонут в непроходимой чаще цветов — в бересклете, крушине, боярышнике, маках, подснежниках, ландышах и аруме. Весной в Старый Крым привозят больных и лечат их ваннами из целебных трав и цветов.

Гарт остановился. Он снял шляпу и дышал теплым воздухом леса.

— Я сваял дурака,— сказал он мне и засмеялся.— Я согласился написать для Юнге рассказ о боре. Старик надеется, что это поможет осуществить проект о туннелях под хребтом Варада. Теперь же мне хочется заняться росой. Это мне больше по душе,— космические вещи меня пугают.

— А вы сделайте и то и другое.

— Придется,— вздохнул Гарт.

Но космические вещи продолжали преследовать Гарта. Левченко рассказал о двух проектах орошения Крыма. По одному проекту предполагалось перегордить узкий Керченский пролив плотиной, чтобы закрыть прилив в Азовское море соленой черноморской воды. Через несколько лет Дон и Кубань превратили бы это море в пресное озеро, а сеть насосных станций и каналов оросила бы азовской водой степной засушливый Крым. Этот проект был отвергнут. Был принят проект, по которому часть вод Днепра по каналам пойдет от Каховки в крымские степи. Но осуществление этого проекта еще не началось.

И, разогнав крутые волны дыма,
Забрызганные кровью и в пыли,
По берегам широкошумным Крыма
Мы красные знамена пронесли

Эдуард Багрицкий



Мы вернулись в городок и зашли в маленький ресторан. Кроме нас, никаких посетителей не было, если не считать старого пса-крысолова. Он деликатно открыл дверь лапой и разлегся у наших ног. Он вздохнул и искоса поглядывал на нас, как бы спрашивая, когда мы наконец перестанем говорить. Говорили не мы, а один Левченко.

Кофе наш остыл. Заведующий рестораном — татарин — уснул за стойкой.

— Впервые я столкнулся с археологией очень диковинно, — рассказывал Левченко. — Это было в Керчи, в тысяча девятьсот девятнадцатом году, при белых.

Я вернулся из германского плена, пробирался к себе на родину, в станицу Тихорецкую, и застрял в Крыму. Отец мой был машинистом на Северокавказской дороге.

Я вступил в знаменитые партизанские отряды Евгения Колдобы. Действовали мы на Керченском полуострове и все время тревожили белых.

Тогда Крым был уже отрезан от севера. Дрались мы на свой страх и риск. В конце концов белые загнали нас в керченские каменоломни.

Под Керчью и горой Митридата переплетаются сотни подземных ходов, выбитых в желтом известняке. Они образуют лабиринт на многие километры. Никто, кроме бродяг, прятавшихся в этих подземельях, и археологов, их не знает. Керчь стоит на земле, ноздреватой, как губка.

Каменоломни всегда наводили страх на керчан — в них скрывались бандиты. Их там не могли разыскать годами.

Выходов из подземелий было много. Можно было спуститься под землю в Керчи, а выйти в степи за пять-шесть километров от города.

Керченские подземелья создавались столетиями. Их называют каменоломнями, но это не совсем точно. Сначала это были

катакомбы первых веков христианства, подземные убежища еще более ранних времен, а потом камешоломни и штольни, вырытые для раскопок. Все это слилось в один подземный город.

Нас загнали в камешоломни около Аджимушкая.

Мы пытались делать вылазки, но белые постепенно замуравывали вход за входом. Незамурованные входы они оплетали колючей проволокой и ставили вблизи пулеметы.

При каждой попытке прорваться они поливали подземелья пулями и забрасывали ручными гранатами.

Мы сидели в темноте, почти без воды и света. Нефть мы берегли для факелов на случай переходов по катакомбам и вылазок. Обыкновенно горели у нас копилки.

Я сказал слово «обыкновенно» и понял, насколько оно не подходит к тому, что происходило с нами. Все это было совсем не обыкновенно, а страшно и почти неправдоподобно.

Копилки освещали трупы товарищей, умерших от ран и сыпняка.

В нескольких местах вода капала со стен. Это было единственным нашим спасением. Запасы черствого хлеба иссякали.

Первые дни мы потратили на то, чтобы отделить раненых и больных. В одной из катакомб мы устроили подземный лазарет.

Заведовал им единственный среди нас ученый человек, археолог Назимов — худой и бледный заика. Он носил желтые очки. Мы даже находили в себе силы смеяться над его очками. Он не снимал их, несмотря на полную темноту катакомб.

Назимов болел страшной болезнью — тромбозом мозга. В мозговых сосудах образовывались сгустки крови — пробки. Каждую минуту он мог умереть от кровоизлияния в мозг. Он, заикаясь, говорил, что единственное лекарство от этой болезни — пуля в голову и поэтому смерть ему не страшна.

Звали мы его «Обер-крот». Он прекрасно знал катакомбы. Еще до революции он излазил их в поисках древних погребений. Если бы не он, мы бы заблудились в подземном городе и пропали.

Он выбирал места для стоянок и выводил нас в случае опасности. Он пользовался стареньким детским компасом, да и тот плохо работал. Около Керчи находятся богатые залежи железной руды. Это вечно сбивало с толку игрушечный компас Назимова. Он рыскал в стороны, как пароход с расшатанным рулем. Назимов больше действовал по приметам и какому-то особому чутью, чем по компасу.

В первое время нам удавалось прорываться на-гора, как говорят шахтеры, налетать на белых и без остатка уничтожать их отряды.

Тогда белые усилили охрану выходов. Начались взрывы.

Однажды из «лазарета» к Колдобе пришел раненый. Он сказал, что навсеху творится несладное

— Что? — спросил Колдоба.

— Рюют,— ответил раненый.— У нас в лазарете людям нечего делать, как только дожидаться смерти да слушать. Вот и слушаем. Если кто и застонет, мы просим его помолчать для нас всех, для товарищей. Иной человек умирает, а ему кричат: «Потерпи, не стони, друг дорогой». И он делает уважение и помирает тихо, как слабый ребенок. Тяжко лежать, командир. Лежишь, ловишь ухом, что там наверху, на белом солнце,— и ни голоса, ни крика, ни выстрела,— одна эта подземная глухота!

— А что вы слушаете, чего дожидаетесь?—спросил Колдоба.

— Того, чего и ты, командир,— тихо ответил раненый.— Надземного боя мы ждем. Ждем, чтобы наши прорвались в Керчь и ослобонили от гибели. Одна у нас думка про это. А вот сегодня стало нам слышно...

— Рассказывай! — коротко приказал Колдоба.

— Стало нам слышно,— шепотом сказал раненый,— рюют прямо над головой. Скрипит что-то и скрипит, как сверло. Ты мне поверь, я это дело знаю,— белые закладывают бурку и сделают вскорости взрыв.

Мы прислушались. С пятисаженной высоты доносился тупой звук ударов и скрежет. Потом шум затих.

Колдоба приказал партизанам рассыпаться по катакомбам и не держаться толпами. Раненые начали переползать в глубь подземелий.

Зажгли факелы и приготовились к переходу, но в это время тяжело ухнули своды. Густая пыль полетела с потолка и засыпала факелы. Гром обвала покотился к недрам земли. Горячий воздух сбил меня с ног и почти расплющил о камни.

В темноте бежали и кричали люди. Выли придавленные. С гулом и шорохом продолжала оседать земля.

Взрывом было убито около сорока человек. Когда смятение улеглось, мы зажгли факелы и начали переходить на новое место. Впереди шел Назимов. Шествие при факелах в пыли и чаду катакомб напоминало бегство мертвецов из ада.

После этого дня взрывы становились все чаще. Мы каждый раз уходили от них. Тогда белые решили затопить катакомбы водой. Для этого надо было поставить мощные насосы и качать воду из моря. Нашелся какой-то шустрый инженер и сорвал этот проект. Он доказал, что затопление катакомб не даст результата. Керченский камень ноздреват. Катакомбы полны подземных стоков и воронок. Камень быстро всосет воду и сбросит ее обратно в море. Вода даже не дойдет до тех штолен, где засели партизаны.

Взамен воды инженер предложил пустить в катакомбы по желобам серную кислоту. От соединения с кислотой известняк каменоломен должен был выделить громадное количество углекислого газа. Этот газ инженер предлагал задувать аэроплан-

ными пропеллерами на самое дно подземелий и травить нас, как мышей.

Но и этот способ оказался чересчур сложным. Белые решили действовать проще. Они пускали в катакомбы «обыкновенные» удушливые газы.

Мы уходили от них, но все же каждый день у нас отравлялось газами по нескольку человек.

Участились случаи сумасшествия. Люди открывали беспорядочный огонь по темным закоулкам подземелий. Иной раз всех охватывали слуховые галлюцинации: мы ясно слышали отголоски жестокого боя на земле, откуда только и могло появиться извращение.

Мы пришли в отчаяние. Мы требовали вылазки. Мы не хотели ждать и с неистовым упорством искали под землей выходы, еще не известные ни нам, ни белым.

Наконец такой выход нашелся. Он вел в разрушенный сарай на склоне горы Митридата.

Ночью мы вышли наружу. Бойцы шатались и падали. Сырой весенний воздух разрывал отекавшие от духоты легкие.

К рассвету мы ворвались в город. К нам присоединились рабочие. Началось знаменитое кровавое керченское восстание. Оно обошлось белым дорого. Если бы не английская морская пехота, белым пришел бы конец.

Дрались мы несколько дней. Дрались всем, что попадало под руку, даже камнями. Мы спустили с круч Митридата сотни громадных глыб. Они смяли и обратили в бегство отборные офицерские отряды.

Но, потеряв две трети людей, мы снова ушли в катакомбы. Во время вылазки мы узнали, что надеяться не на что — красные части были далеко, за Сивашем и Чонгарским перешейком.

Колдоба был убит. Мы похоронили его ночью в запущенном саду. Партизан Василиади, матрос-грек, сломал несколько цветущих веток миндаля и бросил на могилу.

Мы скрылись в новых катакомбах, узких и не таких запутанных, как прежние. Входов в них было мало. Белые оцепили их все до единого.

Тогда мы поняли, что пришел настоящий конец. Несколько раз мы жестоким огнем отбивали белых, пытавшихся ворваться под землю. Но силы слабели. Если мы еще могли сопротивляться врагу, то не могли переносить жажду. В новых катакомбах не было ни капли воды. Надо было или сдаваться, или умирать.

Сдача означала ту же смерть, только более мучительную и подлую. Мы решили пробиваться и идти на смерть в бою, но не на расстрелы и пытки.

Тут случилась короткая отсрочка. Однажды мы услышали над головой далекие раскаты грозы. Партизаны долго ждали ливня, и он наконец разразился.

Потоки мутной воды хлынули по главному ходу каменоло-

мен. Мы сбились в боковых пещерах, лежали на земле и пили пили до беспамятства, до потери сознания.

Все было наполнено водой — манерки, бутылки, пулеметные кожухи и кепки.

Но через день воды опять не хватало. Иные из нас жевали намоченные в дождевой воде шинели.

Неожиданно тонкий запах угара просочился на дно галерей. Мы зажгли факелы и бросились в глубь катакомб. Факелы, опущенные к полу, быстро гасли, — нас отравляли углекислым газом. Белые стали лить в подземелья по желобам серную кислоту. В угаре задохся матрос Павлинов — веселый и насмешливый человек.

Белые ворвались в противогасах в подземелья, но побоялись идти вглубь. Они нашли Павлинова, привязали его к постромке лошади и погнали ее наверх. Павлинов был еще жив. Камни изорвали его тело в клочья. Лошадь выволокла в степь изуродованный труп.

И вот в эти дни последнего отчаяния и приближения смерти ко мне подошел археолог Назимов, наш Обер-крот. Он сказал, что нашел выход в степь, не охраняемый белыми.

К тому времени болезнь Назимова усилилась. Он непрерывно тряс головой. Глаза у него быстро дрожали, как дрожат листья осины даже без ветра.

— Надо проверить, — сказал я. — Ты совсем стал слепой. — Проверим, — ответил Назимов.

Мы незаметно пошли к выходу. Назимов не доверял своим глазам и шел по телефонному проводу. Его он протянул для верности от вновь открытого входа до нашей стоянки.

Недалеко от входа Назимов сел отдохнуть. Он стал худ до того, что, казалось, фуражка не держалась у него на голове. На каждом шагу он спотыкался.

— Вот, Степан, — сказал он мне, когда мы сели, — думал ли я когда-нибудь, что на месте этих раскопок будет подземная бойня и придется мне умирать вместе с вами?

— Надо полагать, что ты об этом не думал, — ответил я. Мы помолчали. Назимов встал, цепляясь за камни.

— Ну, пошли. Жить мне хочется, Степан. Если бы жить! Целыми днями я мог бы рассматривать сухой бурьян или осколки стекла под водой.

— А к чему это? — спросил я.

— А к тому, — ответил он, — что в каждом пустяке есть большой смысл. Кончится война, останешься жив — тогда поймешь и узнаешь. А сейчас — пошли!

Мы дошли до выхода. Он тянулся под плитой известняка.

Я взглянул из-под плиты и увидел звездное небо.

Мы вылезли. Степь в росе и тишине лежала кругом. Я дышал, как запаленная лошадь, но вместе с чистым воздухом вдыхал запах дыма.

— Откуда дым?

Мы поползли по мокрой траве. Я полз и слизывал росу со своих ладоней. Воспоминание об этом помогло мне недавно, когда я открыл разрушенные цистерны на Агармыше. «Откуда здесь может быть вода?» — подумал я — и вдруг с такой ясностью вспомнил свои грязные ладони, полные росы, что никаких сомнений у меня не осталось. Задача была решена.

Мы ползли, пока не заметили костер и солдат в английских шинелях. Они чистили при огне пулемет.

Все было кончено. Этот выход охранялся так же, как и другие.

— Что делать, Обер-крот? — спросил я Назимова, когда мы опять спустились в катакомбы.

— Выйти здесь и через степь и Арабатскую стрелку уходить на север. Здесь все равно нас перебьют, как котят.

Голова у Назимова затряслась. Он задумался.

— А что, если мы сделаем так... — сказал он и остановился, — если мы сделаем так... Я открою пулеметный огонь у главного входа, подыму шум и все белые заставы оттяну на себя, а вы тем временем выйдете.

— Одному не справиться. Шум нужно делать большой.

— Вызовем охотников.

— Не будет охотников, — ответил я. — Не будет. Безнадежное это дело.

— Посмотрим.

Я не верил в это рискованное предприятие, но Назимов в ответ на мои возражения только молчал.

Он созвал бойцов, рассказал им, в чем дело, и спросил:

— Есть охотники оставаться со мной?

Бойцы молчали.

— Есть охотники?

Тогда с полу поднялся раненный в ногу партизан Жуков и сказал хриплым голосом:

— Я пойду с тобой, ученый. Мне все равно до Арабата не дойти. Днем позже, днем раньше...

Жуков снял шапку и сказал громко:

— Товарищи бойцы, которые трудно раненные! Говорю до вас. Чем оставаться здесь на собачью муку, возьмем винты и спасем уцелевших товарищей.

— Чего гавкать! Давай патроны! — закричал один из раненых.

Через несколько минут раненые двинулись к главному входу. Назимов, шатаясь, шел впереди стонущего и окровавленного войска, ползущего на животах и цепляющегося за выступы скал. Мы сняли шапки и смотрели им вслед.

Потом мы пошли к выходу в степь, а у главного входа начался ураганный огонь и крики «ура».

Смятение охватило белых. Они бросились к главному входу. Сигнальные ракеты с шипением понеслись в небо.

Бой разгорался за нашей спиной. Мы быстро прошли мимо брошенных костров в степь. Через два часа мы уже шли вдоль пустынных берегов Азовского моря.

Сначала мы слышали все более редкие крики и выстрелы, потом и они стихли. Разыгранный бой подошел к концу.

Через несколько лет мне удалось узнать подробности смерти Назимова и наших раненых товарищей. Узнал я это из записок белого офицера.

«Последний отряд партизан,— писал он,— целиком состоял из тяжелораненых. Они дрались, надо отдать им справедливость, с упорством людей, одержимых навязчивой идеей смерти. Командовал ими человек в очках, настолько худой, что издали он напоминал огородное пугало. Партизаны дрались с нами только затем, чтобы погибнуть от пули в открытом бою, а не быть расстрелянными в контрразведке. Их мужество вызвало восхищение даже некоторых офицеров. Только английские наблюдатели оставались, как всегда, совершенно бесстрастными».

Так кончилась подземная война. Недавно в керченских каменоломнях были произведены последние раскопки. Мы отыскиали кости погибших и похоронили их в братской могиле.

Левченко замолчал. Пес, встревоженный нашим молчанием, встал, зевнул и потрогал Гарта грязной лапой, чтобы заинтересовать его в своем существовании. Гарт бросил ему кусок белого хлеба. Пес сглотнул его прямо в воздухе, не сморгнув глазом. Послышался звук откупоренной бутылки.

СКАЗОЧНИК



В Старом Крыму провел последние дни своей жизни и умер писатель Грин — Александр Степанович Гринеvский.

Грин — человек с тяжелой, мучительной жизнью — создал в своих рассказах невероятный мир, полный заманчивых событий, прекрасных человеческих чувств и приморских праздников. Грин

был суровый сказочник и поэт морских лагун и портов. Его рассказы вызывают легкое головокружение, как запах раздавленных цветов и свежие, печальные ветры.

Грин провел почти всю жизнь в ночлежных домах, в грошом и непосильном труде, в нищете и недоедании. Он был матросом, грузчиком, нищим, банщиком, золотоискателем, но прежде всего — неудачником.

Взгляд его остался наивен и чист, как у мечтательного мальчика. Он не замечал окружающего и жил на облачных, веселых берегах.

Только в последние годы перед смертью в словах и рассказах Грина появились первые намеки на приближение его к нашей действительности.

Романтика Грина была проста, весела, блестяща. Она возбуждала в людях желание разнообразной жизни, полной риска и «чувства высокого», жизни, свойственной исследователям, мореплавателям и путешественникам. Она вызывала упрямую потребность увидеть и узнать весь земной шар, а это желание было благородным и прекрасным. Этим Грин оправдал все, что написал.

Язык его был блестящ. Беру отрывки наугад, открывая страницу за страницей:

«Где-то высоко над головой, переходя с фальцета на альт, запела одинокая пуля, стихла, описала дугу и безвредно легла на песок рядом с потревоженным муравьем, тащившим какую-то очень нужную для него палочку».

«Он слушал игру горниста. Это была странная поэзия солдатского дня, элегия оставленных деревень, меланхолия хорошо вычищенных штыков».

«Зима умерла. Весна столкнула ее голой розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лежа ничком, в виде мертвенно-белых, обтаявших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно».

Грин хорошо выдумывал старинные матросские застольные песни:

Не шуми, океан, не пугай,
Нас земля напугала давно
В южный край —
В светлый рай
Приплывем все равно!

Он выдумывал и другие песенки — шуточные:

Позвольте вам сказать, сказать,
Позвольте рассказать,
Как в бурю паруса вязать,
Как паруса вязать!
Позвольте вас на салинг взять,
Ах, вас на салинг взять,
И в руки мокрый шкот вам дать,
Вам шкотик мокрый дать!

В Старом Крыму мы были в доме Грина. Он белел в густом саду, заросшем травой с пушистыми венчиками. В траве, еще свежей, несмотря на позднюю осень, валялись листья ореха. Слабо жужжали последние осы.

Маленький дом был прибран и безмолвен. За окном легкой тучей лежали далекие горы.

Простая и суровая обстановка была скрашена только одной гравюрой, висевшей на белой стене,— портретом Эдгара По.

Мы не разговаривали, несмотря на множество мыслей, и с величайшим волнением осматривали суровый приют человека, обладавшего даром могучего и чистого воображения.

Старый Крым точно сразу изменился после того, как мы увидели жилище Грина и узнали простую повесть его смерти.

Этот писатель — бесконечно одинокий и не услышанный в раскатах революционных лет — сильно тосковал перед смертью о людях. Он просил привести к нему хотя бы одного человека, читавшего его книги, чтобы увидеть его, поблагодарить и узнать наконец запоздалую радость общения с людьми, ради которых он работал.

Но было поздно. Никто не успел приехать в сонный, далекий от железных дорог провинциальный город.

Грин попросил, чтобы его кровать поставили перед окном, и все время смотрел в горы. Может быть, их цвет, их синева на горизонте напоминали ему любимое и покинутое море.

Только две женщины, два человека пленительной простоты были с Грином в дни его смерти — жена и ее старуха мать.

Перед уходом из Старого Крыма мы прошли на могилу Грина. Камень, степные цветы и куст терновника с колючими иглами — это было все.

Едва заметная тропинка вела к могиле.

Я подумал, что через много лет, когда имя Грина будет произноситься с любовью, люди вспомнят об этой могиле, но им придется раздвигать миллионы густых веток и мять миллионы высоких цветов, чтобы найти ее серый и спокойный камень.

— Я уверен, — сказал Гарт, когда мы выходили за город на старую почтовую дорогу, — что наше время — самое благодарное из всех эпох в жизни человечества. Если раньше могли быть забытыми мыслители, писатели и поэты, то теперь этого не может быть и не будет. Мы выжимаем ценности прошлого, как виноградный сок, и он превращается в крепкое вино. Этого сока в книгах Грина очень много.

Я согласился с ним.

Мы вышли в горы. Солнце катилось к закату. Его чистый диск коснулся облетевших лесов. Ночь уже шла по ущельям. В сухих листьях шуршали, укладываясь спать, птицы и горные мыши.

Первая звезда задрожала и остановилась в небе, как золотая пчела, растерявшаяся от зрелища осенней земли, плывущей под ней глубоко и тихо.

Я оглянулся и увидел в просвете ущелья тот холм, где была могила Грина. Звезда блистала прямо над ним.

НОЧЬ НА ШАЛАНДЕ



Новороссийске я встретил Денисова. Он зашел со мной в номер гостиницы, где Гарт сидел над рассказом о боре. Юнге не было. Старик уехал на метеорологическую станцию на Мархотский перевал, к своему другу — метеорологу, известному в Новороссийске под прозвищем «Мархотского узника».

Двадцать лет он просидел на этом перевале, всегда затянутом туманами, и изучал бору. Он пытался найти точные признаки для предсказания боры, но это ему не удавалось. Бора зарождалась с внезапностью взрыва.

Каждый день и каждый час Новороссийск — один из прекраснейших, обширных и глубоких портов Черного моря — мог ждать предательского удара этого неистового ветра.

Денисов работал в Новороссийске по подъему затопленного в 1918 году миноносца. Он предложил мне и Гарту поехать на подъем. Мы тотчас согласились.

Гарт торопился и нервничал. Ему хотелось удрать на подъем до возвращения Юнге. Иначе старик начнет его упрекать за лень и отлынивание от работы.

Мы пошли на пристань. Каково же было мое удивление, когда я увидел «Смелого», изрыгавшего, как принято было выражаться в старинных рассказах, клубы черного и жирного дыма.

Баранов радостно приветствовал нас и принял к себе на борт, чтобы доставить к мысу Дооб, где работала судоподъемная партия.

Стоя на мостике, Баранов поглядывал на Мархотский перевал. Там появился косматый туман. Он переползал через гору. Туман этот моряки звали «бородой». Появление его предшествует боре.

Я стоял рядом с Барановым и тоже смотрел на «бороду».

Пасмурное небо свалилось на город тяжелой мешаниной туч. Сеялся редкий дождь. Белесое море казалось мертвым. Изредка солнечный свет прорывался сквозь пелену облаков. Он окрашивал зимнюю воду в розовый мутный цвет.

Зима вступила в свои хмурые права. Густой дым клубился над крышами. Весь день горели на улицах высокие фонари, и, как всегда зимой, особенно сильно дымили трубы пароходов и катеров. Изморозь трещала под ногами на каменных молах.

У мыса Дооб мы перешли со «Смелого» на водолазную шаланду. В это время спускали водолаза. Его скафандр еще торчал над водой, как металлический пузырь. Водолаз, увидев меня, начал махать резиновой рукой — и махал ею, пока не скрылся под волнами. Через толстые стекла скафандра я узнал Мухина.

На шаланде нас шумно приветствовал Медлительный. Он сегодня уже спускался на дно, крепить понтоны к миноносцу. Поэтому он жаловался на «невыносимые мурашки в голове».

Денисов объяснил нам способ подъема. Он был прост. К затонувшему кораблю прикреплялись громадные железные ящики или резиновые шары — их называют понтонами. В понтоны накачивался воздух. Понтоны всплывали и подымали корабль.

Этот способ казался простым на словах, на самом же деле был труден и опасен. Понтоны часто срывались. Кроме того, было почти невозможно определить вес поднимаемого корабля, — корабль присасывался к грунту, иногда уходил в него до половины, и все помещения корабля были занесены толстым слоем синего черноморского ила.

После отрыва от дна корабль вылетал на понтонах на поверхность стремительно и бурно, как пробка. Вылет с больших глубин шел не дольше пятнадцати секунд.

Картина подъема производит на новичков впечатление катастрофы. Море кипит крутыми волнами и пеной от вырывающихся из понтонов воздушных струй. Потом вылетают понтоны и выскакивает корма или нос корабля, покрытые травой, ракушками и крабами.

Иногда, не выдержав удара о воду, стальные тросы лопаются, и корабль опять проваливается на дно. Тогда вся медленная подводная работа начинается сначала.

Мы приехали ко времени подъема миноносца. Водолазы спустились, чтобы проверить последний раз крепление понтонов, но их сейчас же подняли на поверхность — разыгрывался шторм. Подъем пришлось отложить.

Мы с Гартом были в каюте шаланды, когда снаружи слышался звук, очень похожий на удар о железо тяжелого снаряда. Это ударил в палубу первый порыв ветра.

Шаланда подпрыгнула, запела и засвистела всеми частями, как громадная расшатанная флейта.

Мы выскочили наверх и увидели в седой мгле рыжую

корму «Смелого», неистово вертевшего винтами. Ветер сорвал со «Смелого» кормовой флаг. Хрипя и взлетая на волнах, буксир исчез в тумане и собственном дыму.

Затем он появился снова. Баранов закричал нам в рупор, чтобы мы приняли буксирный конец,— «Смелый» решил отвести нас в порт. Но ни подать, ни принять буксирный конец не было возможности.

«Смелого» начало заливать. Он, бросив нас, пошел в Новороссийск. Мы остались одни и провели на шаланде весь день и штормовую ночь.

Днем было относительно спокойно, хотя волна и колотила в корму шаланды. Пока можно было оставаться на палубе, мы часто подымались на бак и смотрели на море.

В кипящей мгле мегался силуэт океанского парохода. Он стоял носом к ветру и страшно дымил, из последних сил работая машинами. Его выбрасывало из волн до половины корпуса. Тогда в тумане блестело днище, покрашенное суриком и покрашенное пятнами морской травы. Мы видели, как пароход сбило на песчаную косу, где сшибались буруны. Пароход нес на мачтах флаги. Денисов, присмотревшись, перевел нам сигнал: «Машина не выгребает. Терплю бедствие».

К вечеру пароход сел на мель.

К ночи бора дошла до полного и сокрушительного давления. Волны с гулом перекатывались через шаланду. Все не смытое с палубы было убрано внутрь, а люки и иллюминаторы завинчены до отказа.

Мы качались в железной коробке при свете «летучих мышей» и слушали вопли норд-оста и гром воды.

Молодые кочегары волновались. Особенно пугали их рывки якорных цепей. Каждую минуту казалось, что цепи лопнут или будут вырваны из клюзов и шаланду унесет в море.

Сидеть можно было с трудом. Стоять ухитрялись только матерые моряки, вроде Денисова и Медлительного, и то несколько секунд.

Ночью волнами расшатало корму и появилась первая течь. Ее забивали паклей и клингами.

Чтобы успокоить кочегаров, «старики» — Денисов, Мухин и Медлительный — сели играть в «козла». Гарт присоединился к ним. Эта игра, прерываемая болтовней Медлительного и ударами шторма, продолжалась до рассвета.

Медлительный, кашляя от смеха, рассказывал о шутке, выкинутой водолазами в одном из курортных городов.

Шли работы по подъему затонувшего портового катера. Водолазная шаланда стояла у самого мола.

— Время было летнее, — рассказывал Медлительный, — и вода была совсем теплая — можно сказать, как чай. Один с наших водолазов, отчаянно веселый парень — Колька Гаврилади, — в одних трусах спустился на дно с воздушной маской и длинным

шлангом и подошел до самого края пристани. Стоит себе под водой, дышит тихонько и только где-где пустит два-три пузырька воздуха. А Мухин, значит, выходит на край пристани, тоже в трусах, и хвалится перед курортной публикой, что нырнет сейчас на десять минут под воду и вынырнет невредимым. Я с им стою рядом и, натурально, клянусь, и божусь, и подтверждаю перед гражданами этот факт. Однако граждане с нас смеются. Тогда Мухин краснеет и ласточкой летит в воду.

Мухин слушал этот рассказ совершенно бесстрастно, попыхая папиросой.

— Проходит минута, две, три. Промежду граждан, а особенно гражданок, начинается сильное волнение. Четыре, и пять, и шесть минут, а Мухина нет. Я стою и закручиваю сигарку, как полагается, сплевываю и посмеиваюсь. Курортные бледнеют, обзывают меня извергом, хотят уже бежать до капитана порта и требовать помощи Мухину. А я говорю им: «Не было такого факта в истории советского мореплавания, чтобы водолаз потонул от ныряния в страшную морскую глубину, где водятся спруты и иная океанская рыба. Выплывет!»

И вот, действительно, забурила вода и вылезит на пристань парень в трусах, и публика в диком ужасе шарахается от него, как от бандита.

Мухин — парень высокий, сероглазый и блондин, а выходит из воды Гаврилиады — парень небольшой ростом, черный как жук и с южным греческим глазом. Выходит, делает гражданам ручкой и говорит: «Глядите, у кого есть, на часы и подтвердите, что прошло не меньше как десять минут». Но граждане молчат, как пришибленные пыльным мешком, и только бойкая старушка в очках спрашивает: «Как объяснить такое явление, что нырнул блондин, а вынырнул брюнет и притом короткий, или, по-вашему, по-моряцкому говоря, — человек на низком ходу?»

А у нас между собой все расписано, и я даю соответствующую пищу ее любопытству. «Разве вы не знаете, — кричу я сердито, — что от давления воды человек сплющивается, волос у него чернеет, а в глазах сгущается кровь, и они делаются как у того индюка?»

Гаврилиады показывает мне незаметно кулак, но я, как отчаянный подводный житель, говорю дальше за это дело и упрекаю граждан в неинтеллигентности. Мы уходим с Гаврилиады, разыгравши курортных и отдыхающих, идем к себе на шаланду и тихонько вытягиваем с воды Мухина. А он под водой поменялся маской с Гаврилиады и стоял на месте, глотал свежий воздух.

— Врешь! — сказал Денисов.

Медлительный сделал страшное лицо и обернулся к Мухину.

— Петя, — сказал он вкрадчиво, — вот товарищ начальник берет меня за манжеты и не хочет верить старому водолазу. Подтверди, будь другом.

— Было такое дело,— спокойно сказал Мухин, не вынимая изо рта папиросы.

Тогда Денисов захохотал так, что заглушил гудение боры и выжал улыбку на лицах успокоившихся, но еще бледных кочегаров.

Ночь длилась без конца. Качка и грохот не давали уснуть. Рассвет не принес облегчения. Утром лопнула одна из якорных цепей, и шаланду начало носить на последней оставшейся цепи. Денисов в ответ на вопрос, что будет, когда и она оборвется, только махнул рукой и сказал:

— Прости и прощай!

Запасного якоря у нас не было. Около шаланды ныряла на волнах причальная бочка, стоявшая на мертвом якоре. Мухин вылез на палубу, вцепился в поручни и присел. Шаланду то подносило к бочке, то уносило ветром далеко от нее по широкой дуге.

— Давай трос! — крикнул Мухин.

Ему подали трос, и он, выждав минуту, перескочил на бочку, быстро продел трос в кольцо и лег. Волна накрыла его.

Мы были уверены, что Мухина смыло, но волна прошла, и мы увидели, что он судорожно крепит трос за кольцо. Шаланду далеко отшвырнуло, потом снова пододвинуло к бочке. Мухин перескочил обратно на палубу.

Шаланда опять стояла на двух якорях. Опасность миновала.

Мухин спустился вниз, переделался, взял гавайскую гитару,— вдвоем с Денисовым они затянули южную песенку:

Прощайте, родимые воды,
Прощай, Ланжерон и маяк,—
По случаю справной погоды
Уходит на ловлю рыбак
Рыдает на моле Маруся,
И чайки сгрекохут над ней,
Я скоро в Одессу вернуся,
А ты меня жди и жалей!

— Вот какой мы народ! — кричал Гарту Медлительный.—
Бесстрашный народ. Нам и жить и помирать — все с музыкой!

— Заткнись! — сказал Денисов.

Медлительный плюнул и смолк.

К вечеру ветер стих. Волны перестали бить в корму с прежней яростью. Густой дым возвестил нам о приближении «Смелого». Баранов взял нас на буксир и потащил в порт.

От команды «Смелого» мы узнали последние новости. На скалы выбросило два парохода. Теплоход «Аджаристан» прошел мимо порта. В городе сорвало много крыш, а бак для нефти весом в сто тысяч пудов сплющило ветром, как будто он был восковой. Это происшествие особенно веселило матросов.

Город, растрепанный бурей, выглядел косматым и темным. Рябили лужи, и качались фонари. Рваные снасти хлестали по

всегу Даже в номере гостиницы, освещенном лампой с зеленым абажуром, были видны следы недавней бури — пыль веерами лежала на столе около окон, рама была вдавлена внутрь, и за ней наискось торчала сорванная ветром водосточная труба.

Юнге встретил нас насмешливым молчанием. Потом он прорвался, обозвал нас мальчишками и обвинил в том, что из-за нас у него прибавилось седины в голове.

Чтобы успокоить Юнге, Гарт показал ему рукопись почти оконченного рассказа.

Проект прорытия туннелей под хребтом Варада получил как в рассказе Гарта, так и в выкладках, сделанных Юнге, свое первое выражение.

Теперь, по словам Юнге, оставалось только добиться его осуществления, что у нас, в Советском Союзе, было делом вполне возможным и никак не фантастическим

САМОУБИЙСТВО КОРАБЛЕЙ



ока Гарт заканчивал рассказ, я провел несколько дней на буксире у Баранова.

Каждое утро мы ходили на подъем миноносца, а на ночь возвращались в Новороссийск. Во время этих походов я изучил Новороссийскую бухту с ее голыми берегами и нескончаемыми переменаами цвета морской воды. Снова, как и во время рейса к Босфору, я попал в обстановку бесконечных морских разговоров и споров.

Особенно запомнился мне спор между Барановым и Денисовым о качествах матросов на военных кораблях. Баранов защищал парадоксальную теорию, что тип кораблей, их назначение и даже внешний вид оказывают сильное влияние на психику команд. Денисов смеялся над этой теорией и называл ее «морочением головы и фокусами».

Спор принял бурный характер. Обе стороны пустили в ход весь запас доказательств, вплоть до насмешек друг над другом и легкой перебранки.

Победителем оказался Баранов. Последнее доказательство, выдвинутое им, было неуязвимо. Оно получило признание со стороны старых моряков, привлеченных к этому спору

Доказательство Баранова было простым, но необыкновенным.

Он вспомнил тысяча девятьсот восемнадцатый год в Севастополе. Был заключен Брестский мир. Немцы взяли Перекоп. Сбивая разрозненные части Красной гвардии, они быстро двигались к Севастополю, чтобы захватить Черноморский флот. Для отвода глаз немцы решили сначала передать флот «украинской державе».

Малочисленные регулярные отряды красных войск под командой Федько с тяжелыми боями отступали к Керчи. Горы были полны татарских белых эскадронов, налетавших на Ялту, Судак и Феодосию.

Севастополь митинговал. Каждый день на собраниях выступали отчаявшиеся люди и умоляли «прекратить говорильню», но их никто не слушал. Военно-революционный штаб приказывал «бросить пустую болтовню» и сорванным голосом кричал в исторических приказах:

«Пусть говорят, что защищать Севастополь бессмысленно! Пусть! Неужели можно сложа руки смотреть, как враг движется по нашей земле, губя по пути все, что дорого нам, революционерам? К оружию! Враг на пороге!»

Но Севастополь не слышал этих призывов и митинговал до тошноты и головокружения, решая судьбу флота.

И вот тогда обнаружилась резкая разница между командами тяжелых линейных кораблей и командами миноносцев.

Команды линейных кораблей были так же малоподвижны и инертны, как и самые корабли. Они соглашались поднять на кораблях украинские флаги и остаться в Севастополе, лишь бы не ввязываться в походы, сражения и эвакуации. Они прикидывались, что не знают замыслов германского командования и искренне верят в то, что флот отойдет к «украинской державе». Они закрывали глаза на то, что во главе этой фальшивой державы стоит назначенный германским штабом гетман Скоропадский.

Команды миноносцев — стремительных и поворотливых кораблей — требовали защищать революционный Севастополь от немцев до последней капли крови.

Когда командующий флотом Саблин отдал приказ готовиться к немедленной эвакуации, миноносцы отказались его выполнить, настаивая на том, чтобы дать немцам бой.

Но это было уже невозможно. Красногвардейские отряды, босые и голодные, откатывались к городу под напором немецких дивизий. Флот стоял под парами и принимал на палубы отступавшие после боев отряды. Многие из этих отрядов толком не знали, с кем они сражались — с немцами или с украинцами, двигавшимися вместе с немцами к Севастополю.

Гетманская организация «Рада черноморской украинской громады» требовала, чтобы на кораблях и в городе были подняты желто-голубые украинские флаги. Командовавший немецкими войсками генерал Кош передал через украинских посредников,

что он прекратит наступление только в том случае, если флот признает украинскую державу и подымет кормовые украинские флаги.

И вот, когда для всех, в том числе и для команд миноносцев, стало ясно, что участь города решена, на дредноуте «Воля» созвали митинг всего флота. Произошла жестокая схватка между командами дредноутов и миноносцев. До рассвета на «Воле», надрываясь, кричали ораторы.

Команды дредноутов решили поднять немедленно украинские флаги и ждать немцев. Команды миноносцев ушли с «Воли», собрались у себя в минной базе и постановили не сдавать своих кораблей немцам, не допустить, чтобы они были использованы для целей контрреволюции, и увести их в Новороссийск.

На следующий день, двадцать девятого апреля, линейные корабли подняли украинские флаги. Миноносцы подняли красные флаги и сигналы: «Позор и продажа флота!»

На миноносцы перешли большевистские организации города. Минная эскадра решила уходить в Новороссийск в ночь на тридцатое апреля.

Команды дредноутов «Воля» и «Свободная Россия» подняли сигналы, что в случае попытки уйти из Севастополя они откроют по миноносцам огонь из башенных орудий.

На угрозу миноносцы ответили угрозой. Они пообещали дредноутам, что при первом же выстреле пойдут в минную атаку.

В эти дни тревог, смятений и боев над Севастополем и морем стояла тихая весна. Розовая мгла лежала по горизонту. В садах цвел миндаль. Море было необыкновенно прозрачно.

Над городом висела густая белая пыль, поднятая отступающими частями. Двадцать девятого апреля на кораблях и на берегу еще шумели бестолковые митинги, но по всей бухте уже разносился разноголосый крик команды, угроз, проклятий, свист пара и грохот лебедек.

К вечеру все стихло, только глухо гремели брашпили на миноносцах, выбиравших якоря.

Миноносцы, погасив огни, начали медленно вытягиваться из севастопольских бухт и выходить в море.

К двум часам ночи в бухтах наступила зловещая тишина. Миноносцы покинули обреченный и растерянный город. Только запах дыма, смешанный с запахом акаций, говорил, что в Северной бухте еще стоят под парами угрюмые дредноуты.

На следующий день Севастополь узнал, что, несмотря на подъем украинских флагов, немцы продолжают наступать.

Уход миноносцев отрезвил команды линейных кораблей. Украинские флаги были сорваны и вместо них подняты красные.

Матросы дредноутов потребовали от Саблина немедленного ухода кораблей в Новороссийск.

Немецкие разведки появились около Инкермана. Немецкая артиллерия заняла высоты за Братским кладбищем.

В полночь все оставшиеся в Севастополе корабли начали сниматься с бочек и якорей и выходить в море. Темнота скрывала угрюмое передвижение судов. Внезапно на Северной стороне взлетели в небо немецкие боевые ракеты. Они осветили рейд. В это время первые корабли прошли узкий выход из севастопольских бухт и вытягивались в море.

Немцы открыли артиллерийский огонь. Дредноуты, не отвечая на него, спокойно и медленно вышли в море. Легкие немецкие снаряды не причинили им никакого вреда.

Команды двух миноносцев — «Гневного» и «Заветного», не успевших проскочить под обстрелом, — открыли кингстоны и потопили свои корабли в Севастопольской бухте.

Черноморский флот ушел в Новороссийск — последний в то время оплот Советской власти на берегах Черного моря.

Баранов пришел в Новороссийск вместе с миноносцами на одном из транспортов.

Начались бурные и скомканые, непонятные и тревожные дни в Новороссийске. Немцы требовали возвращения флота в Севастополь, угрожая в противном случае начать наступление на Москву. Немецкие самолеты кружились над флотом. Гражданская война бушевала в степях Кубани.

Новороссийск был наводнен беженцами, матросами с торговых пароходов, собравшимися здесь со всего Черного моря, красногвардейцами, военными моряками, пленными офицерами, сыпнотифозными и бандитами.

Скудные запасы хлеба и лежалых овощей были съедены в несколько дней.

Немецкие подводные лодки рыскали у самых ворот порта. Связи с Москвой почти не было. Можно было сношаться только по радио через несколько промежуточных станций, но этот способ был ненадежен.

Тысячи слухов волновали потрясенных всем происшедшим матросов. Командующий флотом Саблин вел неясную и двойственную политику.

Наконец пришел секретный телеграфный приказ из Москвы — ни в коем случае флот не возвращать немцам, а потопить его в Новороссийске.

Саблин сбежал, передав командование капитану Тихмешеву.

Телеграммы из Москвы в Новороссийск о судьбе флота полны революционной логики и спокойствия. Их язык прекрасно передает содержание героической эпохи:

«Безвыходность положения побудила Председателя Совнар-

кома Владимира Ильича Ленина согласиться с необходимостью немедленного уничтожения флота».

«Совет Народных Комиссаров приказывает вам уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске.

Моряки должны понять, что правительство решается на эту страшную меру только потому, что другого исхода нет»

«Ввиду германского ультиматума правительство сочло себя вынужденным формально согласиться на возвращение судов в Севастополь. В этом смысле вам будет послан нешифрованный телеграфный приказ, но вы обязуетесь его не исполнять и считаться только с отданными выше предписаниями. Флот должен быть уничтожен».

Несмотря на совершенную ясность этого приказа, Тихменев разыгрывал простачка и жаловался, что он не может понять, чего хочет Совет Народных Комиссаров.

Тихменев оказался изменником. Он снесся с казачьим генералом Красновым и получил от него приказ сделать все возможное, чтобы флог был возвращен в Севастополь, где рано или поздно белые надеялись его захватить.

В то время флот привык решать все вопросы на митингах. Несмотря на приказ Совнаркома, Тихменев устроил во флоте голосование.

Большинство матросов высказалось за то, чтобы драться с немцами до последнего снаряда, часть — за потопление флота, и небольшая часть — за уход в Севастополь.

Тихменев, не считаясь с голосованием, приказал флоту готовиться к уходу в Севастополь и назначил день — семнадцатое июня.

Командир миноносца «Керчь» лейтенант Кукель отказался идти в Севастополь. Он сообщил всем судам флота, что команда его миноносца решила потопить «Керчь», выполнить приказ Совнаркома, но немцам не сдаваться.

«Керчь» подняла на мачте сигнал: «Судам, идущим в Севастополь. Позор изменникам родины».

Буря зашумела во флоте. Один за другим корабли начали присоединяться к «Керчи».

Тихменев на «Воле» ушел ночью в Севастополь. Все командование потоплением флота принял на себя лейтенант Кукель

— В ночь на восемнадцатое июня мы, — рассказывал Баранов, — потопили свой транспорт и съехали на берег. Город, несмотря на позднее время, был весь на ногах.

Толпы голодных, желтых людей бежали в порт, где при огнях и свете прожекторов с кораблей спешно снимали ценные приборы и орудия и грузили в вагоны.

Женщины голосили по обреченным на гибель кораблям, как по покойникам. Стоны, плач и проклятья неслись над гаванью. Хмурые матросы, стиснув зубы и не глядя друг другу в глаза, торопливо отклепывали якорные цепи и срывали корабельные антенны.

Толпа пыталась прорваться к миноносцам, стоявшим на швартовых и у пристаней, чтобы силой не дать их топить. Ее с трудом сдерживали цепи вооруженных матросов.

Жители воровских окраин подплывали к опустевшим кораблям на шлюпках и пытались грабить каюты. Их разгоняли ружейным огнем.

Нужна была величайшая выдержка, чтобы не поддаться массовой истерии, охватившей город. Флот погибал — величественный, славный своими революционными традициями Черноморский флот.

Миноносец «Лейтенант Шестаков» начал отводить на буксире разоруженные и пустые корабли на внешний рейд, в глубокое место залива. Чуть брезжил рассвет. Солнце еще не взошло над хребтом Варада.

Каждый из обреченных на гибель кораблей нес на рее сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь».

Когда на буксире тронулся с места дредноут «Свободная Россия» с красным флагом на стеньге, отчаяние толпы на берегу перешло в повальное сумасшествие. Исступленно кричали дети, навзрыд плакали женщины и старые рыбаки.

Растерянные красногвардейцы даже не пытались удержать толпу, когда она бросилась к последнему оставшемуся у пристани миноносцу «Фидониси» и гроздьями повисла на швартовых, чтобы не позволить миноносцу отойти.

Все попытки оттеснить толпу и сбросить швартовы были бесполезны. Люди вцепились в канаты мертвой хваткой, их руки невозможно было разжать, а каждая минута промедления могла все погубить — в Новороссийске могла появиться немецкая эскадра.

Миноносец «Керчь» подошел полным ходом к «Фидониси», и на нем пробили боевую тревогу. Орудия миноносца были направлены на толпу. Лейтенант Кукель прокричал в мегафон, что по толпе будет немедленно открыт огонь, если она не отпустит швартовы.

Толпа отхлынула, и «Керчь» вывела из гавани «Фидониси» — последний из миноносцев погибавшей эскадры.

Весь флот уже стоял на внешнем рейде. Было около четырех часов дня.

«Керчь» развернулась и стала бортом к «Фидониси». Наступила глубокая тишина, как бы минута колебания. Потом мина шурша понеслась с «Керчи» и ударила в борт «Фидониси».

Глухой взрыв отозвался на берегах эхом отчаянных человеческих криков.

Вслед за «Фидониси» началось потопление всех остальных судов. На них открывали кингстоны, клинкеты и иллюминаторы, взрывали турбины.

Через полчаса весь флот, кроме дредноута «Свободная Россия», лежал на дне Новороссийской бухты.

Тогда «Керчь» подошла к «Свободной России». Это было около Дообского маяка

Миноносец пускал мину за миной в дредноут, но корабль не хотел умирать. Мины или проходили под килем, или сворачивали в сторону. Только шестая мина вызвала на дредноуте взрыв, закрывший корабль дымом.

Когда дым рассеялся, команда «Керчи» увидела дредноут, пробитый насквозь.

Броневые плиты отвалились. Дредноут вздрагивал и медленно валился на правый борт.

Люди на «Керчи», обнажив головы, смотрели на агонию линейного корабля.

Страшный грохот и лязг донеслись с дредноута. То срывались в воду и обрушивались шлюпки, катера и орудия.

Поползли из своих гнезд гигантские броневые башни. Ломая борта, с невыносимым скрежетом они срывались в глубину, подымая крутые волны. Издали эти ползущие за борт башни, весящие около тысячи тонн, были похожи на опрокинувшихся на спину допотопных черепах.

Внутри корабля долго был слышен глухой гром срывающихся с фундаментов турбин и механизмов. Из кингстонов и клинкетов били высокие фонтаны воды.

Дредноут лег вверх килем и медленно пошел на дно. На «Керчи» люди стояли, забыв о времени, смотрели на пузыри воздуха, вылетающие из воды, и плакали.

Трудно понять неморяку величайшую трагедию и мужество моряков, потопивших родные корабли во имя революционного долга.

«Керчь» ушла в Туапсе и там ночью была потоплена командой. Перед гибелью миноносец дал радио:

«Всем. Погиб, уничтожив суда Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец «Керчь».

Баранов был на «Керчи» во время последнего рейса в Туапсе, но об этом он не любил рассказывать. На мой вопрос он ответил коротко:

— Погребальный был рейс.

Через двенадцать часов после гибели флота в Новороссийск ворвалась немецкая эскадра. Она застала мертвый, пустой порт.



Новороссийска Гарт, Юнге и я вернулись на «Смелом» в Севастополь. В Севастополе мы застали Зою.

Сметанина сообщила нам радостную новость: дед Дымченко получил грамоту от правительства и звание «Почетного моряка Черноморского флота».

Мы решили поехать к Дымченко и поздравить его с высокой наградой.

Мы накупили вина, фруктов, всяческих закусок и погрузили все это в ялик. Сметанина везла деду в подарок его собственный портрет, Гарт — жестянку английского трубочного табака, Юнге — новый барометр, Зоя — семена разных цветов, Баранов — бутылку шампанского, а я — набор рыболовных крючков и шелковые плетеные лески.

Яличники наперсбой зазывали нас в свои шлюпки. Каждому было лестно и любопытно переправить на Северную сторону это богатое пиршество, запакованное в кульки и берестяные коробки.

Награждением деда гордилась вся Северная сторона. Поэтому еще у пристани пришлось раскупорить бутылку и угостить старых перевозчиков — друзей и почитателей Дымченко.

— Золотой старик! — кричали одни, обсасывая усы и вытирая их заскорузлыми ладонями. — Не старик, а чистое дите. С таким старым легче добиться социализму, чем с другим каким молодым балбесом!

— Справный рыбак! — кричали другие. — Привычка у него до моря настоящая. Он море сквозь знает. Революцию вытянул на собственном горбу.

На Северной мы высадились перед вечером.

Пока Баранов и Гарт выгружали из шлюпки провиант, я смотрел на бухту.

В небе висела далекая, только что родившаяся луна. На высоте в тусклой синеве воздуха чувствовалось присутствие иссякающего солнечного света. В противоположность небу, вода была взволнованной и живой. В ней плескались огни кораблей, предместий, мигалок и катеров. Они казались маленькими хлопьями светящейся пены. Они разгорались все ярче по мере того, как незаметно темнели берега.

К деду мы пришли уже в темноте. Старик растерялся и

расплакался, как ребенок, от множества подарков. Он положил трясущуюся руку на плечо Сметаниной, что-то хотел сказать, но потом крякнул, отвернулся и сердито пробормотал:

— Ну ладно, потом скажу!

Пришел Андрей. Он восхищался подарками и осторожно гладил их шершавыми ладонями. Особенно ему понравился портрет Дымченко.

— Ты гляди, Петро! — кричал он. — Это же не вещь, а небесная красота! Какая работа! Одна чистота и опрятность!

Накрыли стол. Шампанское тихо шипело в старых треснувших стаканах. Дым трубочного табака смешивался с запахом ржаного хлеба.

Рыжик сидел у порога и смотрел на нас желтыми от зависти глазами. Хвост его подымал легкую пыль.

Дымченко постучал стаканом о стол. Мы затихли.

— Хочу я вам сказать, друзья, за наше море.

Он долго молчал, опустив голову.

— Да что тут балакать! Хорошее море!

— Хорошо быть почетным моряком такого хорошего моря, — сказал Баранов. — Выпьем, дед, и помиримся.

— Да я на тебя не сердчал. — Дымченко заулыбался и искомса посмотрел на Баранова — Вся Северная знает, что ты отчаянный моряк. Мы, морячки, все одно как свойственники промеж себя. Нам друг на друга сердиться не вежливо. А теперь послушай, что я скажу.

Вот подарил меня, старого, правительство великой наградой. Пошел я сегодня утром до Сухой балки, через степь, — ловить рыбу. Шкандыбаю и думаю свою думу про близкую смерть. И от той думки жизнь мне кажется веселей, а умирать не страшно. Только жалко, что мало я той, сегодняшней жизни повидал.

Иду, тащу кошелку и пруты. И подходит до меня молодой красавец — матрос береговой обороны, берет кошелку и пруты и говорит: «Давайте, товарищ Дымченко, я вам подмогну. Вы старенький, вам нести неловко». — «Как так, говорю, ты будешь со мной тратиться, когда сегодня на батарее работа? За это командир посадит тебя под арест на трое суток». Он смеется: «Ничего, говорю, я скажу, что задержался из-за вас, из-за почетного моряка нашего флота. И ничего мне не будет». — «Верно?» — спрашиваю. «А как же, — говорит тот матросик. — Теперь, дедушка, не царские времена». Так он меня и довел до места. Прямо — родной сын. И после того, как распрощался я с ним, та награда из Москвы сделалась мне в сотни раз милей. Вот я и говорю — надо выпить того вина за старое наше море да за молодых морячков. А я с вами пригублю. Мне пить не годится — сердце у меня болит и болит, — должно, болезнь какая прилипла.

Мы выпили за родное море и моряков.

Гарт предложил мне и Сметаниной выпить за последние два месяца нашей жизни. Самое важное в этих двух месяцах, по словам Гарта, было то, что ничего не случилось и вместе с тем случилось многое.

— Что? — спросила Сметанина.

— Случилась настоящая жизнь, — ответил Гарт, — хотя и не было никаких событий.

Ушли мы поздно. Гудок парохода прорезал ночь и торжественным эхом прокатился над степью. Это уходил во Владивосток «Аян», уходил к далеким океаническим берегам Советского Союза. Он нес сквозь ночь груды огней и волочил за кормой шумящую пену.

— Что же вы ничего не сказали? — спросил я Сметанину, когда мы шли к пристани по степной дороге, освещенной низкими звездами.

— Не решилась, — ответила она. — Я хотела сказать примерно то же, что Гарт. Ничего не случилось, но я знаю, что каждый день был наполнен умом, силой, человеческой теплотой, дружбой — всем тем, что мы называем самым прекрасным в мире. Я выросла за эти два месяца и вместе с тем помолодела на несколько лет. Я не знаю, как назвать это чувство. Кажется, это называется счастьем.

С моря дул свежий ветер. Плеск волн в бухтах был похож на сдержанный смех.

Севастополь, 1935

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| | |
|-------------------------|-----|
| БЛИСТАЮЩИЕ ОБЛАКА Роман | 7 |
| ЧЕРНОЕ МОРЕ Повесть | 169 |

Паустовский К. Г.

- П 21** Избранные произведения. В 2-х томах. Т. I. Блισταющие облака. Роман Черное море. Повесть. М., «Худож. лит.», 1977.

311 с

В первый том Избранных произведений известного советского писателя Константина Георгиевича Паустовского вошли роман «Блισταющие облака» (1928) и хорошо знакомая читателю повесть «Черное море» (1935)

70302-369
П _____ без объявл.
028(01)-77

Р2

**Константин Георгиевич
Паустовский**
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В 2-х ТОМАХ
ТОМ I

Редактор О Дворцова
Художественный редактор
Ю Боярский
Технический редактор
Л Ковнацкая
Корректор
А Мошицкая

ИБ № 1085

Сдано в набор 19/1 1977 г. Подписано в печать А 13 321 от 22/IV 1977 г. Бумага типографская № 1. Формат 60×90 1/16. 19,5 печ л, 19,5 усл печ л, 20,683 уч изд л. Тираж 400 000 (3-ий завод 300 001—400 000) экз. Заказ 40. Цена 1 р 61 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва Б 78 Ново-Басманная, 19

Полиграфкомбинат им Я Коласа Госком
издата БССР 220005, Минск 5, Красная, 23

